ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

7 '89

200 ЛЕТ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Рисунок Павла БУНИНА.
«Поход женщин на Версаль».

ЮНОСТЬ

7 (410) '89

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Марии ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

20 КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ

Рисунки Дмитрия Кедрина

Диспут-центр

Знаешь ли, что до следующего века осталось около четырех тысяч дней? Еще точнее? Считай сам. Так каким же он будет, следующий век? Быть может, попробуем его спроектировать?

Итак, «20-я комната» приглашает людей, умеющих думать масштабно и раскованно, для участия в работе диспут-центра «Проектируем будущее». Ждем от тебя собственных проектов, не списанных с чужих черновиков. Можешь ли ты предложить свою модель будущего?

Как лично ты хочешь жить в следующем веке, чего хочешь добиться, что иметь, что совершить?

Ждем твоих проектов и прожектов, твоих утопий и моделей, твоих концепций и сентенций, твоих выводов и идей. Думай!

На конверте пометь: «Проектируем будущее».

Фото Валерия Гостева

«Есть только одна земля. Если мы не научимся жить на ней вместе — скоро никакой земли уже не будет.

Мы больше не хотим, чтобы нас защищали друг от друга. Мы хотим найти друг друга. Другие за нас это ие сделают.

Большая политика — дело слишком важное для того, чтобы занимались им одни политики. Поэтому мы сами иачием действовать.

Железный заиавес может нас разделять, только пока мы это позволяем, ни на минуту дольше.

Если мы научимся жить вместе по-другому, если нам удастся найти друг друга, тогда для старого поколения и лидеров мира трудно будет продолжать свое дело ио-старому.

Мы все разные, и по возрасту, и по политическим взглядам, и по культурным и социальиым устаиовкам. Но нас объединяет одно: желание взить на себя ответствеиность за наше будущее. И мы хотим, чтобы вы сделали то же самое.

С дружеским приветом
Next Stop Soviet».

NEXT STOP SOVIET

Первый десант «некстстоповцев» высадился в Неваде, следующая остяновка — СССР. Принципы вх грандиозной акцин отражают надежды в яашей молодежи: мнр на плавете, отказ от войи, борьба за экологическв частую среду, сотрудничество в областн театра, живопвси, фотографин, выпуск совместных советско-скандвнавских нечатных издавнй а т. д.

Когда я внервые год иазад нрочитала проект оргаивзацин встреч-диалогов, общих собраивй, даскуссай, то засомаевалась в успехе акцин. Идев нрекрасиые, но их «глобальность» (горький комсомольский опыт) иастораживала. Сомиеиия рассеялись уже на нервой истрече я вюле 1988 года и Москве. Решимость, смелость и организаторскнй талаит отличали ребят и денушек из Коненгагена, Стокгольма, Осло. За их плечяма была акция «Next Stop Nevada», митинги протеста иротнн ядервого оружия около амервканских воевных баз, дружеские «тусоаки» с молодежью США. Теперь они пришли к иам.

Молодые скандинавы поедут в города-побратимы в Союз и вступят вместе с советскими молодыми людьми в диалог о зависимости условий жизни людей от уровня архитектуры городов, о молодежных мероприятиях в области культуры. Тема: чему мы можем научиться друг у друга?

В «Next Stop» — скандинавском молодежном движенвв — все равны. Демократия полная: решеиия принимаются не большинством голосов, а лишь после ныработки нрвемлемого для всех варнанта. Начальства нет, существуют лвшь координаторы груни ио интересам и отдельным ироблемам. Все нредложеиия и пожелання регистрируются, изучаются и обобщаются. В Москве для этого постоянно действует информацвоиный центр — компьютерный клуб «Варнант». Его телефоиы: 420-86-11 в 420-90-22.

Ожидается, что в сентябре нять тысяч молодых представителей скандинавских стран иересекут границу СССР на самолетах, автомобилях, кораблях, велосипедах, скейтах, надувных лодках и нешком.

Две ведели они будут жить в советских семьях во многих городах и селах страны, учиться языку, традициям, навыкам, ходить с нами в институты, на работу, в школы, н кинотеатры, на дискотеки. Четырнадцать дней мы, в свою очередь, будем ноствгать их знания, привычки, характер, язык. Надеюсь, мы станем ближе восле этого.

Множество маленьких и больших скандинавских театров будут давать представления и совместно с советскими театрами работать над организацией общих спектаклей. Одна из групп — шоу-театр «Ленинград-89» из города Орхуса.

...Во аремя перной встречи-диалога плакала на общем собранни мужестаеиная, собраиная, стойкая Гика из Данни. «Мие страшно иодумать,— говорила оия сквозь слезы,— что нам может помешать тысича преград, что все может сорваться в любой момеит. Но мы же людн, одинаковые люди, хоть и говорим на разных языках. Мы просто обязаны нонимать живущих рядом и не представлять соседей врагамв. Так неужели мы ие сможем понять друг друга?»

Существует более двухсот отделений «Next Stop» в Скаидивавн. С нашей стороиы в движеиии прнимают участие множество формальных и иеформальных организаций: Комитет молодежных организаций, Фонд наследия Вервадского, «Слобода», «Общиаа» и другие.

Советские и скандинавские специалисты в области журналистики будут обмениватьсп материалами и готовить совместные публикации. Некоторые из них будут работать друг у друга в соответствующих редакциях. Тема: ответственность средств массовой информации за прогресс.

Медлевно ныводя звукн «архитрудного» русского изыка, говорят датчане: «Мы хотим дружить с вами. Првглашаем вас в Копенгаген». Шнеды раздают значкн со своей символикой. Норнежцы тщательью занисывают и блокноты нашн адреса и вмева. А мы? Вспомнинаем нозабытые со школьных нремен аиглийский и иемецкий. Приглашаем друзей в звакомых на встречв «Next Stop», гордо иосим на свитерах, воротниках, лацканах маленькие малвионые знячкн с надивсью «Unge for fred».

И еслв где-иибудь в Москае я яижу юиошу или денушку с таким значком, то станонитси радостно: это мой едивомышлевник и друг. Нас много, и мы нобедим.

Хотите првсоединиться к нашему движевню? У вас еще есть нремя. И тогда в сеитибре вас ждут две удивительные иедели общеиня со сверстниками из Скандинавви.

Елена АВДЕЕВА

Пока комсомол мучается в поисках новых форм существования, пытается восстановить авторитет у молодежи, неформальная среда выдвигает своих лидеров.

Среди них есть люди, настроенные крайне радикально. Есть и умеренные, готовые к сотрудничеству с тем же ВЛКСМ. Но всех их объединяет одно. Четкая программа, отрицание застарелых догм, свободное, независимое мышление. Большинство неформальных лидеров готовы не только к произнесению речей, но и к действию.

Так за кем же пойдет молодежь?

Рубрику «В поисках личности» мы открываем рассказом о Борисе Кагарлицком.

ОПЕРЕДИТЬ ВРЕМЯ

Крошечная каморка под лестницей — лифтерская — битком набита книгами, журналами и газетами на разных языках, исписанными листами. В такой обстановке мы впервые беседовали с Борисом Кагарлицким у него на работе почти два года назад. Борис делился планами, в реальность которых верить очень хотелось, но не очень получалось. Речь шла о создаваемой им и еще несколькими лидерами молодежных общественно-политических групп Федерации социалистических общественных клубов (ФСОК).

Кагарлицкий утверждал, что в будущем она может вырасти в массовую политическую организацию. Но фактически занимались тогда координацией клубов, разработкой общей программы действий всего 12 человек. Остальные продолжали в основном существовать в рамках своих клубов. А чего стоили тогдашние встречи оргкомитета зарождающейся Федерации на какой-нибудь очередной квартире, где в прямом и переносном смысле стоял дым коромыслом и несколько человек одновременно пытались убедить друг друга в тех или иных теоретических положениях. Со стороны эти бурные, непримиримые споры выглядели не особенно обнадеживающими. Борис казался среди всех самым спокойным и оптимистично настроенным. Но даже он тогда не представлял себе, во что все это выльется через два года...

Лидеры образовывающихся то тут, то там народных фронтов относятся, на мой взгляд, к совершенно новому для нас социально-психологическому типу политика, человека, для которого общественно-политическая деятельность стала основной, почти профессиональной, не являясь при этом его должностью. Сталкиваясь с такими «неформальными» лидерами, представители власти не знают еще толком, как себя вести. Тем временем эти люди играют все большую роль в общественной жизни.

Откуда же берутся и как формируются «дирижеры», как принято было называть их в прежние времена? Некоторые считают, что обычно это социально неблагополучные, не нашедшие себя в других областях деятельности неудачники без определенных занятий, для которых политика — игра, заполняющая вакуум.

Борис Кагарлицкий — живое опровержение многих наших стереотипов, связанных с представлениями о лидере «неформалов» как о пламенном трибуне (немного крикуне), полном эмоций, желчном и, конечно, немного страдальце. В Кагарлицком ничего подобного нет: первое, что бросается в глаза,— это его серьезность, сосредоточенность. Никакого многословия, бессмысленного бичевания, многозначительного вида. Никаких признаков имиджа гонимости и «неформальности»: ни безумного взгляда, ни длинных волос. Вид у Бориса по-домашнему аккуратный, и его можно принять за молодого специалиста любой интеллигентной профессии. Собственно, он им и является, только в немного непривычной для нас области.

Он верно определяет себя как «педагог от политики». Действительно, ему место скорее не на трибуне, а на кафедре. Он хороший психолог и дипломат, легко общается с самыми разными людьми, умеет убеждать и доступно объяснять сложные вещи. В нем нет полемической злости, разве только иногда чуть заметное раздражение умного человека, вынужденного выслушивать давно никому не интересные банальности или глупости.

Биография Кагарлицкого, несмотря на то, что ему недавно исполнилось 30 лет, вместила в себя многое.

Вырос он в театральной семье. Его отец Ю. И. Кагарлицкий — один из известных в нашей стране и в Европе театроведов, культурологов. Его книги по истории английского театра издаются в Англии. Мать — переводчица с английского. Казалось, что выбор Бориса с самого начала был предопределен: сначала английская спецшкола, затем поступление на театроведческий факультет ГИТИСа. Всюду он учился на «отлично». Что же заставило его так круто все изменить?

В десятом классе Борис взахлеб читал работы Ленина и Маркса, на первых курсах института посещал факультатив Г. Дадамяна по социологии — одно из немногих тогда мест, где на серьезном уровне преподавалась эта наука. На каникулах ездил по приглашению в ГДР и проводил время несколько необычно для советского туриста — в библиотеке. Там ему попалась книга Эриха Фромма «Марксова концепция человека», которая помогла понять, что наш привычный диамат-истмат, во многом сконструированный в 30-е годы, еще не весь марксизм.

В 1978 году Кагарлицкий познакомился с группой молодых историков, в основном из Института мировой экономики, близких ему по интересам, взглядам. Они занимались выпуском самиздатовского ежегодника «Варианты». Сборник выходил всего в нескольких экземплярах и был скорее аналитическим, чем пропагандистским.

— В отличие от тогдашних диссидентов нас больше интересовало «право на колбасу», чем права человека. Если диссиденты ограничивались декларациями политического порядка, то мы пытались создать социально-экономическую модель развития общества по социалистическому пути,— вспоминает Кагарлицкий.

Через некоторое время Борис и еще несколько человек начали выпускать «Левый поворот» — издание меньшего объема, но более регулярное. Там не было ничего такого, о чем бы не говорилось сейчас в нашей прессе. Однако в то время это было крамолой. В 1980 году Бориса перед самой защитой отчислили из института.

Последующие два года Кагарлицкий считает самыми плодотворными в своей жизни. Он устроился на работу почтальоном, свободного времени — навалом. Учил и доучивал языки: английский, немецкий, французский, итальянский,

(позже, в бытность лифтером, выучил еще испанский). Пользуясь знанием языков, работал в библиотеке — допуск в спецхран оставался еще со студенческих времен. Написал за это время две книги: «Диалектика надежды», о влиянии сталинизма на историю социалистического и коммунистического движения в других странах, и «Мыслящий тростник» (издана в Англии в 1988 году), о взаимоотношениях русской интеллигенции и государства. Впоследствии эта книга получила Дойчеровскую премию — за вклад в развитие марксизма. Сейчас она переводится на японский язык.

Тогда же Борис познакомился с Роем Медведевым, помогал ему с языками, работал в библиотеке.

После некоторого перерыва возобновился выпуск «Левого поворота». Содержание его было прежним: о возможности рынка при социализме, о неизбежности реформ...

«Мне казалось, что нас не тронут — уж очень несерьезно то, что мы делаем»,— вспоминает Борис. Однако он ошибся. Отнеслись к ним даже чересчур серьезно. Одного Кагарлицкого приехали забирать на трех машинах 12 человек. Говорят, что Борис тогда отквзался идти. «Я еще сплю,— заявил он,— 7 утра. Если вам надо, можете меня отнести». И его действительно отнесли по лестнице в машину...

Кагарлицкого, как и других членов его группы, обвиняли в антисоветской агитации и пропаганде, создании антисоветской организации. Но через тринадцать месяцев их дело было закрыто, не дойдя до суда, после смерти Л. И. Брежнева и прихода к власти Ю. В. Андропова. В воздухе уже носились перемены.

— Изменилось ли что-нибудь в твоих взглядах за время перестройки? — спрашиваю я у Бориса.

— Конечно! Сейчас уже просто невозможно стоять на тех же позициях, что в начале 80-х. Тогдашняя моя деятельность была хорошей подготовкой. На уровне модели мы уже тогда просчитали многое из того, что происходит сейчас. Сегодня многие еще только говорят то, что не могли сказать 10 лет назад, но это уже неактуально. Например, доказывают необходимость рынка, давно очевидную. А вариантов баланса между рынком и планом великое множество, и вопрос сейчас в том, какой из них наиболее приемлем. Жить при перестройке — немного другое, чем ее прогнозировать.

«Жизнь при перестройке» обернулась для Бориса и другими переменами. Это был бросок от письменного стола, из библиотеки в аудиторию, постоянно наполняющуюся «под завязку», задающую одни и те же вопросы, часто на уровне ликбеза. («Это самое тяжелое — постоянно повторять одно и то же».)

Интерес молодежи к политике возрастал в геометрической прогрессии. Из политклуба при объединении «Наш Арбат» образовался Клуб социальных инициатив (КСИ). Через некоторое время объединили свои действия с «Общиной» из МГПИ, стали подтягиваться все новые и новые люди. Небольшого сообщения в «Собеседнике» о встрече-диалоге общественно-политических клубов оказалось достаточно, чтобы начала формироваться Федерация социалистических общественных клубов.

В оргкомитете ФСОК Борису пришлось заниматься несколько непривычной для него организаторской работой: координацией между собой и контактами с новыми, в том числе иногородними, группами, перепиской, перезвонкой, регулированием отношений с КМО, комсомолом, представителями власти. Нужно было наладить выпуск изданий Федерации — «Общины» и «Левого поворота».

Летом 1988 года Кагарлицкий помогал Тушинской экологической группе в ее борьбе за сохранение реликтовой рощи, а потом и в организации общемосковских митингов в защиту зеленых насаждений в городе. Прошлой зимой по приглашению организации «зеленого» движения Италии «Друзья Земли» Борис ездил в Болонью, выступал там на фестивале западной альтернативной прессы экологического и леворадикального направления.

И все-таки основной для него остается «общественно-педагогическая» деятельность. Он ведет семинар по социологии, экономике и общественной жизни страны, через который проходят практически все новички. В апреле 1988-го Кагарлицкий организовал семинар активистов из других городов. Многие из них сейчас вместе со своими группами участвуют в движении за создание Народного Фронта РСФСР. Несколько раз Бориса приглашали выступать в МГУ с лекциями о НФ и по теоретическим вопросам. В прошлом году он ездил в Саратов на Бухаринские чтения, а этой весной — в Иркутск по приглашению Байкальского Народного Фронта.

Я попросила Бориса изложить кратко свою политическую платформу, с которой он выступает на общественной трибуне, ведет семинары.

— Во-первых, я уверен, что необходимы блоки типа Народного Фронта, стоящие на широкой социалистической платформе и действующие в рамках существующей Конституции. Нам нужно сейчас не пятьдесят маленьких партий, появление которых ничего не изменило бы, а широкое массовое движение с программой и собственным лицом, в первую очередь для создания демократического механизма принятия важных решений, в том числе экономических.

Необходимо добиваться реальной власти Советов, принятия нового избирательного закона, восстанавливающего прямые и равные выборы в Советы всех уровней.

Мы боремся за создание в трудовых коллективах механизмов для подлинной защиты прав трудящихся, за улучшение материального положения студентов, за реорганизацию всей системы обучения общественным наукам, создание Союза ученых, приравненного к творческим союзам...

Можно задать вопрос: а зачем вообще нужны «новые лидеры» типа Кагарлицкого, если требования, которые они выдвигают, во многом совпадают с тем, что появляется на страницах газет? Ответ в самом существовании НФ, ФСОК. Есть огромная потребность у молодежи и более взрослого поколения в организаторах, идеологах, занимающихся непосредственным привлечением масс к общественной жизни, участию в перестройке. До последнего времени у нас их вообще не было: политик и работник аппарата не одно и то же. И вряд ли уже пришло время беспокоиться, не вырастут ли из этих «полупрофессионалов» новые бюрократы. Скорее стоит опасаться появления ловких манипуляторов общественным мнением, и именно поэтому среди многочисленных новых лидеров имеет смысл выслушать и попытаться понять хотя бы наиболее известных.

Виктория БАЛОН

Приглашаем в «школу»

«Социалистическая инициатива наказуема исполнением!» — гласит поговорка в «неформальном» варианте. Инициативная группа «молодых социалистов» предлагает провести в конце июля — начале августа встречу единомышленников. Мы надеемся, что после двухнедельной «школы» вы сможете ответить на классический вопрос: «Что же такое социализм?» Труды Маркса, Ленина, Бухарина, Троцкого, Маркузе, изучение зарубежного опыта не по «критическому» переложению, а по первоисточникам. Это трудно, но необходимо. Мы ждем вас, преподаватели и студенты!»

Новости самиздата

Комсомольская организация МГУ наладила выпуск собственного бюллетеня. В нем будут публиковаться не только переводы классических зарубежных авторов, но и работы советских специалистов, доселе известных лишь «узкому кругу лиц». Рынок — панацея или средство?; проблемы общественно-политического движения; куда идет комсомол? — таковы будущие темы университетского издания.

Расследование ведет «20-я комната»

События поначалу развивались вполне по законам детективного жанра. Звонок в редакцию, сообщение о том, что свердловская милиция проявила неожиданный «интерес» к пионерскому отряду «Легенда» и что некоторых детей увезли на допросы прямо из школы...

...И вот брошены дела, оформлена командировка, и самолет приземляется в ночном Свердловском аэропорту. У турникета меня встречает группа ребят лет 20—25. Ушанки, очки, волосы чуть длиннее обычных.

И мы едем, а потом идем по ночному городу, и стук каблуков по льду отчетливо слышен на фоне морозной тишины. По дороге знакомимся. Олег Денисенко, Гриша Рейхтман, Алеша Кнбирев — создатели и руководители пионерского отряда «Легенда». Отряда не совсем обычного. Во-первых, существует он не в школе и даже не во Дворце пионеров, а вроде как сам по себе. Многие руководители и инструкторы в «Легенде» — воспитанники знаменитой «Каравеллы» Владислава Крапивина, ушли оттуда по идейным соображениям, не нравится авторитарный стиль руководства. Считают, что в «Легенде» больше свободы и демократии, все дела в отряде решает совет, на который взрослые не допускаются. Строение «Легенды» напоминает строение римского войска — когорты, центурии. Занимаются ребята углубленным изучением истории и философии, морским делом, фехтованием, выпускают литературные альманахи, играют рок-музыку — согласитесь, несколько необычно для пионерского отряда. Впрочем, статус пионерского отряд получил в декабре прошлого года, до этого в течение двух лет считался просто клубом. Все это время руководители и инструкторы работали в «Легенде» на общественных началах. Сейчас горком ВЛКСМ обещает найти ставку педагога-организатора. Вообще с горкомом отношения неплохие. Правда, секретарь горкома Ирина Темникова считает, что пионерскому отряду необходимо заниматься каким-то социально значимым делом, приносить пользу окружающим людям, а не замыкаться внутри себя. Ребята с ней вроде бы согласны, но руки до всего не доходят. Мы обсуждаем все эти проблемы в студенческом общежитии Уральского университета. Потом все замолкают и начинает говорить Олег Денисенко. Ему 23 года, учился на истфаке, бросил, последнее время нигде не работает, безусловный лидер «Легенды».

— Посмотри, сколько кругом проблем: дети уходят из дома, дохнут от наркотиков, ищут спасение в религии, пытаются думать и не соглашаться. А о чем спорят в пионерской организации — стоит ли отдавать салют, когда подходишь к барабану, и до какого класса надо носить галстук? Да не верят дети в эту пионерскую организацию. Они вообще ни во что не верят.

Я считал своей главной задачей научить детей думать самостоятельно и не бояться. Три года назад многие из ребят в отряде втихую курили и пили, и все было нормально, и все были довольны. Сейчас ребятам очень сложно, потому что они стали способны на мысли, на которые не способны взрослые,— это, конечно, не может не радовать. Но это страшная боль. Для них. Для меня. Потому что я не знаю, что делать дальше. Потому что я думаю, а нужно ли было все это?

...Знакомлюсь с тринадцатилетним поэтом Сашкой Смирновым. Открытое лицо, живые глаза — пацан как пацан. Стихи сочинять начал в «Легенде». Вообще отряд свой безумно любит. Может пропадать в «легендарном» подвале с утра до вечера.

— В школе всем все по фигу, только и разговоров, что про видео. Курят, пьют, матерятся — даже девчонки. Я бы тоже такой же, наверно, был, если бы не ходил в отряд. Дома каждый день: «Какие отметки?» Ни о чем другом с родителями не разговариваю. Зачем? Если тяжело, иду в «Легенду», знаю: там поймут.

Полтора месяца Сашка был в «Легенде» диктатором (в критические моменты в отряде вводится такая должность, тогда вся власть в руках одного человека). Быть диктатором ему не понравилось, он вообще считает, что высоких должностей быть не должно, потому что любая власть развращает. Интересуется древней историей и философией.

Шестого февраля Саша Смирнов и двенадцать его товарищей оказались в городском управлении внутренних дел...

«Я сидел на втором уроке. Вдруг меня вызывают: «Смирнов, с вещами!» Я вышел, во дворе стоял рафик, на нем нас привезли в УВД. Привели в актовый зал, посадили через ряд, сказали: не разговаривать. Потом меня пригласил на беседу инспектор по делам несовершеннолетних. Спрашивал, чем я интересуюсь, чем занимаемся в «Легенде», почему родители недовольны. Неожиданно в кабинет зашел какой-то мужчина в штатском и говорит: «Ну что, есть у вас в отряде гомосексуализм? Признавайся!» Я отвечаю: «Нет». А он: «Да, странно. А ваши руководители уже признались». «Какие руководители?» «Так я тебе сразу и скажу». Потом нас всех собрали у следователя Далевского. Он спросил: «Ну что, ребята, будем разгонять отряд?» Мы, конечно, закричали: «Оставим!» А он говорит: «Тогда вам нужен другой руководитель, не Денисенко. Потому что руководитель должен быть примером. А примером не может быть человек, который нигде не работает». Потом нас привезли в школу. Это было уже после пятого урока».

Примерно так же описывали происшествие и другие ребята. Сначала разговоры «за жизнь», потом внезапный вопрос в лоб о гомосексуализме или наркомании, уловки типа «Зачем ты врешь? Твои друзья уже сознались!». Заурядные милицейские приемы, много раз описанные в детективах, показанные по телевидению. Сразу видно, следствие вели «знатоки».

Да, операция была подготовлена и проведена блестяще. Семь человек взяты в школе, пять в отряде, один дома. Одновременно успели «посмотреть» книги Олега Денисенко, хранящиеся у Димы Жукова. Естественно, без санкции на обыск. Зачем? Достаточно устного согласия владельца книг. Ничего противозаконного, однако, не нашли. Уголовное дело заводить не стали.

...В здание ГУВД я, признаться, входила с некоторым священным трепетом — ведь здесь работают люди, охраняющие покой и сон Свердловска, здесь едва не была раскрыта шайка гомосексуалистов и наркоманов. Подполковник милиции Эдгар Юрьевич Далевский вполне соответствовал общепринятому образу благородного следователя: проницательные глаза, хитрая улыбка, хорошо поставленный голос, манера недоговаривать до конца.

— Так что же произошло, Эдгар Юрьевич?

— Около месяца назад к нам обратились с устной жалобой двое учителей, потом поступили два заявления родителей. Очень было похоже, что в «Легенде» совершается ряд преступлений. Мы предприняли предварительные шаги — беседовали с несколькими родителями, с некоторыми бывшими руководителями отряда. Наша уверенность укрепилась. После всего этого проверить достоверность информации можно было только одним способом — поговорить одновременно со многими ребятами. Что мы и сделали.

Подполковник Далевский отказался уточнять, какие именно факты приводились в заявлениях, не разрешил корреспонденту «Юности» прочитать жалобу родителей. Зато еще до начала проверки охотно показывал ее Ирине Темниковой, секретарю горкома ВЛКСМ.

«Третьего февраля мне позвонил Далевский и сказал, что в «Легенде» непорядки, — рассказывает Ира.— Шестого февраля в понедельник я пришла в УВД. Далевский дал мне прочитать заявление одной мамы — тоненькую ученическую тетрадку, полностью исписанную. Когда я прочитала ее, пережила сложное чувство, не могла определить, как отно-

ситься к этому. Какие-то страшные факты, ужасные, нелепые обвинения. Думала: неужели правда? В шоке была жутком. Через день позвонил Эдгар Юрьевич, сказал: «Не подтвердилось».

Да, как говорится, факты не подтвердились. Ребята в один голос отрицали и гомосексуализм, и наркоманию. Некоторые даже долго не могли понять, о чем их спрашивают. Поняв, плакали, требовали экспертизы. Экспертизу им не устроили, но на всякий случай взяли у некоторых письменные объяснения.

— Понимаете,— сказал в конце нашего разговора Далевский,— я не могу чью-либо сторону принимать. Я должен принимать сторону закона. Сейчас я проверку закончил. Ни о каком привлечении к уголовной ответственности руководителей «Легенды» речь не идет. Считаю, что мы поставили точку.

Мне тоже очень хотелось бы поставить на этом точку...

Ребята из «Легенды» были единодушны: всему виной мама одного из мальчиков, «написавшая на сына донос» и запретившая ему ходить в отряд. Однако, объясняли мне, она не сама до этого додумалась. Ей посоветовал некто Дима Каменщик, один из инструкторов «Легенды», ушедший оттуда, но тем не менее претендующий на власть в отряде. В общем, цепочка выстраивалась довольно стройная: Дима Каменщик из корыстных соображений рассказывает одной маме про безобразия, творящиеся в отряде, испуганная мама идет в УВД, ну, а дальше уж «следствие ведут знатоки». В такую схему не очень-то верилось, но, как пишут в детективах, версию надо было проработать, и я решила встретиться с этой мамой, виновницей стольких отрядных бед. Имя и фамилию ее я по понятным причинам указывать не буду. Эта женщина от встречи со мной категорически отказалась, сославшись на большую занятость, но по телефону мы все же поговорили.

— Я не знаю, откуда пошли эти слухи о том, что я клеветала на «Легенду». Ведь известно, что была жалоба учителей. Денисенко и все остальные просто клещами впились в сына, в меня. Они постоянно ходят в школу, встречают сына после музыки, настраивают его против меня. Если дальше так будет продолжаться, мне придется обращаться в прокуратуру.

— Почему вы запретили сыну ходить в «Легенду»?

— Во-первых, потому что он стал плохо учиться, из потенциального отличника превратился в потенциального двоечника, говорит, что в школе ничему не учат. Я знаю, это влияние «Легенды». Там даже в рок-песнях поется, что, мол, учитель — дурак, а мать — домохозяйка. Сын вообще очень изменился. У него появился какой-то нигилизм, начались конфликты со мной. А я мать и имею право направлять сына, и это мне ставится в упрек «Легендой». Я считаю, что люди, которые сами в жизни не устроены, со своими завиральными идеями не должны работать с детьми.

Вопрос о взаимоотношениях детей и взрослых — один из самых важных в «Легенде».

— Однажды,— рассказывает Олег Денисенко,— я провел такой мини-опрос. Интересовался у ребят: какой первый вопрос задают вам родители, когда приходят домой с работы. Вариантов немного: «Уроки сделал?», «Какие оценки получил?». И это спрашивают родители, которые не видели своего ребенка целый день! А ведь первый вопрос должен быть: «Что хорошего? Что хорошего, сын, было у тебя в этот день?» Знаешь, что меня потрясает? То, что родители никогда ничего не доказывают ребенку, просто запрещают, даже не считая нужным объяснить, почему запрещают, иногда даже не понимая зачем,— это же рабская психология. Дети — самые бесправные, самые незащищенные люди в нашем обществе, не защищенные даже от собственных родителей. Вся эта история с УВД для меня была страшным ударом. Потому что я понял, что не в состоянии защитить детей. Я могу сейчас только кричать: «Терпите, пока не станете взрослыми, пока не будете самостоятельными».

У Олега сейчас нет позитивной программы. Он просто не знает, что делать. Чувствует, что зашел в какой-то тупик. А тут еще эта история с ГУВД. Проверка вроде закончена, а на тебя смотрят, как на чумного, мол, дыма без огня не бывает. Олег повторяет одну фразу как заклинание: «Выход — либо продаться, либо бежать. Я буду бежать». Публично, на родительском собрании заявил о своем выходе из «Легенды». Устал. Не уверен в своих силах. Но я знаю твердо: он вернется. Не сможет бросить детей, которые ему доверяют. Ибо «Легенда» не просто этап в его биографии, это еще его мировоззрение, гражданская позиция, если хотите...

И была у меня еще одна встреча, о которой я не могу не рассказать. Встреча с Димой Каменщиком, тем самым «претендентом на престол», который, по мнению ребят, заварил всю кашу. Три месяца он работал в «Легенде» инструктором по фехтованию. Дима — полная противоположность Олегу. Подтянутый, собранный, уверенный в себе, в своей правоте, убеждающий в ней всех окружающих. Он ушел из «Легенды» за два месяца до Денисенко. Тоже устал.

— Надоела эта атмосфера всеобщей безалаберности, безответственности. Слова, одни красивые слова. Они словно сговорились при мне ничего не делать.

Дима смотрит слегка насмешливо. Говорит аргументированно, приводит неопровержимые доводы, факты. В суждениях резок и категоричен, даже слишком категоричен. Рассказывает, как собирались в «Легенде» то строить яхты, то выпускать газету, то ремонтировать помещение. Проекты так и остались проектами.

— Организатор — это не тот, кто смел в замыслах, а кто последователен и упорен в их исполнении. Денисенко — безнадежно плохой организатор. Он безволен, слаб, безалаберен. И все остальные лидеры в «Легенде» — тоже никакие. Они не то что отрядом, собой управлять не в состоянии. Поэтому никакого труда не составляет захватить власть в отряде в свои руки, если вопрос вообще так стоит. С этими людьми просто смешно конкурировать. Но я не в состоянии взять «Легенду» на себя, потому что не смогу уделять ей столько времени, сколько уделяет Денисенко, потому что у меня другие планы в жизни, потому что у меня серьезная и интересная работа.

Дима работает ассистентом на телестудии. Хочет стать журналистом. Собирался писать статью о «Легенде», может быть, поэтому задержался в отряде, захотел поговорить с той самой мамой, запретившей сыну ходить в отряд.

— Я видел, что ее что-то не устраивает. Меня заинтересовало, что именно. Я позвонил и договорился о встрече. Она высказала мне свои претензии. Я попытался ее разубедить, сказал, что глупо не пускать ребенка в отряд. Он ходит туда, потому что ничего другого нет, ему нужен коллектив, которого нет ни в школе, ни дома. Мне показалось, что она меня поняла. Следующий разговор у нас был через несколько дней. Я заметил, что она пытается подвести меня к мысли, что в «Легенде» все плохо потому, что там занимаются гомосексуализмом. Я сказал ей прямо, что фактов, доказательств у меня нет. Естественно, мне в голову не могло прийти, что наш разговор будет иметь такое продолжение в УВД. Хотя я наверняка не могу сказать, кто из родителей писал жалобу.

Мы сидели на кухне и пили чай. Дима с присущим ему максимализмом, четко деля мир на черное и белое, рассуждал о журналистике, педагогике, анализировал историю «Легенды». «Понимаешь,— объяснял он,— я тут виноват не больше, чем человек, который переходит улицу в желтой шапочке. Шофер засмотрелся на нее и задавил старушку. Если рассуждать логически, получается, виноват владелец желтой шапочки. А вообще-то сама видишь,— сказал Дима на прощание,— материал совсем не такой сенсационный, как ты ожидала». «Да»,— кивнула я головой. И вспомнила слова Олега: «Что я могу им предложить? Терпите, пока не станете взрослыми, пока не будете самостоятельными. И, я вас очень прошу, не свихнитесь».

P.S. Перед сдачей материала я позвонила в Свердловск. Леша Кибирев, новый руководитель «Легенды», сообщил мне последние новости: Олег Денисенко устроился сторожем и пишет книгу. Приходили ребята из военно-исторического центра, предложили вести фехтование и йогу. Горком выбивает ставку педагога-организатора. В общем, все нормально.

— Значит, смотрите в будущее с оптимизмом?

— Сейчас, знаешь, какая-то апатия у всех. Нет запала, надежды. От шока люди еще не отошли. Я думаю, со временем это пройдет.

Да, конечно, пройдет. Но я не думаю, что эта история останется последним испытанием, выпавшим на долю отряда. Потому что пока странное и непривычное будет вызывать раздражение и злость, а не интерес, пока мы не научимся терпимо относиться к чужому мнению, пока инакомыслие не станет обычным явлением, конфликт «легенд» с обществом неизбежен.

Инна ЛЕЩИНЕР.

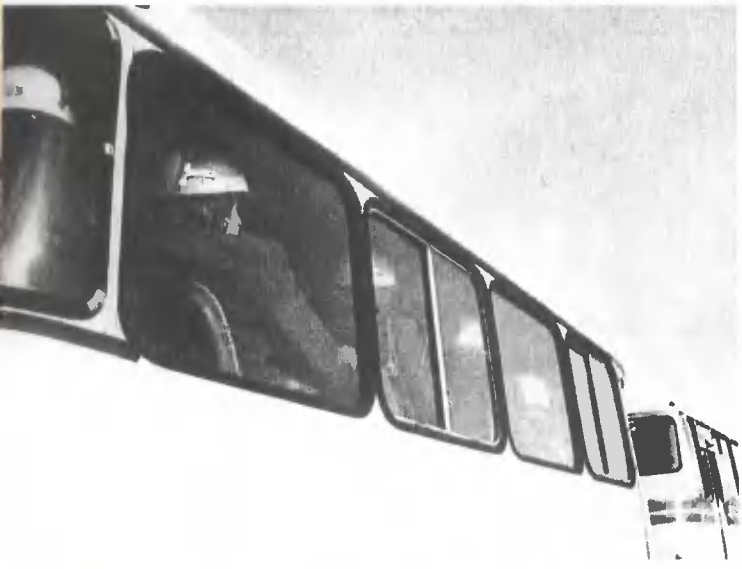
Свердловск — Москва

Публицистика

Виктор КОЗЬКО

ХРОНИКА НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ МИТИНГА

Фоторепортаж Сергея Гриця, Сергея Плоткевича, Андрея Максимова



Само небо, земля, погода в те дни были крепко набекрень: не то поздняя осень, не то ранняя зима. И зрело предощущение беды неведомой и невидимой, подступающей все ближе и ближе опасности, сжимающей и перехватыающей дыхание и горло.

Можно ли назвать точную дату факта или события, если они вечны? Ошибки не будет, с чего ни начнешь. Киношники, например, определили себе точку отсчета музыкальную. Как ударят барабаны, как зазвучат фанфары, как польется: «Я другой такой страны не знаю...» — так и знай, они идут. Вот с этого можем начать и мы, потому что все на свете короли по части составления сценариев довольно примитивны. Не мудрствуя лукаво и тридцатого октября, они тоже начали с музыки военного оркестра.

«Широка страна моя родная» загремело, понеслось тридцатого октября в 13.00 от ворот Московского кладбища. Предполагалось, что песню эту у ворот кладбища вслед за оркестром подхватят комсомольцы, чей день рождения праздновался накануне, а сегодня должен был продолжиться их массовым гуляньем в районе кладбища.

Но комсомол и комсомольцы по непонятной причине не пожелали массово гулять в отведенном им властями месте, хотя на ту минуту были там почти все комсомольские вожаки. И массы были. Массы почему-то не подхватили бодрый напев, не пошли за оркестром. Не для гулянья среди могил вышли минчане, в том числе и комсомольцы, в тот день. Совсем не для гулянья.

Сотни, тысячи минчан с двух сторон Ленинского проспекта спешили по тротуарам к Московскому кладбищу. Шли плотно, как в очереди к Мавзолею, молодежь с цветами в руках, шли с детьми и женами взрослые, иные катили перед собой детские коляски. Останавливались перед красно горящими светофорами, ждали дозволяющего зеленого. Дорога была длинной. Метро на подъездах к кладбищу было закрыто — «по техническим причинам». Общественный и личный транспорт остановлен милицией — без объявления причин. Все перекрестки оцеплены многослойными нарядами милиции, мышь не проскочит. Проезд был разрешен только милицейским машинам и автобусам, но единственными пассажирами тех автобусов опять же были люди в милицейской форме. И не просто милиционеры, а все сплошь офицеры или курсанты.

Беспрепятственно проходили и военные машины, непонятно откуда выползшие, потому что Минск и минчане ни до, ни после их не видели. То были машины специального назначения, видеть их раньше никто не видел, но, похоже, в деле они когда-то уже побывали. Досталось им. Зашитного цвета краска сверкает свежестью, и режут глаз отлакированные черным, как нагуталиненные, номерные знаки, а сами машины, металл их, словно прошли через метеоритный дождь.

И шли они державно и неторопливо, как могут ходить в тиши зеленого леса тяжелые танки, ползли, смрадно повонивая переизбытком заключенной в них мощи, зная об этой мощи, презирая штатскую дерганность, суету и спешку. Свежеумытые, жаркие и мирные, пожарные машины казались под их зеленой сенью просто елочными игрушками. Как лицо младенца, ангела-херувима, среди них были чисты и невинны юркие медицинские «Скорые помощи».

Кому только они должны были оказывать помощь? По какому покойнику, что за слеза такая горючая сумасшедшая, слеза всенародного горя с потерей чувств и сознания должна была пролиться, если кортеж, механизированная рать, у ворот Московского кладбища состоял более чем из сотни разных машин? Что за враг вдруг объявился в городе Минске? Кого и от кого здесь эта рать должна была оборонять: живых, что с цветами в руках заполнили площадь, или мертвых, что смирению и навсегда замерли под могильными плитами?

Вход на Московское кладбище, широкие ворота с неутешно и высоко скорбящей фигурой женщины над ними, только что потерявшей сына или дочь, были в несколько рядов оцеплены курсантами Минской школы милиции. Вдоль этого оцепления прохаживался невысокого роста плотный подполковник с мегафоном в руках и озабоченностью пахаря на усталом крестьянском лице, в шинели, порядком потрепанной и оттого казавшейся брезентовиком послевоенного председателя небогатого колхоза. Группы милицейских чинов более высокого звания. Многочисленные группы людей в штатском, в анонимности лиц которых за версту прочитывалась их принадлежность. Они были разбросаны, как цветы среди чертополоха илн, вернее, как чертополох в поле цветов в огромной уже толпе на площади у Московского кладбища. Как чертополох, потому что люди были с цветами в руках, алыми гвоздиками и поздними осенними астрами.

В воздухе ощутимо запахло страхом. И опять же этот страх был непонятен и иеобъясним. То ли испугались мертвые и задышали страхом, понесли его к живым, то ли в живых проснулось нечто всосанное с молоком матери, уже генное. Ведь они были свободны, и никто им не угрожал в открытую. В любую минуту они могли повернуться и уйти. И самые робкие, на всю жизнь испуганные, так и сделали. Толпа от этого не поредела, хотя стала и более подозрительной. Все вдруг заоглядывались по сторонам, начали шарить по лицам друг друга, как по карманам, скользящим косым взглядом, будто пытаясь обрести точку опоры, стремясь отыскать сотоварищей по службе и жилью и просто знакомых. Найдя, столкнувшись взглядом со знакомыми, спешили ему иавстречу, объединялись и, объединяясь, еще больше расслаивались, разъединялись, покидая а пустотах единеиия дух враждебиости, врага, сотворяя образ врага из ничего, из каждого, кого раньше не видели и не знали.

Старый образ сегодня переплавлен в одно слово — интеллигеит. Поэт, прозаик, художник, артист, музыкаит, творческий работник. А конкретно Адамович, Быков. Писатели... Какого-то Народного фроита захотели. Миллионеры и так. Вот отберут у рабочих фабрики и заводы, у крестьян — землю, присвоят себе и заставят всех работать на себя. Ни меньше ии больше. Вот такой аот грандиозный образ врага. Кто по сравнеиию с ним какой-то жалкий дядюшка Сэм! Волчишка из счастливой в общем-то сказочки о Красной Шапочке. А тут аолки.

К охоте иа этих волкоа и их волчат, их молодых приспешников, тридцатого октября 1988 года и подготовилась бронироаанная рать, новоявленные короли Стахи времен перестройки и гласности в Беларуси. Дело в том, что конец октября — начало ноября — это деиь помииовения умерших, Дзяды, издавиа, с языческих времеи традиционный в Белоруссии. И ие только в Белоруссии. Второе иоября официально является днем поминовения предкоа в Прибалтике, поляки пометили этот день красным в календаре, сделали иерабочим. Дзяды отмечались в Минске и за год до этого. Горсовет дал разрешеиие. По инициативе минских неформалов — «Тутэйшыя» и «Талаки» — был проведеи общегородской митиинг. За разрешением провести такой митинг неформалы от саоего имени и при поддержке Белорусского фонда культуры обратились в горсовет и в этом году. Разрешеиие поначалу было получено. Какой-то чиноаник из городских аластей недобдил, не узрел, какую великую опасиость представляют мертвые, если их всех оптом взять и помянуть. Среди них аедь и белогвардейцы есть, «заслуженные» кулаки. И вообще всякие непонятные личности. Умирают без разрешения, а иных, и того, пристреливали даже. Зачем же живым и ныне здравствующим отдуваться непоиятно за кого и за что, за всех этих безвременно, скоропостижно и после тяжелой продолжительной болезни, может, буржуазного или, хуже того, нацдемовского происхождения? И хотя в каких-то домах всегда и все взвешивающие люди, от рождения еще с весами в руках, гоаорили о степени взвешенности и на сей раз, поднимали и ставили вопрос, было уже ясно, что никакого митинга не будет.

Это стало ясно как божий день почти в полночь девятнадцатого октября в Доме кино на первом организационном заседании республиканского историко-просветительского общества памяти жертв сталинизма «Мартиролог Беларуси». Именно там, в Доме кино, а в просторечии Красном костеле, под его величественными и благостными сводами прозвучали первые залпы близящейся охоты. Охоты ночных невидимок из свиты короля Стаха. Если идти уже не за Владимиром Короткевичем, а делать свои аналогии: залп не по Зимнему дворцу, а из Зимнего по тем, кто уж очень о себе возомнил в последнее время, начал поднимать голову и подавать голос. Пора, пора было останавливать н затыкать рот.

Вот для этого, для производства залпа, невидимки стальной рати сбросили на мгновение железные маски, хоть и не до конца, но явили присутствующим свое истинное лнцо, увидеть которое стало сегодня пределом мечтаний каждого.

Как папиросы из «Беломорканала», они сидели в Доме кино плотной пачкой, папиросы или патроны в одной обойме, свежего, недавнего производства, плотными рядами, по приаычке заняв лучшие места. Местная знать, современные шляхтичи, номенклатура, люди ниоткуда, потому что так и не пожелали назвать свои фамилии и должности, зарегистрироваться, как то сделали остальные три сотни собравшихся. Пришли организованно, но тайно, за полтора часа до начала заседания и, казалось, были там всегда. Литые плечи, каменно-тяжелые затылки. Анонимно присутствующе-отсутствующая, непроницаемая занавешенность лиц, невольно вынуждающая всех прочих держаться на почтительном отдалении. Армейская лагерная дисциплина и четкость, как при исполнении команды «плн» или «разойдись», при голосовании: против, против, против. Расстрел еще не существующего, не организованного общества, его устава, резолюции, программы, членов.

Лишь два человека из этих рядов решились полностью раскрыть свое лицо. Одним из них оказался великий демократ и не менее великий эстет, борец за гласность и перестройку, он же еще и прокурор, блюститель закоиа. Первое явствовало из его выступления, он обвинял собравшихся в несоблюдении принципа демократичности: разучились слушать противиую сторону.

Это действительно было, потому что слушать демагогню на самом деле было противно: жертвами сталинизма занимается специальная комиссия в республике и ЦК партии во главе с товарищем Соколовым, и не надо иам никакой общественности. Прокурорское «слушать» было абсолютно тождественно: извольте слушаться.

Второе, то, что он еще и эстет, выяснилось из ответной реплики режиссера телевидения Коломийцевой. Великий демократ и борец за гласность и плюрализм арестовал, запретил показывать с экранов телевидения ее фильм о жертвах сталинизма, людях, расстрелянных в 37—39-х годах на окраине Минска, в Куропатах, преступления сталинской администрации, раскрытые именно общественностью, обнародованные кандидатом исторических наук Зеноном Позняком. Общественность и настояла, вынудила прокуратуру возбудить уголовное дело, провести расследование. А в тот деиь в Красиом костеле из уст прокурора, из его заключения по фильму режиссера Коломийцевой: черепа на экране телевизора — это совсем-совсем неэстетично. Надо щадить чувства народа.

Следующим, кто раскрыл свое лицо, снял маску, был человек, многим в зале знакомый, почти свой, а одно время перекидывавшийся а шахматишки с самим Аркадием Кулешовым, поэтом, другом Александра Твардовского. Ростислав Леоиидович Бузук. Для некоторых в зале просто Рослик — один из кураторов и несунов культуры в массы. Кураторское кресло его на тот момент было не совсем прочно, в учреждении, которому он принадлежал, шло сокрашение штатов. И по всему, он пришел в этот зал с явным заданием клана культуристов республики показать, что они необходимы: не допустить создания никакого самодеятельного общества. Это было заметно по той жертвенной самоотдаче, закланности, с какой он бросался грудью на трибуну-дот, амбразуры микрофонов. Бросался демонстративно, некстати и не к месту, во время даже процедуры голосования: не заставить слушаться, не остановить ход истории, перестройки и гласности, так хоть на миг задержать, продемонстрировать умение и готовность «держать и не пущать».

Сложные и противоречивые чувства вызывали эта жертвенность и закланность. Все же, что бы там ни говорилось, это был поступок. И не его вина, что, отправляя на подвиг, его не сумели достойно и прилично обмундировать, а, наоборот, раздели донага. Попрели, видимо, в сталинских сундуках старые мундиры, истлели, пошли прахом, и как, и сколько ни напяливай их на себя — все равно останешься голым. Тут уж даже самый искусный костюмер не поможет. А минские костюмеры никогда своим искусством не славились. И перестройка это наглядно выявила, сначала поколебав, а потом и вдребезги разбив миф о стабильностн положения в республике, миф о самой благополучной республике в стране. Прозрение всегда страшно, но надо же когда-то называть вещи своими именами.

Голость короля была видима не только простодушному глазу ребенка, всем, кто был в зале, кто захотел и смог прозреть в последние годы. Со своими доводами и аргументацией он только продолжил всеобщий республиканский духовный стриптиз. И сочувствие к нему, и негодование к тем, кто вынудил его явиться сюда в таком виде, копились, выспевали в душе. Потому что голость эта год-два назад была присуща многим, если не всем из сидящих в зале. Что там говорить, не только друг перед другом, перед всем миром похвалялись, выстаалялись своей наготой. И стыд невольно заливал краскою лицо.

Большей дискредитации того органа, который представлял здесь Бузук, пожалуй, невозможно придумать, попроси врага — тоже не сможет. Действительно, нет у нас врага сильиее нас самих.

И еще как боятся они, короли и корольки всех рангов и званий, свежего воздуха, как быстро они линяют до потери человеческого достоинства, если их вытащить на свет, говорить с ними на нормальном человеческом языке, не идеологическими блоками, а очевидностью, реальностью, лишить их привычной обстановки, сановного кресла, телефонов-вертушек, секретарш, мебели под орех или красное дерево, парадных подъездов и лестниц под мрамор, под изящество и красоту. Без всего этого они не просто беспомощны, а глупы, нелепы, как может быть нелеп человек с расстроенной координацией движения. Нелепы и глупы в нормальном и естественном человеческом общении, глупы в речи, поступках, действии. Лживы, потому что уже не могут быть сами собой, а только под, под. Имитация правды, имитация жизни, власти, наверно, тоже. Страшно. Страшно потому, что мы тоже под, под ними. И никогда добровольно они нас не выпустят из этого под, если мы не сумеем вырваться сами.

— Кто за то, чтобы принять нашу резолюцию за основу,— привычно внес предложение председательствующий,— прошу поднять руки.

Зал, за исключением людей ниоткуда, взметнул руки. В то же время подхватился со своего места Бузук, выступавший уже ранее, но так ничего вразумительного и не сказавший в своем выступлении, не согнанный с трибуны лишь благодаря прежнему авторитету той организации, которую он представлял, заскорузлой терпеливости присутствующих. Теперь он вновь ринулся к микрофону. Порыв этот сравним только с отчаянием лагерника, идущего на колючую проволоку под напряжением. Но председательствующий, стремясь закончить голосование, обхватив руками трибуну, не допустил его до микрофона. Маленький, очкастый, немолодой, он не позволил вытолкнуть себя из-за трибуны. Началось долгое и довольно унизительное препирательство. Борьба за аласть, микрофон, гласность. Двое парней-распорядителей с красными нарукавными повязками шагнули и стали с двух сторон Бузука. (Позднее журнал «Политический собеседник» № 1, 1989 год, напишет, что Бузука стащили с трибуны, волоком вытащили из зала и почти избили. Свидетельствую: никто пальцем к нему не притронулся, он был просто жалок и нелеп сам по себе.)

— Демократии! Демократии и гласности! — скандировали, как стреляли, люди ниоткуда.— Дайте ему слово, пусть говорит.

— Он уже говорил, а мы слушали,— отвечал зал.— Пусть не мешает процедуре голосования.

— Де-мо-кра-ти-и, гла-сно-сти,— били одиночно и очередями сплоченные анонимы. Потешался в смехе зал. Но кос у кого в том залс глаза пошли в сторону, в пол, тело в кресло, голова в плечи, сохранившим чувства стыда и жалости было стыдно, обидно до слез, ведь человек, сталкивающий другого человека с трибуны, судорожно и нелепо протягивающий руку к микрофону, представлял культуру целой республики.

— А заведующего своего отдела, секретаря он тоже может остановить во время голосования, согнать с трибуны?..

Пригнулся за столом президиума, будто желая провалиться сквозь пол, пошел пятнами Василь Быков. Несколько лет назад на совещании писателей-фронтовиков в Минске он, угнувшись и напрягшись за трибуной, вот так же, в присутствии членов правительства и первого секретаря ЦК Компартии республики, говоря о зачинателях фронтовой литературы, кинул в зал и президиуму: Виктор Некрасов. Тишина тогда в залс установилась неимоверная.

И сейчас та же неимоверная тишина установилась в зале еще до того, как поднялся со своего места Василь Быков. Эту тишину тоже, наверно, надо назвать предчувствием зала, предчувствием той охоты, что началась две недели спустя... А Быков в ту минуту:

— Что здесь происходит? Что это нам напоминает?.. Мы только что проголосовали: кто за резолюцию. Ставим на голосование: кто против резолюции.

Проголосовали. Против создания историко-просветительского общества жерта сталинизма был Бузук и та же дружная команда ниоткуда.

— Вот и все,— сказал Василь Быков, обращаясь к Бузуку.— Теперь говорите, что вы там хотели сказать.— Весь этот эпизод занял минуту.

Из Бузука будто выпустили пар. Он обрел то, чего домогался: гласность, демократию и свободный доступ к микрофону. И он просто потерялся: держать и не пущать не вышло, слушаться его не изаолили. А сказать ему было нечего, кроме как повторить раз уже сказаниое им и «демократом» и «эстетом» прокурором.

— И это демократия? Это демократия? — несколько раз повторил он, стоя за трибуной, не решаясь с ней расстаться.

Но повторение то было грозным. В нем уже слышалось бряцание охотничьих ружей, ковааая поступь сапог батальонов милиции и войск специальиого назиачения, посаист резиновых дубинок, реа моторов машин-водометов, изголодавшихся «черных воронков». Охота, охота, охота.

Охота тридцатого октября была направлена на пресечение «заразы», поступающей в республику извне — из Прибалтики, где организовался Народный фронт, да и Москвы, откуда накатывали волны перестройки и гласности, куда был выжит Алесь Адамович. Надо было хранить стабильность устоев антиперестроечной Вандеи. Об этом прямо и без стеснения говорилось позднее официально со всех трибун: вы что хотите, чтобы и в Белоруссии было, как а Прибалтике? Правда, при этом совсем не бралось в расчет, чего же хотят сами белорусы.

...День памяти предков. Великий день поминоаения. Дзяды. День нашей человеческой памяти, которая и делает нас людьми, держит, не дает порваться нити времени, связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. Кто из здравомыслящих может посягнуть на него? Кощунственно даже помыслить о таком. У каждого ведь из нас есть или были мать и отец, родители. Они нас родили. Это и есть наша родина. И ее мы остааляем своим детям. Так кто может поднять руку на родину, на самого себя? Самоубийцы, конечно, есть на земле, в роде человеческом. Но их не так уж и много. Да и поднимают они руку только а минуту крайнего отчаянья и лишь на то, что принадлежит им лично. На свою собственную свечу, которую аправе и погасить. Гасить свечу чужую — это нечто уже иное, имя чему даже не преступление, а сумасшестаие. Хотя это приложимо, наверно, к человеку обычиому и элементарио честному, порядочному. Ум и сумасшествие, честь и порядочность, политика — это что-то соасем другое. Большая политика правит уже сама собою, не оглядыаясь на чью-то память и жизнь, управляется инстинктом собственной безопасности политиков и их карьеры.

Но это уже из ощущений более поздних. А тогда, пополудни тридцатого октября, хотя и было предчувствие какой-то непонятной и непонятно откуда подползающей беды, полузагнанности, полузвериной затравленности, все же до конца так и не верилось, что и здесь, в большом столичном городе, на скорбной площади у входа на Московское кладбище, может начаться охота.

Великое множество милиции тоже не очень пугало. Милиция ведь с детства своя, которая бережет.

А ко всему накануне дня поминовения в Союзе писателей БССР секретаря горкома партии Минска тов. Галко спросили, задал прямой вопрос писатель Василь Семуха:

— В городе распускаются слухи, что заатра, когда мы пойдем на кладбище помянуть предков, нас будут бить дубинками, будто бы рабочих с предприятий призывали на помощь: приходите на Московское кладбище, дубинки мы вам найдем. Так ли это? Я все раано с женой и дочерью пойду, чтобы возложить цветы на могилы Короткевича и Машерова. Прошу ответить: будут ли нас бить дубинками?

Галко посчитал этот вопрос провокационным.

И люди шли. Шло законопослушное населеиие города Минска. Шли белорусы, жители самой стабильной республики в стране, зная об этой своей стабильности, аерности устоям. Оплот и надежда этих давних устоев, немного, правда, как уже говорилось, пошатнувшихся под напором последних свежих ветров. Ветров из Москвы и от своих

соседей — прибалтов. Вот потому две предшествующие этому шествию недели были полны газетной истерии, шла травля интеллигенции, работников культуры, конкретно — трех творческих союзов, выступивших учредителями республиканского историко-просветительского общества памяти жерта сталинизма «Мартиролог Беларуси»: Союза писателей, Союза кинематографистов, Союза художников. С газетных страниц, в рабочих аудиториях их обзывали группой самозваицев и пеной, в лучших традициях застойиой поры вопрошали, чей хлеб оии едят.

...Воскресенье тридцатого октября, тринадцать сорок дня. Идут белорусы, идут белорусы строго по тротуарам, соблюдая все праиила уличного движения, только на зеленый свет. Не кривду, не кровь и даже не боль несут оии в своих руках. Цветы: поздние осенние астры, октябрьско-красные гвоздики. На могилы предков, известные и неизвестные. Больше иеизвестные. Их, этих белорусов, столько полегло за всю историю, что сама история захлебнулась в их же крови. Нет у них своей истории, как иету уже и языка. Онемели оии от собственных смертей, устали смертельно. Каждый четвертый лежит на полях Великой Отечественной, по ним звонят колокола Хатыни. А сколько «отец родной» уложил, развеял прах по всему Отечеству, про то никто, кроме иего самого, разумеется, не зиает. Известные уже сегодня всему свету Куропатские холмы хранят еще свою тайну. А были ведь в более давней и тоже славной истории Отечества времеиа, когда каждый третий, второй белорус лишался живота своего. Похоже, вся Беларусь сегодня одна огромная братская могила. Молчаливая, немая, с вырванным языком и убиенной историей. Что ж, за историю тоже иадо хоть чем-то рассчитываться. И сегодня даже, если не животами, так памятью, реками и озерами, лесами и дубровами.

То же воскресенье тридцатого октября, те же тринадцать часов сорок минут. Застывшее время. Застывшие, ослепленные железными решетками машины специального назначения у тротуаров. Идут белорусы, идут белорусы. В это же время в их квартирах с голубых экраиов телевизоров республике улыбается министр внутренних дел БССР. «Встреча для вас». Человек и министр. Его жена. Семейным дуэтом они рассказывают о своей жизни. Министр сочувствует и жалеет Валентина Распутина: ну зачем ему надо разменивать свой талант на публицистику, Отечество, народ жаждет его романов. После чего читает стихотворение Расула Гамзатова, то знаменитое, о дороге и коне, кого надо винить, если конь споткнулся.

Это звучит почти как пророчество для Белоруссии и белорусов. В 13.40 державный конь действительно споткнулся у подхода к Московскому кладбищу. Отныне самая стабильная республика надолго лишится своей восслааленной в верхах припятско-чернобыльскими соловьями стабильности, на мгновение и далеко не полностью, конечно, явит свету свое истинное лицо и характер. Совсем не то лицо и совсем не тот характер, истасканные и замызганные аллилуйщиками застоя, солистами и хорами сталинщины и брежневщины, хоралом здравствующих и процветающих последователей. Будет оно как во все времена, ныне и присно, при жатве и севе, в годину испытаний, и скорбно, и гневно, но величественно и мудро, хотя и непроницаемо, недоступно временщику.

Нет, сама охота еще не началась. Временщик ведь привык действовать строго в своем времени, планово. А час икс запланирован на четырнадцать часов пополудни. В запасе еще двадцать минут. И то, что происходит сейчас на подходах к Московскому кладбищу, надо рассматривать как инициативу снизу. Группой лиц в штатском, числом не менее десяти, выхвачен из пешеходного потока Зенон Позняк, выключен слезоточивым газом, затолкан в машину (позднее отбит народом). То же самое и с художником Марочкиным. Его вместе с семьей арестовали и увезли в неизвестном направлении. Схвачен художник Купава. Машину известного скульптора А. Аникейчика, автора надгробных памятников Владимиру Короткевичу и Петру Мироновичу Машерову, едущего с цветами на кладбище, останавливают не очень вежливо, но без насилия, отправляют туда, откуда прибыл. Через три месяца его самого с цветами повезут на Московское кладбище. И люди будут думать о том, кто ему создаст памятник.

Белорусы идут к кладбищу, все так же строго соблюдая правила уличного движения, как принято в Минске, чем и гордится он. Совсем-совсем без малого час икс, четырнадцать ноль-ноль. У Москоаского кладбища, по подсчетам сведущих (считал доктор физико-математических наук по системе, применявшейся а дреанем Риме при подсчете легионеров: площадь сто на сто метров — десять тысяч человек), более десяти тысяч минчан, по неофициальному свидетельству лиц официальных,— две тысячи милиционеров. Вход на кладбище перекрыт каре из курсантоа Минской школы милиции. Стена. Несколько сот человаек бродит по кладбищу, их оттуда уже не аыпускают, вроде они там и поселены теперь. Так же никого не пускают на кладбище.

Но все еще мирно, спокойно и даже благодушно.Много подросткоа, некоторые из них сидят уже на деревьях, некоторые только присматривают себе деревья. Милиция смотрит на это сквозь пальцы, как и на тех, кто перелазит через ограду с кладбища на площадь и наоборот. Женщины возят в колясках, укачивают малышей. И это уже немного жутко. Вольно или невольно, но на память приходит та одинокая коляска с кричащим ребенком, катящаяся по знаменитой одесской лестнице. Тот самый подполкоаник милиции с озабоченным лицом пахаря, о котором говорилось выше, объяаляет через мегафон, что сборище здесь незаконно и противоправно:

— А мы живем в правовом пока государстве.

Толпа отвечает ему смехом. Смех этот, правда, угрюм и не очень громок, сквозь него легко прорывается голос:

— Граждане, сябры, прызываю и прошу вас об одном. Вы видите, сколько здесь милиции и техники. Здесь зреет провокация. Здесь ждут провокации. Не поддавайтесь на провокацию.

Удивительно, но эти мирные слова, вымолвленные охрипшим голосом Зенона Позняка, не до всех и донесшиеся, прозвучали для милиции как боевой клич, как команда: «Вперед!». Было ровно четырнадцать ноль-ноль. Час икс пробил. Началась охота. Подполковник с мегафоном еще что-то кричал, призывал граждан дышать озоном, идти подальше от кладбища, где больше этого озона, всем хватит. А анонимы в штатском и работники милиции в форме приступили к делу, словно мина замедленного действия сработала в каждом из них. Клином по нескольку десятков человек и с разных сторон врезались в толпу, расчленили, разорвали ее. Сопротиалявшихся уже волокли к «воронкам».

Дрогнуло, будто готовясь рассыпаться, не выдержав озверения своих старших товарищей и наставников, каре курсантов милиции. А мальчищеские их лица мгновенно заалели и пошли пятнами, губы задрожали, заметались глаза. Казалось, еще секунда-другая, и они разбегутся. Но они не разбежались. Автоматизм и инструкция сработали безотказно.

Взявшись за руки, они сначала шершавым сукном шинелей, а потом и грудью, телом двинулись на толпу, смяли передние ряды, коваными, выбрасываемыми далеко вперед сапогами, как на демонстрации, пошли по ногам собравшихся, заставляя их отступать все дальше и дальше, за пределы понимания, за пределы кладбища и площади.

Всеобщность людского недоумения в первые минуты была такой огромной, что, казалось, люди утратили дар речи, онемели, забыли о своем человеческом звании. Мелькали только погоны, милицейские кокарды, выскакивали из обшлагов казенных шинелей кулаки. Трудно сказать, какой другой народ смог бы это выдержать, затравленный пес и тот в безысходности начинает щерить пасть и кусаться. Белорусы выдержали. Выдержали мужчины, подростки и даже женщины. Никто не плюнул в лицо милиционеру, не потянулся рукой к его лицу, не расцарапал его, не сдернул с головы фуражку. Слышались только одиночные возгласы: «Ребята, сынки, что вы делаете, мы же все советские люди. Уже завтра вам всем будет стыдно...»

Надо отметить, что кое-кому из самых совестлнвых было стыдно уже и сейчас. Когда закончилось действо на площади, услышав, наверное, белорусскую речь, к группе молодых парней подошел лейтенант милиции.

— Знайте, ребята, я русский, но я с вами. Мне стыдно.— И растворился, растаял среди погон.

Но он был один. Один на двухтысячную рать охотников. Кроме того, на охотников работал закон толпы, массы. Да, роли поменялись. Блюстнтели порядка предстали перед народом как толпа, единая, организованная творимым ими же беззаконием. Беззаконие это было освящено сверху, вооружено дубинками и газом, укреплено техникой. Противопоставить, кроме своего бессилия н отчаяния, народу было нечего. Но если бы кто смог проникнуть в это отчаяние, можно поручиться, пытка была бы пострашнее кипения в смоле адовой. Из отчаяния и боли и родился на площади всеобщий стон, крик:

— Ван-де-я, Ван-де-я, Ван-де-я!..

И были, наверное, в этом стоне адский огонь и кипение смолы. Милиционеры, курсанты на мгновение опешили и приостановились. Послышались уже теперь их удивленные возгласы:

— А это еще кто такой?

— Ван-де-я, Ван-де-я, Ван-де-я,— скандировала площадь.

А со стороны кладбища через бетон и чугун ограды ей в ответ:

— Ма-ше-ров, Ма-ше-ров, Ма-ше-ров! — То отзывались запертые на кладбище и не выпущенные оттуда милицией живые люди. Они собрались возле могилы Петра Мироновича Машерова. Тридцатого октября, в тот же час икс, четырнадцать ноль-ноль, была потревожена и осквернена могила и этого сына белорусского народа. Ровно в четырнадцать ноль-ноль, как и на площади, анонимы в штатском и блюстители порядка в форме набросились на людей, возлагавших цветы к памятнику Машерову: расчлененне, избиение, газ. Притом одному из парней, не желавших добровольно принимать этот газ, дали «озона» на четыре полных вздоха. Вот тогда тут и раздался этот клич-зов: «Ма-ше-ров, Ма-ше-ров, Ма-ше-ров!» Живые обращались к мертвому, будто просили его подняться и если не защитить, то хотя бы посмотреть, что здесь происходит, как душится все молодое и здоровое, убивается совесть.

Петр Миронович, бронзово сжав губы, был неподвижен и молчалив на своем постаменте. Но за него ответили овчарки, запертые до поры до времени в дежурной комнате кладбища. Прорвавшаяся туда сквозь кордон милиции молодая учительница пыталась дозвониться до ЦК. ЦК молчал. Повизгивали овчарки, говорили милиционеры. Кто-то из офицеров обратился к старшему по званию:

— Докладываю, что на кладбище объявился Алесь Адамович.

Кто-то уже требовал немедленно доставить сюда этого пацифиста.

Неизвестно, был выполнен этот приказ или нет, остается только спросить самого Александра Михайловича. Он был в то время то ли в Лиссабоне, то ли в Мадриде: «Как, Александр Михайлович, не беспокоила вас там наша доблестная милиция? Мертвым вашим собратьям, и Короткевичу, и Макаенку, и самому Машерову под хвойками на родной земле покоя не было, плакали они там, на том свете, неземными горючими слезами. Несладко пришлось и живым. Особенно живым и, к несчастью своему, талантливым, с душой и больной совестью. Тому же, к примеру, Василю Быкову, о котором вы в «Огоньке», назвав Минск антиперестроечной Вандеей, писали: «Могу сообщить: еще один серьезный барьер против перестройки, возводимый вот уже столько месяцев, о который бился все это время, казалось, один Василь Быков,— затрещал этот барьер, а некоторые секции в одночасье рухнули»,— так вот, мы вам сообщаем, Александр Михайлович, из Минска 30 октября 1988 года, именно за ним, за Быковым, за вами лично, Александр Михайлович, и за многими, многими другими, живыми, и шла в тот день охота. Дикая охота королей сталинщины за совестью и душой белорусского народа.

«Тутэйшыя», «Талака» выступили одними из организаторов проведения митинга-реквиема, дня поминовения Дзяды — хлопчики, мелкая рыбешка, они и нужны были только для «пристрелки», о них и забыли сразу же, как только все началось, как только обнажились истинные причины охоты, «пеной» и «группой самозванцев» стали вы. Не кто другой, как именно вы («Политический собеседник» № 1, 1989 г.), продались международным сионистам.

Вот так в одночасье действительно рухнули некоторые секции в городе Минске. И еще будут рушиться в атмосфере той дикой охоты, продолжающейся и после тридцатого октября.

— Ван-де-я, Ма-ше-ров,— предупреждают, молят кладбище и площадь, белорусская земля, белорусы. Они шли сюда толпой, населением: интересно ведь посмотреть, как этим зажравшимся коммунопродавцам, писакам-миллионерам будут врезать. «Вечерний Минск» к тому же крепко подогрел их интерес: два раза за последние дни сообщил со своих страниц и еще разъяснил: никакого митннга не будет, не в обычаях и не в традициях белорусского народа помнить своих предков, пусть успокоится пена, нам с ней не по дороге.

Что ж, касательно предков, может, газета и права, их имена помнит и чествуст весь цивилизованный мир, только не мы сами. Мертвые, давно уже покинув эту землю, оии тоже познали охоту, охоту королей Стахов и сталинщины, увидели отстрел их мыслей и идей, духа. Очень увлекательная охота, что в сравнении с ней пострелять, положить двадцать миллионов живых. Какие-то Куропаты, Соловки, Колыма, Магадан. Элементарная бойня. Нужен один только опытный мясник-снайпер. Убить идею, найти ее сердце и — как в яблочко, как это делал «великий отец народов», от любви к такому искусству очень любящий и народ, почти до потери памяти. И терял народ от той любви свою память, отказывался от отцов и матерей, открещивался, как черт от ладана, от лучших своих сынов.

Тридцатого октября, в воскресный день, на Московском кладбище происходило воскрешение старого искусства великого и единственного отца и учителя народов. Но время, время уже было другое. Народ на четверть века помолодел и обновился. И хотя он пришел сюда все еще как население, наследники учителя не особенно вникали, кто тут народ, а кто население. Брали даже по цвету одежды: бело-красная куртка, ага, значит, националист, националистка (старый белорусский флаг бело-красно-белого цвета), в «воронок» и кутузку и куртку, и ее обладателя. По старым временам, ого, какое могло быть дело: проследить только одну цепочку от художника, в такие тона раскрасившего ткань, до промышленности, наладившей выпуск таких курток, торговли. Но тут пострадала одна только девчонка, на свою беду говорившая на белорусском языке и одетая в куртку тонов национального флага Белоруссии. Ее загребли, как говорится, под сурдинку, как и многих других под ту же старую сурдинку.

Только вот беда, сегодня сурдинка уже не срабатывала. Вернее, срабатывала противоположно надеждам и задумке мыслителей и устроителей охоты. Люди разучились мыслить ассоциативно. Раньше, четверть века назад, все бы сразу поняли и пугливо разошлись. А здесь, наоборот, сплотились, милосердие стали проявлять, когда девочку за волосы тащили в машину, закричали: фашисты, фашисты!

Население становилось народом, потому что видело надругательство над самым святым, что пришло к ним вместе с перестройкой и гласностью, что дало им возможность распрямиться и почувствовать себя людьми: надругательство над человеческим достоинством. И потому, когда над растерзанной скорбной площадью раздался крик парня с перевязанной рукой:

— На Куропаты, на Куропаты! — сотни, тысячи людей двинулись по направлению к Куропатам.

Дорога не ближняя, четыре-пять километров. Шли люди, до этого и не думавшие, что пойдут туда. И тень куропатской трагедии лежала на их лицах. Шествие растянулось от одного кладбища до другого. Эскорт милицейских машин, машин спецназначения, пожарных с похоронной скоростью плыл вместе с людьми по улицам. И неизвестно, кто у кого был сейчас в плену, кто был охотником, а кто дичью. Готовые к бою, грозно торчащие жерла водометов, похоже, не замечались людьми. Не пугали их и ползущие рядом военного образца, подобно безглазым циклопам, «воронки». Вся эта техника, слившись в одну колонну, напоминала судорожно ползущую по мостовой огромную гусеницу, выедающую с веток-тротуаров плоды и листья.

Охота на людей не прекратилась и во время их шествия к Куропатам. На каждом километре, на каждом перекрестке стояли милицейские цепи и наряды, милицейские машины с рациями. Эфир, небо над Минском были переполнены треском позывных, милицейских команд и распоряжений. Казалось, город со всех сторон накрыт огромным колпаком, никто и никуда не может ускользнуть из-под этого колпака.

Милицейские наряды расчленяли теперь уже шествие, не пропускали никакого транспорта, кроме собственного, конечно, специального назначения. Людей уводили, оттесняли от Куропат, то тут, то там вспыхивали короткие стычки, кого-то забирали, грузили в оперативные машины, везли в отделение. А сами Куропаты, с черепами-провалами холмов и через годы позначившими места бывших братских могил, оказались неподступны. Милицейское оцепление здесь было выставлено, видимо, еще с ночи. И в несколько рядов. Чувствовалось, что милиционеры изрядно промерзли, жгли костры. Сизый дым стелился по хвойному перелеску, копился во впадинах могил, как дух расстрелянных. Воздух был наэлектризован от нервозности охранников, их густого мата и нетерпеливых возгласов.

Подоспела механизированная рать, остановилась, замерла на обочине. Но и обочины на всех не хватило. Легкие

машины, как жуки, поползли в кюветы. Среди кустов со стороны города, подобно зайцам, мелькали фигуры людей, поодиночке и группами пробиравшихся к Куропатам. Милиция, конечно, видела, но то ли ждала команды, то ли не хотела распылять сил, да и в самом деле, зайцы были там в кустах на зелени яровых, что на них обращать внимание. Ждали «дичь» крупную, множественную, чтобы ударить, уже так ударить, из всех имеющихся в наличестве стволов, влет и в бегущих, из водометов и пожарных машин. Но бить было некого. Дичь, похоже, ускользнула. И это вызвало явное замешательство и растерянность в милицейских рядах. И эфир молчал.

Так было минут десять. Но вот вновь ожили рации. Наступило пробуждение для людей и техники:

— По машинам!

В машины впрыгивали на ходу. Кавалькада их пришла в движение, покатила обратно к городу. Проехав около километра, снова замерла, на открытом теперь уже, с двух сторон обхваченном голыми пнями шоссе. Справа на эту голость смотрел еще не зажженными окнами предвечерний многоэтажный Минск. Слева, с крутизны откоса шоссе, прижавшись к обрывам Куропатских холмов, в метрах трехстах от магистрали, выстроившись огромным кругом, стояли милиционеры, а в самом круге, как бы свершая некое языческое действо, взявшись за руки, сидело на прихваченной уже морозом земле человек двести парней и девчат.

И снова было короткое замешательство в милицейских рядах на шоссе. Те, в поле, за городской чертой, и милиция, и сидящие на земле были непонятны находящимся на шоссе и, главное, недоступны им и даже их технике, водометам пожарных машин. Искус же применить эту технику вдали от городских глаз, видимо, был велик. Забегали, начали совещаться милицейские чины. Конец колебаниям и разногласиям положило прибывшее подкрепление. Огромная милицейская масса, сосредоточившаяся на шоссе, снова пришла в движение. Отрывисто и коротко зазвучали армейские команды. И все, что дальше здесь происходило. было подобно картинкам из документальных книг и кинолент «Никогда не забудем», «Я из сожженной деревни», «У войны не женское лицо». Пахло армейским военным потом и порохом, хотя до самого пороха дело и не дошло. И совсем вроде не жарко было. Сыпал с неба редкий и задумчивый октябрьский снежок. Но порохом пахло. И ничего не было понятно.

— Ни хрена не слышно по вашей милицейской рации. Приходится действовать по интуиции...

— Молодец, так и надо в боевой обстановке...

Невесть откуда, как из-под земли, с канувших в Лету 37—39-х, вынырнуло военное подразделение. Защитного цвета шлемы-каски. Плексигласовые щиты, видно, изрядно запыленные, потому что их тут же протирали полами шинелей, ни в какой зарубежной хронике невиданные черного цвета огромные дубинки, цвета огня и пламени баллончики с газом.

— Батальон, за мной! — Батальон грохнул по асфальту коваными армейскими сапогами. Кто-то из его рядов проворчал уже на бегу:

— Что я вам тут кросс ГТО сдаю...

С крутого склона шоссе батальон устремился на Куропатские холмы, провалы-черепа братских могил, перемесил их. И уже оттуда, от могил, перестроившись на них клином, свиньей врезался в сидящих на земле в поле людей. Растрепал, разметал, растерзал их. Победители, опять же офицеры высшего звания, по трое-четверо-пятеро потащили в черные «воронки» трофеи. Парней, девушек и даже отдельно отца, отдельно ребенка. Упиравшихся подгоняли кулаками и ногами. Двое из несунов вели диалог:

— Ты не разбил тому, с фотоаппаратом очки и его камеру?

— Не дотянулся...

— Жалко, не на меня нарвался...

По кустам, по полю шла погоня, облава, охота.

Охота за людьми не прекращалась в тот день в поле, в лесу и в городе до сумерек. До сумерек город был отдан победителям. Они триумфально и державно осматривали каждого, кто возвращался из пригорода. Главная, настоящая охота велась профессионально и механизированно, подобно той, когда браконьеры охотятся в казахской степи на сайгаков. И невольно даже презрение к дичи проскальзывало в той охоте, пресыщение. Механизированная рать с неизменной своей похоронной скоростью двигалась по улицам Минска, словно вела на коротком поводке прирученную ею, сломленную дичь. Какое-то скопление людей образовалось у входа в подземку, в метро. В основном молодежь, видимо, неформалы из «Талаки» и «Тутэйшыя», студенты. Стояли молча, крепко сжав зубы, поджидая своих, демонстративно не замечая моментально выросшей возле них милицейской цепи, глядя мимо и сквозь нее в сторону Куропатских холмов, в небо. Подползла и приостановилась колонна милицейских машин, выжидательно замерла. Молодежь молча, соблюдая очередность и порядок, по пятеркам и десяткам спустилась под землю. Тротуары, улицы, скверы опустели, как вымерли. Только чадили газами пофыркивающие машины. Почадили, порычали и, нечего делать, пошли дальше по ходу движения теперь уже поездов подземки. Остановились у парка Челюскинцев: здесь по слухам, в сталинские времена тоже проводились расстрелы. Милиция, наверно, ждала, что там люди, ушедшие под землю, выйдут. Они не вышли. Следующим, видимо, предполагаемым пунктом их выхода была станция Якуба Коласа — большой сквер, памятник народному писателю: обратятся к нему, хоть и каменному. И тут можно будет воздать нм еще, а заодно и этому народному. Они не вышли и там.

Кавалькада милицейских машин ждала их минут сорок. Оккупировала несколько кварталов Ленинского проспекта. Глушила и заводила моторы, чадила в нетерпеливом ожидании. И не дождалась. Онн не вышли. Нигде не вышли. Удивительно, но это истинная правда. Люди, молодые парни и девчата вошли в подземелье, а назад не вышли. И куда они подевались, загадка и тайна.

Милицейские машины, машины специального назначения, «воронки» и водометы, пожарные потянулись в свои берлоги и стойла. Было семнадцать часов тридцать минут по московскому времени. На землю упал вечер, город зажег огни. В уличных фонарях захороводились снежинки.

Вот так закончился день поминовения в городе Минске, белорусские Дзяды.

От редакции

Статья белорусского писателя Виктора Козько, написанная по свежим следам минских событий, могла быть опубликована еще много месяцев назад. Но, увы... Сначала мы ждали, пока выплеснутся и улягутся эмоции, бьющие через край, и только железобетонные факты расставят все на свои места. Признаться, многого мы ожидали затем от результатов расследования специальной комиссии Президиума Верховного Совета БССР и прокуратуры, которые, казалось, работали долго и скрупулезно, по крайней мере, не забегая вперед со скороспелыми выводами.

Наконец прошло и это время.

Статья между тем кочевала из номера в номер, пока над ней вообще не нависла угроза запрета.

...Уже на подъезде к Минску в купе и тамбуре я вовсю наслушался страшных слухов, передававшихся рассказчиками почему-то с глубокой иронией.

— Говорили, будто неформалы эти бродят по Минску и любого, кто не знает, как по-белорусски «лопата», бьют до полусмерти.

— А как по-белорусски «лопата»? — интересуюсь на всякий случай.

— А мне один знакомый комсомольский работник рассказывал, что во время выборов неформалы специальными зажигательными порошками поджигали урны для голосования и т. д.

Звоню Н. И. Рошу, председателю комиссии, и прошу в двух словах рассказать о выводах.

— Ни слова я вам говорить не собираюсь,— грубо отрезал секретарь Белсовпрофа.— Ишь, далось им всем это «30-е». Забудьте и отстаньте!!!

Вынужден призвать депутата Верховного Совета республики, как лицо официальное, к корректности.

— Я занят!!! — не унимался Николай Иванович.— Найдите газету и прочитайте! — И трубку повесил...

Покопавшись в подшивках белорусских газет, я действительно обнаружил интервью Роша, опубликованное в ответ на взрыв недоумения и возмущения общественности, вызванный оценками правительственной комиссии.

Однако мы к ним еще вернемся, а пока пытаюсь восстановить последующую цепь событий по другому официальному каналу.

— Лично я очевидцем событий 30 октября не был,— сказал мой собеседник, второй секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии Алексей Кривденко.— Но наша сегодняшняя позиция однозначна: только диалог. ЦК комсомола не намерен отсиживаться в стороне, мы упорно ищем пути взаимопонимания с неформалами.

Интересуюсь: проявилась ли после 30-го несанкционированная активность неформалов?

— Было,— Алексей тяжело вздохнул.— 26 апреля, в годовщину чернобыльской трагедии, состоялся несанкционированный митинг. В этот же день ЦК комсомола тоже организовал митинг, посвященный Чернобылю. Горисполком дал нам «добро», выделил специальную площадку, а им нет. Тем не менее часть людей, не проявив политическую взвешенность, собралась там, на площади... Эксцессов не было. Но, повторяю, в таких делах должно быть меньше эмоций и политическо-лозунговой всеядности, а больше соблюдения законности, иначе эксцессы могут возникнуть из пустяка.

— Значит, 30 октября может повториться?

— Не думаю. У нас в республике проводится огромная работа в плане решений очень острых вопросов, ну, скажем, белорусского национального самосознания. В частности, принято решение правительственной комиссии по Куропатам. Совсем недавно, 9 мая, состоялось торжественное возложение венков и цветов руководством республики в Куропатах. Ну, этот политический акт в комментариях не нуждается...

— Еще бы...

— Так что в целом процесса замалчивания и затыкания рта неформалам в республике не наблюдается. А что касается некоторых запретов, то это дело компетентных органов, ведь есть определенный порядок, не нами установленный. Поэтому в целом в республике обстановка нормальная. Все хорошо. Идет открытый комсомольский диалог, кому, как не нам, им помочь, ведь неформалам сегодня, кроме комсомола, и опереться-то не на кого...

Итак, обстановка нормальная. Идет диалог. Все хорошо, потому что есть на кого опереться.

Позже выяснилось, правда, что несанкционированные выступления молодежи не ограничились 26 апреля, поэтому пришлось обратиться к другим — более полным — источникам. И вот какой прелюбопытный хронологический ряд (называю только даты и факты!) получился:

2 ноября. (Из выступления заведующей отделом пропаганды Минского горкома партии Н. С. Ивановой в Союзе писателей Белоруссии): «Да, были применены слезоточивые газы. По отношению к тем, кто пытался спровоцировать милицию...»

10 ноября. Выводы комиссии подготовлены и представлены на рассмотрение в Президиуме Верховного Совета БССР.

17 ноября. (Из официального выступления той же Н. С. Ивановой): «Никаких дубинок, никакого газа и иных спецсредств применено не было».

19 февраля. 35-тысячный разрешенный митинг на стадионе «Динамо». Через несколько дней его организаторы-неформалы будут обруганы во всей республиканской прессе.

23 марта. В Барановичах «на глазах у прокурора города жестоко избит милицией» (из коллективного письма, всего 20 подписей, и других писем) известный белорусский художник Сымон Свистунович. На плакате, с которым он стоял на улице, было написано: «Белорус и русский, поляк и еврей! Беларусь — наш родной дом!..»

«Демократии захотел?! — пытал меня сержант и бил ребром ладони по шее, а другой милиционер прикладывался со всей силы по почкам, приговаривая: «Это тебе от Брежнева!» Я кричал... Минут десять я не мог очухаться... Люди кинулись ко мне... И отвезли в больницу». («Литаратура и Мастацтво», 14 апреля).

24 марта. В ночь с 24 на 25 марта в помещении Союза писателей Белоруссии милицией взломана комната № 306 и в ходе повального обыска изъята литература (бюллетени) БНФ в поддержку перестройки «Адрадженне». Аргументировалось позже это поиском якобы подложенной в СП бомбы...

25 марта. 25-тысячный митинг неформалов, посвященный выборам. Физические столкновения с властями.

26 апреля. Неформалы проводят несанкционированный митинг в память событий в Чернобыле «Час молчания». На следующий день организаторы митинга были вызваны в милицию для допроса и получили по предупреждению.

1 мая. Неформалам отказано в участии в первомайской демонстрации и возложении цветов к памятникам Якубу Коласу, Янки Купалы и Максиму Богдановичу.

9 мая. Все республиканские газеты обошли фоторепортажи с возложения венков в Куропатах.

А теперь вернемся к интервью Н. Роша, опубликованному во всех белорусских газетах: «Как уже отмечалось, в выводах комиссии и постановлении Президиума прокуратура республики не нашла в принятых милицией действиях, противоречащих закону... Вообще в зоне проведения митинга, как было выяснено, не было милиции, оснащенной спецсредствами, хотя в районе улицы Калиновского находилось подразделение, имевшее их. Стояли там и машины с водометными установками. Теперь о солдатах, якобы находившихся там. Их не было.

— Вы не упомянули о газе, Николай Иванович...

—...Никто ясно не назвал хотя бы примет применивших эти баллончики... Кроме того, в Минске работала, помимо нашей, комиссия Прокуратуры СССР и МВД СССР. Ею установлено, что газовые баллоны в тот день не выдавались. Было проверено их наличие, все документы, баллоны взвешены на специальных весах. Ни одного грамма не израсходовано...»

Прокомментировать вышеизложенный хронологический перечень я попросил публициста Е. Будинаса:

— За 8 месяцев отчаянной борьбы общественности за справедливость, постоянных собраний, митингов, пресс-конференций, газетных и журнальных статей, телеграмм в Москву в Президиум Верховного Совета СССР и Горбачеву, как Генеральному секретарю ЦК, с требованием разбирательств по поводу событий 30 октября, удалось добиться микроскопического: признания министром внутренних дел республики В. А. Пескаревым, что «да, видимо, по всей вероятности, газы несанкционированно, в индивидуальном порядке применялись и МВД готово в индивидуальном же порядке принести пострадавшим извинения». Но государственная комиссия это отвергает. Когда мы прокурору республики задали вопрос: как же так, уже министр МВД СССР В. Бакатин в «Правде» признал, что действия милиции были неадекватными социальной опасности, которую представлял митинг, он ответил, что не знает, что там говорят министры, а официальная точка зрения прокуратуры: «никакого нарушения закона 30 октября не было, никакого насилия не было, никакие газы не применялись».

Вот и все, чего мы добились на сегодняшний день. Что касается попыток установления диалога между городскими властями и неформалами, то никаких видимых сдвигов не происходит. Начиная с того, что белорусские неформалы были вынуждены свой съезд проводить в Литве, то есть не смогли с властями здесь договориться. И съезд был проведен в Вильнюсе. Нет не только попытки к установлению диалога, а наоборот: если неформалы, скажем, организовывают предвыборный митинг избирателей, то в пику ему в этом же самом месте, но заранее устраиваются гулянья с привлечением различных аттракционов или альтернативный митинг, как 25 марта, когда в 14 часов был назначен митинг неформалов, а в 12 часов на этом же самом месте (будто бы места у нас другого в городе нет!) начался официальный митинг, который, правда, в результате стычки перешел в неофициальный — люди просто перешли к неформалам. Можно ли это назвать попыткой к ведению диалога? Еще: 9 Мая, в День Победы, правительство республики возлагает венки в Куропатах. В этом тоже какая-то несогласованность: обязательно нужно противопоставить, столкнуть и сделать не тогда, когда хотят этого люди, а обязательно без их участия. Не говоря уж о том, что возложение венков в День Победы как-то странновато — возлагать венки людям, уничтоженным официальным режимом задолго до войны. В этом видятся не только не стремление к налаживанию контактов, а конфронтация, противопоставление. К сожалению, современная ситуация в городе и республике сводит всю общественную работу неформалов к столкновению с властями и отстаиванию своих прав. А чем еще можно заниматься? Если бьют по морде, то надо добиться хотя бы прекращения побоев, чтобы не хватали, не издевались, не подтасовывали факты и не скрывали их от общества. Таково положение на сегодня, а в остальном действительно все спокойно...

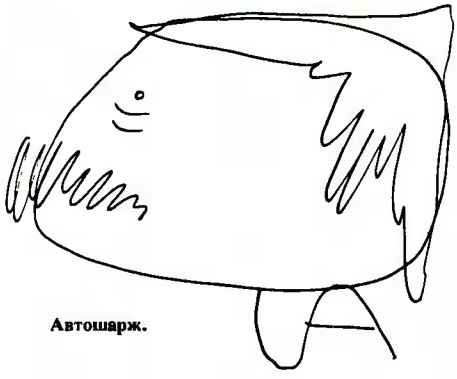
П. ВЗДОРОВ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
изнутри пихтинского быта

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.
Б. ПАСТЕРНАК

Василий АКСЕНОВ

ЗОЛОТАЯ НАША ЖЕЛЕЗКА



Автошарж.

Сон академика Морковникова был глубок по обыкновению и по обыкновению не имел никакого отношения к математике. Маленький герой его снов Эрик Морковка по обыкновению переживал увлекательные приключения в различных плоскостях, в распахнутых пространствах и тесных углах, проникал сквозь ярко окрашенные сферы, ловко, с еле заметным замиранием уворачивался от надвигающихся шаров для того, чтобы стремительно пронестись по внутреннему эллипсу и весело проснуться.

Академик уже предчувствовал этот не лишенный приятности миг возвращения к «объективированному миру», как вдруг на стыке орбитальной реки и зеркальной стены внутреннего куба чей-то совершенно незнакомый голос отчетливо и гулко произнес фразу:

ЖИЗНЬ КОРОТКА, А МУЗЫКА ПРЕКРАСНА, —

и Эрнест Аполлинариевич проснулся с ощущением, что он давно уже ждал этой фразы, звал ее, но боялся и не хотел.

Он выждал несколько секунд, чтобы задвинулись все ящички комода, чтобы ЦНС окончательно переключилась в рабочее состояние, и все ящички, как обычно, плотно задвинулись, за исключением одного, из которого все-таки торчал уголок разлохмаченной ткани, в сущности, тряпочка с хвостиком.

— Хоп! — сказал себе Эрнест и повернул голову.

Все было, как обычно: Эйнштейн на стене набивал свою трубочку, а его сосед, известный фильмовый трюкач Жиль Деламар прыгал в Сену с Нотр-Дам де Пари и замечательный лозунг смельчака «День начинается, пора жить!» косо пересекал фотографию...

— Хоп! — сказал себе Эрнест, вскочил с кровати и встал на голову.

Все было нормально: в глубине квартиры жена разговаривала с сыном, вздыхал и постукивал хвостом по полу любимый сенбернар Селиванов, за окном на ветке пихты уже ждал ворон Эрнест, тезка академика...

Все было нормально: сорокалетний Эрнест стоял на голове и ногами производил в воздухе вращательные движения, кровь наполняла опавшие за ночь капилляры, мышцы вырабатывали из молочной кислоты деятельные кинины, тихо крутилась в углу пластинка сопровождения... все было нормально, а между тем Морковников вдруг мгновенно и безошибочно почувствовал изменение — дикий разгон и безвозвратный вираж судьбы.

Он вдруг покрылся внеурочным потом и сел на ковер: бренчало пианино за тысячи миль и за шестьдесят восемь лет; апрельский рэгтайм наигрывали коричневые пальцы, дымился сумрачный лесопарк...

Потом он бежал по парку — свалявшиеся листья, короста старого льда, полуистлевшие косточки мелких животных... отчетливые, но неуловимые очертания гениальной формулы, формулы его жизни, витали между стволов, и он проникал это утреннее созвездие, туманность трескучих ягод и думал все тридцать пять минут новозеландского бега: что же произошло в его квартире? Осень сейчас или весна?

Тезка летел за плечом, а верный сенбернар бежал у ноги, фигуры таких же мужчин с собаками у ноги и с любимыми птицами за плечом мелькали в лесопарке, словом, и здесь все было, как обычно, но счетчик пульса показывал сегодня тревожную цифру, и гемоглобин, подлец, не очень-то активно насыщался кислородом.

В квартире от северных окон к южным и обратно гуляла волна пахучей влаги, прелых воспоминаний — неужели все это еще живо?

— Эрка, ты опоздал сегодня на одну минуту сорок восемь секунд, — услышал он веселый голос жены.

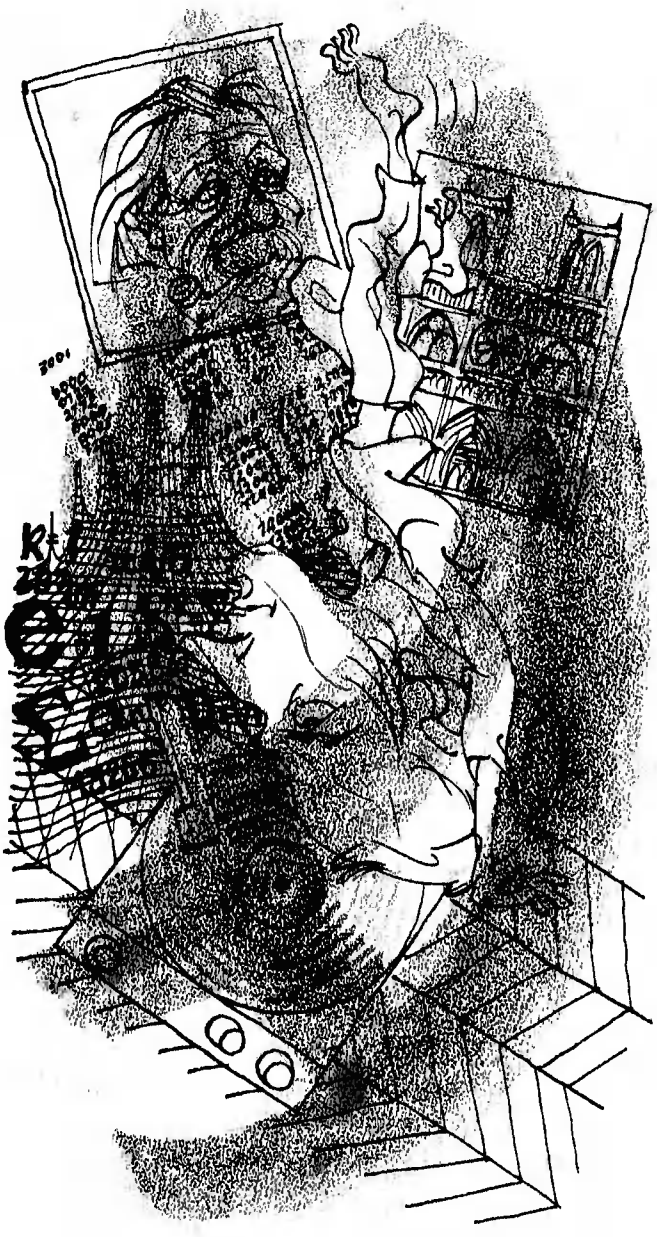
Веселый голос жены. Вот чудеса. Таким тоном она говорила с ним много лет назад, в хвойной юности, когда каждый день был продолжением любовной игры и каждая ее фраза, начинающаяся с «Эрка, ты...» означала лукавую западню, приглашение к фехтованию, нежную насмешку. Уж много лет она не говорила так, а «Эрик» в ее устах давно уже звучал как Эрнест Аполлинариевич.

Это какие-то флюиды, догадался академик. Где-то по соседству вываривают в цинковом тигле толченый мрамор с печенью вепря, и зеленый дух философского камня, соединяясь с кристаллами осени-весны, отравляет сердца. Другой бы на моем месте, менее толерантный человек, безусловно заявил бы в домоуправление.

Морковников понуро поплелся в ванную, на ходу стаскивая кеды, джинсы и свитер, и даже не полюбовался мелькнувшей в зеркале стройной своей фигурой. Странное чувство прощания вдруг охватило его на пороге ванной. Жена что-то говорила веселым голосом, кажется, что-то о сыне, которого сегодня удалось спровадить в школу, но он не слушал. Он обвел взглядом «огромность квартиры, наводящей грусть», и вдруг увидел в коридоре за телефонным столиком качающийся контур любви, легкий контур, похожий на «формулу жизни».

Рисунки Ивана Бронникова

Окончание. Начало см. в № 6 за 1989 год.



созвездие винных ягод, просвеченных морозом и соединенных еле видимым пунктиром. Его квартиру посетила любовь!

Ему показалось даже, что протяни палец, и он ткнется в упругое желе, он сделал было шаг, но в следующий миг — о эти следующие чередой миги! — конгломерат исчез, отнюдь не испарился, а проник в другую сферу, кажется, на кухню, ибо оттуда донесся веселый голос жены: «Надежды ма-а-а-леиький оркестрик...» Поёт!

Быть может, вся эта чертовщина есть легкий приступ малокровия, короткое пожатие авитаминоза? Морковников вонзил в икроножную мышцу иглу «медикануса» — автономного филиала своих знаменитых часов. Все стрелки колебались в пределах нормы.

Жена поет. Это вызов? Неужели что-нибудь проведала? Аделаида? Моник? Анастасия? Чиеко-сан? Присцилла фон Крузен? Эрнест Аполлинариевич никогда не влюблялся и много лет уже поддерживал с противоположным полом только дружеские, научные и спортивные связи. Главное, не терять самообладания. Во-первых, может быть, жена просто так финтит, прощупывает, а, во-вторых, возможно, все это липа, дешевый розыгрыш коллег или, на крайний случай, непредвиденный скачок взнузданного организма.

Жизнь коротка, а музыка прекрасна.

Академик стоя пил кофе, поглощал крекеры с яйцом, весь затянутый, международный, с фальшивой оптикой на глазах и зорко посматривал на жену, а та не обращала на него ни малейшего внимания.

Вновь появился этот дурацкий фантом, студенистая масса, тревожная, как «формула его жизни». Теперь она колыхалась за холодильником. Мисандерстендинг, хотелось крикнуть Эрнесту, чистейшее недоразумение, я ни в кого не влюблен, у меня все в порядке.

— Чай вдвоем, — вдруг запела жеиа песенку их молодости и заблестела глазами мечтательно и лукаво, как в то далекое влажное десятилетие.

Чай вдвоем,
Селедка,
Водка...
Мы с тобой вдвоем, красотка!
Чай вдвоем,
Сидим и пьем,
И жуём!

«Как? — встрепенулся Морковииков. — Что это такое?» Да ведь эта песенка и блеск в глазах, и веселый голос нынче не имеют к нему никакого отношеиия. И то, что пришло сегодня в его дом, любовь — не любоаь, но ИЗМЕНЕНИЕ, касается его, хозяина, лишь косвеино. ОНО ПРИШЛО К НЕЙ — К ЖЕНЕ — вот так история!

Виимательный взгляд на жену потрясеииого академика обнаружил пожухлость кожи вокруг глаз и еле заметное, но очевидиое отвисаиие щеки, мешковатость брюк, рваность и заляпанность свитерка. Давно не крашеиные волосы жеиы являли собой пегость, но... вместе с тем пегий этот узел был тяжел и еле держался на трех шпильках, грозя развалиться иа романтические пряди, и серую грязную джерсюшку трогательно поднимали малеиькие груди, и плечико торчало в немом ожидании, а глаза были далекими и серыми: далекие и шалые глаза.

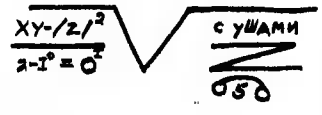
Он ушел.

«Так, значит, это оиа влюблеиа? Я чист, научен и строг, а у Лунзки-гадины рыльце в пушку. Ай-я-яй, неужели слевачила? Неужели я рогат?»

Морковников вновь покрылся внеурочным потом под всей своей европейской сбруей и тут после короткого мига глухой и пронзительной тоски понял: ничего она ие слевачила, ничего он не рогат, все гораздо хуже, все это имеет к нему лишь КОСВЕННОЕ отношение.

В следующнй миг — о эти миги, следующие чередой! — еще более неприятная и тяжелая мысль посетила академика: быть может, в этой квартире главная жизнь — не моя, а ЕЕ, вдруг моя лишь подсобная, иужиая лишь косвеиио, лишь иллюстративно?

Да, фигу, фигу, право же, бред, я — мировой математик, право же, что для меня все эти кухни и кресла и даже постель, все эти ваши запоздалые влюблеиности и иегритянские романсы, когда в фиолетовой сигме кью еще плавает в полном неведении косая лямбда трехмерного евклидового пространства.



черт побери, а промышлеи-

ные отходы технической революции продолжают развитие террацида, и, кстати, вы, мальчик, могли бы не швырять на паиель обертку мороженого, есть специальные урны — для сбора нечистот и упаковочного материала, а вы, граждании, мбя ваше авто порошком «Кристалл», должиы знать, что химические сливы загрязняют реки, нет-нет, я ничего, вы мойте, но только ие забы... а вы, мадам, прошу меня простить, вот эти ваши баиочки, скляночки, флакончики, стаканчики, пластмассовые патрончики, обломки гребешков, шпильки, фольгу, тампоичики и примочки...

— Вам чего, товарищ? Вы чего вяжетесь? — с удивлеиием, но не враждебно, а скорее с интересом спросила дама, размахнувшаяся на пустыре мусорным ведром.

— ...вот эти ваши яичные скорлупки и сметанные, а также жировые сливы с комочками пищи, целлофановую кожицу вареных колбас, и надорванные парафинированные пакеты, и, наконец, клочки коротких, явио не ваших волос, мадам...

— Чего-чего? — темнела дама лицом и оранжевыми волосами, потому что на нее набегала в этот момент злая тучка.

Она стояла повыше Морковникова на горке кирпича, и ветер трепал ее необъятные брюки маскировочного рисун-

ка, лепя мгновениями из них могучие и не лишенные аттрактивности ноги.

«О Прометей, вот она, Брунгильда, Неринга, мать-атаманша! Отдохнешь ли, кацо, в ее лоне после долгой кровавой дороги?» — подумал Эрнест.

— Я только лишь, мадам, имел в виду трудности концентрации личных отходов для дальнейшего уничтожения, — пролепетал он. — Не затруднит ли вас продвинуться на двадцать метров вон к тем мусорным контейнерам?

— А-а! Я думала, вы по делу, — она разочарованно вздохнула, — а вы не по делу.

— Я, мадам, шестой вице-председатель комитета ЮНЕСКО по террациду, — сказал он.

— А-а, — зевнула и потянулась она. — Вы из ГорСЭСа, товарищ? Тараканщик? — Она засмеялась и пошла к бакам, помахивая ведром, огромная и задастая, но какая-то легкомысленная.

Морковников смотрел ей вслед, и странные воспоминания одолевали его: «Никогда никому не скажу, что в пятом классе получил за контрольную по алгебре пару. Да, у меня есть тайны, но я не считаю себя преступником. Посмотри, Прометей, она зевает и потягивается, а в голове у меня возникают юные прелести гиревого спорта».

Ночная горячая колбаса

(второе письмо к Прометею)

Да, несколько лет назад в ночь со вторника на среду я ел горячий вурстль на Кертиер-штрассе в ста метрах от правой ступени собора Сан-Стефан.

Я ел без всяких особенных причин, а просто потому, что хотел есть, и мазал свой вурстль сладкой горчицей, а на немецкие шутки ночных девушек, собравшихся у палатки, я, кляиусь Артемидой, не отвечал.

Да, ты, Прометей, тогда проезжал мимо на велосипеде и долго на меня смотрел своими черными глазами, но я сделал вид, что тебя не заметил, душа лубэзный. Я знал, что ты скрываешься и выдаешь себя за уругвайца и что велосипед у тебя прокатный из Луна-парка, но я не окликнул тебя и не предложил тебе помощь. Напротив, я перевел взгляд на собор Сан-Стефан, покрытый вековой плесенью, которая так чудесно серебрится под луной. Ты знал, что я тебя увидел, и я знал, что ты знаешь, но что я мог поделать, Прометей, ведь в эту ночь мне нужна была помощь Олимпа.

Да, батоно, в ту ночь я ненавидел. Я вспоминал все раз за разом, с каждым кусочком вурстля в меня вливались горькие воспоминания.

Она была зубрилой и училась на факультете славянской филологии. Годдем, цум тойфель, рекутто рекутиссимо, обречь себя на прозябание в затхлом пакгаузе филологии да еще не просто филологии, а какой-то отдельной, германской, славянской, романской!.. И это вместо того, чтобы плыть в бескрайнем серебристом океане чистого Логоса, уповая на свою отвагу, на шест своего интеллекта, уповая...

Извините, говорила она, графиня подслушивает, и вешала трубку. Она снимала комнату у графини Эштерхази. Ах, генацвале, это повторялось каждый вечер. Вот они, результаты филологического образования: не знать разницы между графиней и графином и обращаться на «вы» к желанному, ненаглядному «ты».

Я ненавидел графиню Эштерхази с ее папильотками, веерами, с ее родинками и декоративными собачками. Милый друг, вот моя страшная тайна — я неиавидел человеческое существо!

Позволь мне высказаться до конца, ведь я не Раскольников, а она не процентщица, однако... в голове моей теснились мысли о высылке «графина» из города под предлогом борьбы за окружающую среду или о сведении ее к нулю посредством простейшего рассечения бинома Фостера через

Эрнест Аполлинариевич огляделся. По главной улице к Железке торопились его товарищи, бывшие «киты», а ныне доктора и член-коры, торопились и нынешние ребята, их ученики, смурной народец, вдали кто-то ехал на велосипеде, полыхая костром черной шевелюры. Увы, это был не Прометей, явно не он.

Вот так и я буду спешить, умиленно подумал академик, вот сейчас и я так же заспешу вместе с моими товарищами, моими соратниками, единомышленниками, рыцарями нашей родной Железочки, которая нам всем дает... Что она нам дает? Все!

Пойду сейчас и лекцию шарахну в «Гомункулюсе» по проблеме «Северо-западного склонения супергармонической функции». Вот обрадуются ребятишки, они ведь любят наши с тобой встречи, кацо. Пойду потом и сяду в кабинете и всю международную почту смахну в корзину, соберу семинар, почешем зубы, глядишь, до ночи и просидим, а там, глядишь, Великий-Салазкин придет с горшком плазмы или с твердым телом или Павлик притащится для расшифровки генокода какой-нибудь болотной цапли... Так, глядишь, до утра дотяну, а там гимнастика, прием пищи, разное... А домой я вообще не приду, пусть она там поет со своим облаком, пусть пьет с ним чай.

— Лабасритисигуенвуенчи, синьор Морковников, ю эс эс ар сайентист энд споксмен, одним словом — доброе утро, старик!

Дивную эту фразу произнес велосипедист «не-Прометей», временно пропавший из нашего поля зрения, а сейчас стоящий перед академиком, словно огненный черт, одной ногой на тротуаре.

— А это вы, Мемозов, чао! — вяло поприветствовал авангардиста академик.

— Чао нам и чаю вам! — гоготнул Мемозов.

— Что вы имеете в виду? — насторожился Эрнест.

— Да просто так, случайное созвучие. Сейчас ехал мимо вашего дома и слышу, Лу поет «Чай вдвоем». Неумирающая тема, право! И представьте, ту же тему вчера весь вечер наигрывал в столовой этот самый... ну, вы знаете... этот ваш здешний кумир — унылый саксофонист Самсик Саблер.

Эрнест Аполлинариевич снял очки, подышал на стекла и протер кончиком галстука, хотя никакой нужды ни в протирании, ни в дышании, ни в снимании, ни даже в ношении очков не было. Жест этот, протирание очков, типичный по кинематографу жест придурковатых академиков, когда-то всех смешил, но постепенно стал привычкой, даже своего рода нервным тиком. Что за черт, этот чужак, несимпатичный пришёлец, уже называет мою жену «Лу», то есть так, как ее называют пять-шесть людей, не более, — ну Пашка, ну Наташка, ну сын их Кучка, ну В-С... Эрнест надел очки — настоящий, заметьте, «полярoид»! — и немного успокоился: сейчас осажу нахала.

Мемозов, левой рукой борясь с развевающейся гривой, правой держа велосипед, в оба глаза с удвоенной насмешкой всматривался в академика.

— Да, знаете, уже мыли тарелки и стулья переворачивали, а он все ходит со своей дудкой и все импровизирует. Я задержался вчера в столовой, оформлял одну идею, писал, считал, проигрывал в уме и поневоле слышал игру этого Самсона. Знаете, манера покойного Клиффорда Хоксра, но что-то есть свое, физиологическое... Я даже придумал: не рано ли списывать на помойку наш старенький джазик? Вы знаете этого Самсика? Такой весьма, весьма подержанный уже тип, но, должно быть, и не лишенный... вы знаете?

— Да кто ж здесь не знает Самсика? — грубовато буркнул Морковников.

— ... не лишенный, конечно, определенного секс-аппила для дамочек особого сорта. Не находите?

Академик салютнул ладошкой и пошел прочь, но велосипедист некоторое время еще ехал за ним вдоль тротуара, заканчивая рассказ.

— «Ого,— говорю я этому вашему Самсику,— а ты сегодня в ударе, в свинге. Влюблен, что ли?» Вы знаете, Морковников, многие толковые люди не отказывают мне в парапсихических способностях, но в данном случае я спросил вполне простодушно, а попал в точку.

Эрнест, до этого момента маршировавший «равнение направо» — то есть прочь! — теперь сделал равнение налево, то есть на велосипедиста и так теперь шел с повернутым к нему, открытым и готовым к удару лицом, а Мемозов ехал, шаря по нему едкими гляделками и обводя его контур легким насвистыванием «Чай вдвоем».

— Ну, дальше,— сказал академик.

— Да ничего особенного. Саблер страшно смутился и тут же перешел на другую тему. Знаете, вот что... "Every day I have blues»...— Мемозов старательно вывел губами начало.

— Знаю, знаю,— торопливо прервал Морковников и немного продолжил тему: — А дальше?

— Потом произошло нечто странное, Морковников. На кухне упал поднос, плашмя на кафель, и звон его долго стоял в этой вашей кислой столовке, а когда он затих, Самсик сказал, глядя в темное и потное окно, в котором не было ни-че-го...

— Жизнь коротка, а музыка прекрасна,— неожиданно произнес Эрнест фразу из своего сна, и Мемозов гулко захохотал, как будто бы оттуда — со стыка орбитальной реки и внутреннего куба.

— Именно эту фразу, дорогой метр, именно эту. Я вижу, вы тоже обладаете кое-какими парапсихическими талантами... Кстати, мой бесценный иммортель, я не унижу вас, если приглашу к себе на небольшое действо под названием Банка-73? Обещаю много интересного. Конечно, прихватите милую Лу. Самсик тоже будет. Значит, договорились. Дату сообщу дополнительно. Всего доброго. Искренне ваш. Мемозов.

С этими словами авангардист нажал на педали и сделал резкий разворот, подрезав нос городскому такси «Лебедь», заслужив оглушительное «пснх» из уст Телескопова и ответив находчиво «от психа слышу», после чего, наращивая скорость, воображая себя демоном воды с озера Чад, помчался по главной улице в прозрачную современную перспективу.

Что касается Эрнеста Аполлинариевича, то он взял такси и от полной сумятицы в голове попросил отвезти его на Цветной бульвар в «Литературную газету», где у него сидит дружок. Володя Телескопов, привычный ко всему, подвез академика к воротам Железки и получил по счетчику 17 копеек, потому что чаевых не брал. Таким образом, между двумя участниками утреннего диалога, между Мемозовым и Морковниковым, почти мгновенно образовалось огромное пространство, которое тут же пересекли два сиамских кота, а также благороднейший пудель Августин со свежей почтой для своих хозяев и дружелюб Агафон Ананьев на универсале «Сок и джем полезны всем», в кузове которого лежала его теща, возвращающаяся из окрестных сел после закупок яиц.

Стояла ранняя зима, вернее, осень на исходе, прозрачность некая была в архитектуре и в природе, а Ким Морзицер унывал, грустил, как пес при непогоде, и листья желтые считал как знаки на небесном своде, как знаки будущих похвал.

В отсутствие Кима в Пихтах случилось чудовищное. Древний враг, Трест Столовых, нанес неожиданный и сильный удар: «Дабль-фью» была переименована в «Волну». Произошло, по словам Великого-Салазкина, злое кОщунство.

Чудовищное кОщунство над детИщем! Обилие мерзких, с детства ненавистных новатору «ща» наводило на мысль о близости щей, и впрямь — чудовищное кощунство над детищем вершилось во имя тощих пищевых щей, ибо первых блюд в музыкально-разговорном кафе не водилось, и из-за этого тоже шла борьба, сыпались жалобы, коптили небо ревизоры; отбивались блистательными контратаками в отдел культуры.

И вот разлетелся. В сумерках, не разглядев новой вывески, размахался дверями, как хозяин, вбежал в свой кабинет, в святая святых, уже блейзер чуть ли не скинул, вдруг видит — сидит!

За столом Кима сидел Буряк Фасолевич Борщов в белом халате и строго что-то писал. Со стола были удалены: коралл, бригантина в бутылке из-под кубинского рома, все четыре парижских паяца, роза-ловушка, стакан с вечным непроливающимся пивом и прочие любимые меморусы. Со стен исчезли дискуссионные шпаги, банджо, гитара, портрет Тура Хейердала, портрет самого Морзицера работы художника Бонишевского в стиле Буше. Перед столом стояла кассирша Виктория Шпритц и что-то смущенно делала руками, а в глубине комнаты под какой-то дикой диаграммой с неясным названием «Выход блюдов» сидело еще одно новое лицо — огромнейшая молчаливо-веселая дама с папироской.

— Простите,— сказал Ким, уже чувствуя непоправимое, но все-таки в атакующем интеллигентском стиле.— Простите, с кем имею честь?

— Борщов,— ответил захватчик стола в своем стиле, не поднимая головы.— Директор кафе «Волна». Вы?

— Весьма удивлен. При чем здесь волна? — спросил Ким, опираясь на стол ладонями.

— Не надо. Наваливаться,— директор поднял голову, но не к Киму, а к Шпритц.— Кто? Это?

— Это... это...— замялась Виктория,— это наш Кимчик... Ким Аполлинариевич...

— Точ-нее,— попросил директор, открывая ящик, из которого явно было уже удалено все милое, а подчас и интимное содержимое и заменено сетчатой бумагой.

— Это наш...— Шпритц смущенно хихикнула.— Наш Командор и Хранитель Очага.

— Слышал,— директор углубился в бумаги, и наступило полнейшее молчание.

Ким чувствовал жгучий стыд, дичь, нелепость, чувствовал свои большие неуместные руки.

Дама в углу улыбнулась приятными, как карамели, пунцовыми губами.

— Да что же вы, Ким Аполлинарьич, стоите как неродной? Присаживайтесь.

«Вот, черт возьми, живой человек»,— с неожиданной благодарностью подумал Ким и бухнулся на стул рядом с крутым ея бедром, похожим на атомную подводную лодку. Ткань маскировочного рисунка лишь усиливала интригующее сходство.

— Серафима Игнатьевна, наш новый буфетчик,— вполне по-человечески и даже с двумя-тремя калориями произнес директор.

— Очень приятно...

Самым нелепейшим образом Кимчик потянулся к ея руке, но неожиданно получилось вполне естественно и даже мило — простой поцелуй в руку.

— Вы... вы умеете, конечно, Серафима Игнатьевна, делать коктейль «Бегущая по нулям»?

Кимчик опять же неожиданно для себя уже зажурчал и уже посмотрел исподлобья — фавном.

— Серафима! Игнатьевна! Не бармен! Буфетчик! — вдруг закричал директор Борщов и отвернулся к окну, чуть-чуть дрожа.

— Я все умею, Ким Аполлинарьич,— мягко сказала буфетчик и затянулась из папироски дымом, на минуту удлинив свое лукавое лицо.

— Я подчеркиваю: Серафима Игнатьевна не бармен, и коктейлей у нас на выходе не будет,— с мимолетным и далеким, как полтавская зарница, отчаянием проговорил Борщоа.

Вновь воцарилось престранное молчание, которое продолжалось по часам три-четыре минуты.

— Как отпуск провели, Кимчик? — произнесла Шпритц. Она все волновалась.

— Гладил тигрят! — рявкнул Ким и вызывающе склонился к столу Борщова, бывшему своему столу.

Особенный вечер

Временами, когда совсем невмоготу, вспоминаешь и такое — да, гладил тигрят в их обычном жилище! Не всякому доводилось гладить хищных крошек, не у каждого ходит в друзьях дрессировщик тигров Баранов!

Вспоминая свое уходящее время, я стараюсь найти в нем светящиеся ядра, чтобы соединить их в молекулу пусть еле видимым, но все же сущестаующим пунктиром, иначе и время само пропадает. Как спасти мне свое время — десятилетие, год, хотя бы свой отпуск?

Вот вы — ходи, пожалуйста, на пляж с двумя бутылками кефира и с горстью слив. Вот вы — плыви, пожалуйста, бабочкой, сгоняй жир, формуй изящную скульптуру. Все твое время превращается в один день, в приобретение скульптуры, в расплывчатое знойное марево, в облачко мошкары, в неясное воспоминание о покое, о сладкой потуге мышц. Кому не знакомо тревожное ускользание дней?

В знойный вечер под кипарисами выбираешь вариант: 1) мгновенно улететь в Архангельск, потратить все деньги и возвращаться пешком, 2) позвонить в «Интурист» немецкой виолончелистке Беатрисе Шауб, пригласить на шпицирен в тропический дендрарий, 3) отправиться к старику Баранову проведать его котят.

И вот я: входишь в вольер, их гладишь — младенцев, детей, подростков — по шелковым спинам, заглядываешь в их глаза, где не созрела еще застойная тигриная ярость. Коричневые полосы под твоей рукой чередуются с желтыми — таковы тигры. Клычонки подростков щелкают возле твоих рук: неверная, грубая ласка может обернуться трагедией. А по краю вольера кругами бродят взрослые самки, тоже страдают от утечки времени. Конечно, поблизости верный Баранов с пушечкой в кармане, с ласковым словом, с кнутом, но кто поручится — вдруг некая самка захочет поставить себе в биографии галочку ударом лапы по твоему загривку? Остро пахнет Уссурийской тайгой.

Словом, этот вечер особенный, от него можно считать свое жидкое время, свой отпуск, в обе стороны: это было до того, как я «гладил тигрят», а то было уже после. А потому он особенный, этот вечер, что далеко не каждому дано гладить тигрят, а я их гладил!

Вернее, почти гладил. Фактическн я мог бы их погладить, если бы не карантин. Неужели друг Баранов не позволил бы наперснику детских забав погладить своих питомцев, конечно, если бы он оказался в тот вечер в цирке? Словом, я их гладил!

В глухом таежном сентябре летели птицы в серебре, их вновь к себе звала природа, а Ким Морзицер унывал, он дни прошедшие считал, такая у него порода — глухой сырой лесоповал.

— Ну что, Мокрицер, все сочиняешь себе биографию?

Запущенная, но просторная однокомнатная квартира Морзицера, в которой он сейчас лежал на продавленной тахте, наполнилась гулкими шагами последней трети Ха-Ха. Патинку провинциального сплина прервал огнедышащий Мемозов с легким, как стрекоза, гоночным велосипедом за спиной. Лайковое, замшевое, джинсовое великолепие, грозные пики нафабренных усов, кипень шевелюры Гуляй Поля, лаконичные жесткие стрелы в глазах, на груди, на запястьях поражали воображение. Киму захотелось спрятать в подушку свое траченное сплином лицо, спрятать заодно и подушку.

— Ну как, мимоза не чахнет от мороза? — со скрипом отпарировал он приветствие авангардиста и тут же получил ежа за пазуху.

— Мимоза видит — ваша поза — какая гибельная проза: спиной вы для клопов угроза, но в то же время ваше пузо клопу приятная обуза.

С этими словамн гость плюхнулся в кресло и положил ноги на телевизор.

— Морзицер, я забираю вашу квартиру! — таковы были его следующие слова, после которых хозяин перебросил на пол свои полные нагие ноги и беспомощно рявкнул:

— Этому не бывать!

Мемозов поморщился.

— А вы, мокрицын хвост, вы все понимаете в буквальном, безнадежном смысле. И этот человек еще недавно вел за собой авангард? На свалку вам пора, собирайтесь на свалочку, бывший Командор и Хранитель Очага! Не нужна мне ваша нора, успокойтесь. У меня, между прочим, кооператив в столице на Авеню Парасно — слыхали? — ну где вам! Увы — а, может быть, ура,— здесь, в вашей пресловутой научной фортеции Мемозов стоит в номере-люкс отеля «Ерофеич», которым вы все здесь так гордитесь, а на самом деле он ничем не лучше дома приезжих в райцентре Чердаки. Я заметил, что вы все здесь очень гордитесь своими сооружениями, вот идиотизм периферийной жизни! Скоро прибудет мое имущество, мои животные и черная бумага. Трепещите! Мемозов откроет кое-кому глаза на истинные ценности трехмерного пространства. Перестаньте хлюпать сапогом, Ким Аполлинарисвич! Я имею в виду ваш нос. Принимаю извинения. Как? Предложить Мемозову жезл президента в каком-то фехтовально-танцевальном клубе? Это ваша идея, помесь Митрофанушки с Грушницким? Может быть, вы тоже в курсе моего так называсмого бегства из ОДИ? Нет? Ваше счастье! Однако моему меценату, этому винегретному старперу, кто-то уже напел в уши. Милый Букашкин, с такой внешностью выходить на международную арену! Говорят, что его признает Эразм Громсон — сомневаюсь! Громсон — лидер мыслящей молодежи, в ааша кочерыга... Кстати, вы знаете, что у вас со стариком общий предмет — Ритатулька Китоусова? Ах, знаете — это уже мило. Вы вообще, таракаша, пользуетесь успехом у определенного пола. При упоминании вашего благозвучного имени кое-кто начинает вибрировать. Кстати, знаете новый способ объяснения в любви? Же ву зем, ай лав ю — давно на свалке. Ай фил ёр вайбриэйшн! Чувствую вашу вибрацию! Каково? Рекомендую попробовать. Ах, вы хотите знать, кто вибрирует? Зайдите в салон «Угрюм-река» и будьте внимательны не только к экспонатам. Ух, жук-сердцеед, я слышал, здесь давно уже за вами укрепилась слава своеобразного монстра. Ну что вы сразу за брюки? Не стесняйтесь! Запомните, Морзицер, вы мне во враги не годитесь. Все ваши соу колид «инфернальные» идеи я знаю наперед. Все эти спальные мешки, фальшивые клады, лотереи со сколопендрами, трехгрошовые билеты — все это заканчивается хоровым пением под гитарку. Знаем мы ваши жалкие игры, престарелое молодящееся поколение! На свалочку, на свалочку! Дело не в этом. Мне нужна ваша квартира — вот в чем дело. Здесь я собираюсь после прибытия моего багажа устроить вечер Банка-73 да такой, чтобы до Якутска качнуло, баллов на десять, по восьмибалльной шкале, и чтобы повесть эта поползла по швам!

— Что ж,— сказал Ким, все-таки натягивая штаны.— Здесь может получиться своеобразная камера обскура.

— Браво! А вы все-таки не лишены! — воскликнул Мемозов.

Как мало было нужно потерянному Кимчику. Небрежный комплимент из уст нынешнего авангарда преобразил его. Вдруг появилась суетливая живость, трепетание пальцев над ренессансным пузом, былые огоньки в глазах и даже волосы взлохматилнсь наподобие рожек.

— А что, в самом деле, старнк, давай устроим нечто в своем роде инфернальное! Встряхнем китов! Ведь мы с тобой, старик, если объединимся...

Он осекся и неуверенно взглянул на Мемозова — готов ли тот к объединению? Мемозов стоял у окна, прямой и важный, непроницаемый и серьезный. На левой его ладони лежал мниатюрный стерилизатор.

— Вскипятите! — скомандовал он и протянул стерилизатор Кнму.

— Колешься, старик? — со сладким ознобом выдохнул Ким.

— Всего лишь смесь тибетского молочая с почками саксаула. Не pro, а contra галлюцинаций,— с великолепной холодностью протянул авангардист и прикрыл глаза.

Кимчик бежал себе на кухню со стерилизатором и восторженно бормотал:

— Нет-нет, не халтурщик! Вот теперь мы скорешимся, вот пойдет скорешовочка! Саксаулом колется! Подумать страшно!

К полудню тучи похудели, как кошельки к концу недели, их звал в дорогу океан, к полудню сливки убежали, котлеты прогорели в сале, и гарь заволокла диван, где ноги женские лежали...

Теперь дым валил с кухни, сгоревшие сливки жареными пузырями летели в комнату, а потрясенная Маргарита цепочкой, одну за другой, смоля сигареты, дымом отвечала на дым, в пятый раз перечитывала странные клочки перфокарт. Тоже изучила девочка за десятилетие алфавит современной науки.

Европейские подстрочники

№ 37
Ты подбегаешь ко мне
по осенним сумеркам после дождя
на пустынной улочке готического града
ты подбегаешь
а за спиной твоей
башня и холодное небо
а между нами лужа
с этой башней и этим холодным небом
ты подбегаешь
и вот уже рядом со мной
твой золотой мех и бриллиантовые волосы
и встревоженные глаза
и мягкие губы
ты моя девочка
моя мать
моя проститутка
моя Дама
и ты уже вся разбросалась во мне
и шепот и кожа и мех
и запекшиеся оболочки губ
и влажный язык
и никотиновый перегар
все уже на мне
все успокаивает меня
и засасывает в воронку твоего чувства
в холодной Центральной Европе
в ночной и не ждущей рассвета
в пустынной просвистанной ветром
нас только двое
и автомобиль за углом
теперь мы поедем по сливовым аллеям
и будем ехать всю ночь
и голова твоя будет спать у меня на коленях
под рулевым колесом
всю ночь под тихое рекламное радио
вдвоем под шепот печальной Европы
сквозь сливовую глухомань
вдвоем
но ты все подбегаешь
и подбегаешь
и между нами все лежит
лужа
с башней и куском холодного неба

«Тианственная» несравненная Марго задохнулась от совершенно «не-тианственной» ревности, смяла все эти лужи с башнями и судорожно схватила следующее:

№ 14
Да нелегко должно быть разыграть Гайдна
в этом безумном городе в разнузданном
Средиземноморье. Собраться втроем и
зажечь над пюпитрами свечи, сесть и
заиграть с завидным спокойствием и
даже мужеством
«Трио соль минор», то есть сообразить на троих.
В безумном городе,
где «стрейнджеры в ночи»
расквасят морду
в кровь о кирпичи,
приплыл на уголочек
с фонарем
кудрявый ангелочек
с финкарем.
В порту была получка...
Гулял? Не плачь!
Спрошу при случае
Хау мач?
Ты видишь случку
Луны и мачт?
Мы машинисты, а мы фетишисты, мы с перегона, а мы с перепоя, прокурились, пропились, голоса потеряли, теперь и голоса не продашь за христианских демократов.

Между тем они собрались: Альберт Саксонский — виолончель, Билли Квант — скрипка и Давид Шустер — фортепиано, и начали играть.

И их любимый Гайдн был сух и светел в своем настойчивом смирении.

Как чист, должно быть, был камень вдоль реки, все эти немецкие плиты, вылизанные дождями, как кость языком старательного пса, и подсушенные альпийским ветром как чист, должно быть, был этот камень, когда по нему прошел Гайдн, стуча чистыми поношенными, но очень крепкими башмаками и медленно мелькая белыми шерстяными чулками

А я работала
по молодежи,
на «беркли» ботала
всю ночь до дрожи.
Агеит полиции,
Служанка НАТО!
дрожа в прострации
крыл хиппи матом.
Опять вы, факкеры,
вопите — Дэвис!
А в мире фыркают
микробы флюис!
Агеита по́ миру
пустили бо́сым,
от смеху померли
моло-кососы.
Искали стычки
Мари с Хуаном,
в носы затычки
с марихуаной...
Толкнул гидальго
Герреро в спину
торговца падалью
и героином
потом кусочники
на кадиллаке
меня запсочили
в свои клоаки.

И нагулявшись до посинения носа он, Гайдн, входил в кондитерскую Сан-Суси, чтобы съесть солидный валик торта, запив его жарким глинтвейном, что пахнет корицей и ванилью.

Затем хозяйка, пышная Гертруда, в лиловой кофте прятавшая дыни и в черной юбке кремовую арку ворот немецкого сладчайшего Эдема, за ширмой покровительствовала Гайдну.

А вслед за тем помолодевший Гайдн просил свечу и прямо там за ширмой записывал остатками глинтвейна финал концерта в четырех частях.

И старческий здоровый желтый палец, так гармонично чувствуя природу, уже предвидел нынешнее трио в безумном пьяном горе-городке.

Альберт Саксонский, Билли Квант и Шустер Давид Михайлович играли с вдохновением и с уважением выслушивали поочередные соло и вновь самозабвенно выпиливали и выстукивали концовки печальных, но жизнеутверждающих кварт.

Все четверо были очень пристойны и специально для этого вечера одеты в рыжие от старости фраки и ортопедические ботинки. Никто из четверки не носил модной в то пятилетие растительности за исключением Шустера с его ассирийской пересыпанной нафталином бородой.

Мы говорим «четверо», потому что трио едва не перерастало в квартет, к свече просилась флейта и временами незримый коллега, тоже вполне прилич-

ный и печальный, подсвистывал на флейте. По вольности переводчика вокруг мансарды бродил Вадим, дада — Вадим Китоусов.

Они ни к кому не обращались своей музыкой, но втайне надеялись, что ие звуки, а хотя бы энергия звуков проникнет сквозь бит и пьяный гогот обобранных матросов тралового флота в подземный полусортир-полубар под железным цветком МАГНОЛИЯ, и там одна из девок в лиловой кофте и черной юбке почувствует своими высохшими ноздрями запах Гайдна, глинтвейна с корицей и ванилью, и во дворе притона прополощет рот и примет аспирину

и выйдет в слякоть, в тот водоворот, где пьяные испанцы, негры, греки, шестого флота дылды-недоноски, шахтеры, жертвы дикой «дольче виты», растратчики в последних кутежах —

все носятся от столба к столбу, от автомата к автомату, торопясь влить в себя что-нибудь и конвульсивно сократиться... и каждый встречный гадок, но каждого можно умыть Гайдном и пожалеть.

О нет, она не будет их жалеть — хватит, нажалелись! — а жалости женской достойны лишь самые храбрые, те трое — Альберт Саксонский, Билли Квант и Шустер — и четвертый невидимый.

Для того-то они храбреют
с каждым тактом
с каждой квартой
с каждым вечером на чердаке
и наливаются отвагой,
как груши
дунайским соком,
вот уж третий век
для жалости
Ищи мансарду нашу,
ведет тебя Вадим,
Там трое варят кашу,
Четвертый — Невидим.
Задами ресторащий,
скользя по потрохам,
пройди стену акаций,
тебя не тронет хам.
А тронет грязный циник —
пером пощекочи
и в занавес глициний
скользни в ночи.
Откинь последний шустик
пахучих мнемосерд...
...В окне малютка Шустер
и крошечный Альберт,
Миниатюрный Билли,
игрушечный рояль...
Ах, как мы вас любили
И как вам нас не жаль?!

Так им хотелось, а на самом деле она давно уже спала на драном канапе, которое много-много лет назад ее дедушка, учитель сольфеджио из Тироля, изысканный и печальный бастард-туберкулезник, привез сюда, в субтропики, называя его семейной (у бастарда-то!) реликвией.

Она спала всем своим блаженным телом, блаженная лоснящаяся выдра, просвечивая гладкими ключицами сквозь лиловую сетчатую шаль и завернув бедра в черное и лоснящееся подобие бархата.

Может быть — пожалеем все-таки музыкантов — может быть, в этом глубоком сне ей казалось, что на краешек канапе присел ее прапрадедушка Гайдн и тихо гладит ее лицо своей большой губой, похожей на средневековый гриб-груздь из Шварцвальда.

Во всяком случае, она спала,
а Альберт Саксонский, Билли Квант и Дод Шустер заканчивали
концерт
с редким мужеством,
с вдохновением,
с уважением и благоговением,
с высокой культурой, без всякого пижонства
и лишь с самым легким привкусом
ожесточения в последних тактах

. . . . . .

Вадим Аполлинариевич Китоусов тем временем, не подозревая ничего особенного, то есть нехорошего, сидел за пультом установки «Выхухоль», курил и, изредка поглядывая на приборы, следил за хитрыми перестроениями мю-мезонов.

Загнанные силой человеческого гения во внутренний дворик «Выхухоли», мю-мезоны теперь хитрили, делали вид, что никто их сюда не загонял, а вроде они сами сюда зашли... ну, предположим, для репетиции парада. Они торжественно маршировали колонной «по восемь», расходились двумя колоннами «по четыре», перестраивались, перебегали, формировали каре, расходились веером, концентрировались в овал, и все это движение было направлено к одной цели — скрыть, утаить от пытливого ума наблюдателей нечто единственное в своем роде, неповторимое, загнанное в «Выхухоль» через полые черные шары вместе с ними, но которое не отдадим никогда, ни за что.

По предположениям Великого-Салазкина, Ухары и Бутанаги, а также по выкладкам Эрнеста Морковникова, маршировка мю-мезонов должна была иссякнуть через некоторое время — то ли через полчаса, то ли через полгода, и тогда с вероятностью № — 1^{72000} в глубине кадра мелькнет неуловимая Дабль-фью или хотя бы туфельку свою оставит. Велковески в Австралии выражал сомнение в успехе. Кроллинг почему-то надулся и ушел в себя, Могучий Громсон со скандинавской седловины напутствовал исследователей добродушным, но неприятным смехом.

Контрольный эксперимент проводился на дочерней установке «Барракуда» за много тысяч миль в неприсоединившемся государстве, и потому Великий-Салазкин из своего кабинета держал связь с коллегами, как говорится, «сидел на телефоне». Нетрудно было убедиться в этом, подойдя к его дверям с латунными застежками-пуговицами.

— Ну-ну,— слышался из-за дверей голосок В-С,— а крючок-то какой номер? Кончай-кончай, Велковески, заливать, мы не маленькие... Так... Так... Ну, хорошо... гуд, Велковески — верю... медаль, говоришь, за рЕкорд?.. конгретьюлейшнз тебе от всего сердца... я-то?.. а я на прошлый вторник судачка взял полста на мормышку... на мормышку-на мормышку... не веришь? обижаешь!

Вот так порой великие умы нашего времени борются со своим постоянным спутником — волнением. Автору не раз приходилось беседовать с великими умами о литературе, но рыбное дело помогает им больше.

Ну хорошо... Вадим Аполлинариевич, как уже было сказано, спокойно дежурил за пультом, не ожидая ничего нового, то есть дурного. Рядом с ним сидел подопечный аспирант Уфуа-Буали, уроженец города Форт-Лами, что в Экваториальной Африке. Китоусов добродушно шутил:

— Что же, Борис, получается? На дворе всего минус пять, а у тебя нос обморожен. Что же дальше-то будет?

Уфуа-Буали пылко парировал:

— Что вы ко мне берете с этим вашим моим носом? Что мне этот ваш мой нос, когда я-таки уже сижу перед этой чудненькой машинкой?

Аспирант говорил с дерибасовским акцентом, ибо окончил Одесский университет, и это было приятно Китоусову, потому что с Одессой его через Маргариту связывали родственные узы.

И вот задергались узы, зазвонило, загудело, замелькало на табло, в контрольный отсек всунулось сразу несколько физиономий:

— Китоусова к телефону! Вадим Аполлинариевич, на выход! Вадик, тебе Ритка звонит!

Такого за десять лет супружества еще не бывало — любимая звонит в разгаре рабочего дня. Неужто соскучилась?

Аспиранты и техники следили за летящим доктором, и теплые улыбки освещали суровые лица. Все знали о слабости Китоусова, о его безумной и вдохновенной моногамии.

Ну вот она, трубочка, нежная мембраночка, телефончик мой, милый паучок, передай мне ласковую нотку.

— Оказывается, Китоус, у тебя есть своя собственная внутренняя жизнь?

Вот по таким, безусловно, по таким натянутым и острым нитям шел когда-то на казнь молодой Каварадосси.

— О чем ты, Рита?

— А вот об этом!

С еле сдержанной яростью она показала ему «это», но он не увидел «этого», хоть и старался, даже шею вытянул.

— Что там у тебя, Рита?

— А вот это! Не хитри и не финти! Я тебя, слава богу, знаю, Китоус! Все твои комплексочки у меня на ладони, а теперь и новые вылезли.

— Да о чем ты, Рита?

— Об этих твоих... не вздумай врать, будто я словечек твоих не знаю!.. Эти твои подстроч-ники... гениальные графоманские опусы... Я давно подозревала!

Уличенный в графомании, стоял, опустив голову, в телефонном застенке. Теперь главное — вовремя спиной повернуться к проходящим коллегам, чтобы ие видели багровой ряшки.

— И еще, понимаете ли, ев-ро-пей-ские! Это почему же они европейские, маэстро?

— А это я в Австрию ездил в прошлом году. Разве забыла?

— Уп-п-п!

Да она там просто взрывается, взрывается от ярости. Она только делает вид, что насмехается, а сама прямо клокочет, бедная девочка.

— Риток, да это просто так, от нечего делать...

— Когда это тебе было нечего делать? И... и... Китоус, не хитри, давай покончим с этим... Кто это к тебе там бежит по лужам... Что за баба?

Да ведь она ревнует! Маргарита просто ревнует! Оиа меня ревнует! Боже! Она от ревности бесится! О счастье! О слезы! О милая нагая красавица с рвзбуженным ревностью лицом! Ты стоишь на каменной лестнице, и волосы твои рассыпались по голым плечам. и груди торчат от ярости, все в тебе вздыбилось, все полыхает... всем страшно ходить мимо твоего крыльца, а ты и не замечаешь своей наготы, потому что ревнуешь любимого, а там, на горизонте, уже все почернело, и дикой ревностью до краев полон вулкан и так сейчас расколется — все статуи полетят! Лишь лист один кружит, летит к тебе на грудь, пожухлый лист каштана, одии лишь просит о смирении...

— Да это, Рита, ты бежишь ко мне. Это воображение.

— Неправда! Я себя не узнаю! Это другая бежит!

— Да ладно тебе, Ритка! — ликующий голос Китоусова кружил вокруг трубки отнюдь не как пожухлый лист, а как вооруженный сладострастный жук-кусачка.— Да ладио тебе! Ну. лирическая героиня бежит. Да ну ее совсем! Ну выброси куда-иибудь, ну хоть в форточку! Где нашла-то?

— Мемозов принес!

— Что-о-о-о?

Недолго длилось торжество Вадима Аполлинариевича, и прервалось оно так же внезапно, как и возникло,— щелчок и кончено — майский полдень, жужжание и медосбор мгновенно испарились, и тут же заработали привычные системы. Как? Мемозов? Значит, она встречается с Мемозовым, а я даже не знаю? Что же я знаю?

Она лишь курит, курит и курит на своей тахте, а цвет лица между тем не портится. Да она нарочно разыграла здесь ревность, чтобы прикрыть свой адюльтерчик... свой романчик с этим ужасным сатанинским приезжим, с этим... Да-да, все ясно... какая искусная игра, вот тебе и тианственная Марго! Низость!

Но откуда у проклятого авангардиста мои «Подстрочники»? Да и как вообще все эти годы пропадали со стола мои перфокарты, и почему они летали по воздуху там и сям?

Она проговорилась! Она, конечно, дала ему их сама,— но где она их поймала? — чтобы потом уже он дал их ей или, наоборот, он дал ей их, чтобы она, дав ему их, позвонила мне и сказала, что он их дал ей, но не говоря, что взял у нее, чтобы потом уже ей подсунуть для гадкой мистификации.

О ревность с гладкой кожей, преследующая меня, как тень! О, если бы ты была плоской, как тень, и могла бы сокращаться к полудню и вытягиваться на закате. О нет, ты ложишься рядом со мной в постель и кладешь мне ладонь на живот, как жена. Ты — малярия и продираешь меня ознобом средь шумного бала, и в автобусе, и в кино. Ты ядовитый закат над столицей, ты — целое озеро, отражающее закат и блестящие катышки автомобилей, ты однажды зажала меня в колодец и едва не сомкнула свои тридцатые этажи, ты, облепившая мое тело, как мокрое шерстяное белье, ты — улетай!

Потрясенный, шаткий, бормочущий жалкие заклинания Китоусов спускался вниз, уровень за уровнем, в утробу Железки.

Надо сказать, что все институты и лаборатории Железки под землей были связаны друг с другом системой лифтов, тоннелей и переходов. Таким образом, можно было, не выходя на поверхность, попасть из тихого кабинета, где скромный географ меланхолически крутил глобус, выискивая нв нем вмятины от плечей Атласа, в шумную залу, где нанизывали на нитки бусинки хромосом, а оттуда в лабиринты библиотеки, где гулко звучало слово «сапог», умноженное на двунадесять языков, а еще дальше — в микробную флору, в дебри агар-агара и аыйти к подиожию «Выхухоли» или к гигаитскому треку, где шли адские гонки частиц, а дальше — оказаться в стерильиом святилище, где с тихими, но многозначительными улыбками удаляют добровольцам червеобразные отростки... и так далее.

Такова была основополагающая мысль китов — наука едина!

Вадим Аполлиариевич с застывшей любезностью иа лице входил в лифты, опускался по лестницам, вихлялся в тоинелях и сам не знал, куда идет. Коллеги, старые его товарищи, попадавшиеся навстречу, понимали все по его лицу и знали, куда он идет — в ИГЕН Вадюха плетется, к своему корешу Слону плакаться в жилетку, на Ритку стучать.

Великолепная десятиборческая фигура Паала Аполлинариевича стояла в углу кабинета, упираясь правой ногой а батарею отопления, левой ногой в пол, правой рукой в книжную полку, левой рукой себе в бок. Поза была, короче говоря, грустная, и взгляд, устремленный в окио на башенки обсерватории, торчащие из тайги наподобие семейки боровиков, взгляд тоже был невеселый. Что ж, иемудрено загрустить после спектрального анализа яйцеклетки южиоамериканского зверька леиивца или виедрения в гаиглии прусского таракаиа.

В кабинете профессора Слона было много неожиданиых и, казалось бы, не относящихся к генетике предметов: барабанная установка для иистнтутского джаза, вратарская маска, вымпел лейб-гвардии гусарского полка...— но центральное место занимал огромный фотопортрет странной птицы цапли, которая стояла, поджав ногу, среди болотистой Европы, со смущеиным и милым выражением своего дурацкого лица.

— Здравствуй, Павел,— вздохнув, сказал Китоусов.

— Садись, Дим,— ие оборачиваясь, ответил Слон, все еще витая в разрежеином пространстве уныния.

— Что это у тебя? Цапля? — спросил Вадим, лихорадочно соображая, как же подойти к теме, как же поведать обо всем, расколоться ли, поймет ли Пашка? — как будто уже сотии раз не раскалывался он в этом кабинете, не подходил к теме, как будто не иаходил дружеской поддержки в трубных репликах Слона.

— Да, цапля! — вдруг сильно и твердо ответил Павел, снял ногу с батареи и повернулся к гостю, уже живой и наполненный чувством.

— Красивая птица,— промямлил Вадим, глядя на тускло-серебристый отлив оперения, на длинную ногу и виновато опущенный клюв болотной примадонны.

— Ага! Я знал, что тебе она понравится! — вскричал Павел и швырнул на стол кипу фотографий: прогулка цапли просто так, прогулка цапли кое за чем, разглядыванье коечего, охота и поедание кое-кого и, наконец, цапля в полете — крупный план, средний и общий — над низким туманом, из которого поднимаются круглые кроны дерев сытой и влажной Восточной Европы.

— Она изящна,— с горечью сказал Вадим.

— Мало того! — опять же на высокой ноте, на крике подхватил Павел.— Она романтична никак не менее чайки, она, если хочешь, тианственна, как твоя Маргошка, и бабственна, как моя Наталья, но как она, бедная, робка и не уверена в себе, как она стыдится своих ног и клюва, своих лягушек, танцующих данс макарб в ее тесном элегантном желудке.

Цапля

Однажды я жил в Прибалтике, на песчаной косе. Получил койку в так называемом пансионате швейников. Пансионат был крошечный — на 15 мест — и плохой: простыни серые, вода ржавая,— да к тому же еще и фальшивый, ни одного швейника в нем, конечно, не было. Весь первый этаж с относительным комфортом заняло шумное кустистое семейство какого-то короля бытовой химии, и лишь на мансарде, сырой и ржавой, жили посторонние: Леша-сторож, Леша-слесарь и я.

Леша-слесарь отдыхал своеобразно. Открыл окно, сел возле него в трусах и в майке и стал играть на гармонии. Играет и курит сигареты, а спросишь о чем-нибудь — улыбается.

Леша-сторож ваньку валял, почти ничего не говорил,

а мычал, притворялся слабоумным, таскал из леса огромные корзины грибов, обрабатывал их прямо в комнате и развешивал на сушку. Потом осенью я его встретил на Терентьевском рынке, в джинсах «Леви Страус» и в замшевой куртке, он там эти грибочки толкал по трешке за вязку. Все верно рассчитал чувак: год-то был негрибной, мирный год сосуществования.

Не знаю уж, как я оказался в этом пансионате, то ли диссертацию собирался закончить, то ли от Наташкиного бабизма сбежал в очередной раз, дело не в этом, а в том, почему я там оставался. Я тогда на подъем был легок, и гроши уже водились, мог в один момент перелететь куда-нибудь в Коктебель, в пещеру, к своим ребятам в Сердоликовую бухту.

Пансионат этот стоял на отшибе на плоском лугу, окаймленном большими деревьями, а за ними сквозил туман и гиль какая-то. Казалось бы, полная и удушающая глухомань, но, странное дело, по ночам меня охватывало волшебное, может быть, даже поэтическое ощущение «всего мира».

По ночам, изнемогая от запаха прелых грибов, я выходил на терраску и слышал крики какой-то птицы, глухие, тревожные и как будто стыдливые, а потом доносился шум больших крыльев, и совсем рядом, в темноте, я чувствовал чей-то тяжелый, неуклюжий, но неудержимый полет. Это была цапля, старик. По ночам она зачем-то летала в Польшу.

Это я узнал позже, а в первые ночи я просто слушал ее крики, ее полет и чувствовал какое-то восторженное волнение, прелесть и сырость жизни, природы, кипень листвы по всей Европе, от Урала до Гибралтара, и все ее спящие города, гулкие ночные улицы и невыразимую — тианственную,— старик, женственность ночи. Мне хотелось куда-то сорваться, помчаться, покатить, чтобы поймать очарование, но я был уже зрелым и битым и знал, что при малейшем движении все исчезнет, и потому стоял и прислушивался к угасающим крикам.

— Цапля-уука уукает, уадла,— однажды прогундосил в комнате Леша-сторож. Он ведь был художником, непризнаным гением, и цапля ему тоже не давала спать.

Рано утром, в тумане, она возвращалась из Польши в наш заливчик, и однажды я вышел ее встречать. Вначале в густом и грязноватом молоке слышался только нарастающий шум крыльев, потом солнце посеребрило водяные капли, туман рассеялся, обозначилась некая даль, и прямо на меня вылетела большущая дурацкая птица. Она увидела меня и попыталась резко свернуть, но это у нее не получилось, она неуклюже ухнулась на нижний этаж и полетела вдоль берега, таща за собой ноги с выпирающими коленками, оттянутые назад с претензией на стремительность.

Она пролетала совсем близко и даже глянула на меня своим круглым глазом, который у нее располагается прямо над клювом, а клюв, то есть рот, сложен у нее в глуповатую и застенчивую улыбку, а взгляд ее говорит: ах, я знаю, как ужасны мои ноги, что так нелепо, как тяжелые сучья, тащатся за мной в полете, ах, я несчастна!

С тех пор я встречал ее не раз, может быть, каждый день. Скажу больше, старик, я искал встреч. Я выходил на гребешок дюны над мелкой, проросшей травой заводью, садился и ждал цаплю, и она появлялась из-за мыса и застывала с поднятой ногой при виде загорелого мужчины, то есть меня, останавливалась, как дурнушка-переросток, скованная смущением.

А ночью я ее, к сожалению, не видел, а слышал лишь крики, тревожные, глухие и страстные, и шум крыльев. Может быть, в Польше у нее был друг, и она летала на рандеву? Вообрази себе любовь цапли, старик. Разве не продирает тебя по коже озноб жалости, неловкости, восторга?

Однажды, ближе уже к осени, я встретил ее на автобусной остановке. Успокойся, мой друг, это шутка, гипербола, художественное преувеличение.

Была ночь, и лил дождь, и я зашел под навес остановки перекурить. Чиркнул зажигалкой и увидел в углу понурое существо, девочку-цаплю. Вода стекала с ее слипшихся волос и с коротенькой болоньи, и под голенастыми ногами натекла лужица, а в глазах вот все это и было — там жила цапля с ее стыдом, мольбой и надеждой на встречу. Сначала я опешил, а потом заговорил с ней, но она отвечала непонятными междометиями и короткими фразами на местном языке.

Что же получалось? Да ничего, как обычно, ничего не получалось. Она уехала, а вскоре и я уехал. На несколько лет я забыл про эту птицу, а вот сейчас, старик, скоро мне уже сорок, и я все чаще думаю о ней. Мне хотелось бы внедриться в ее генокод, старик, отыскать ту хромосому, которая не давала спать мне и Леше-сторожу и вызывала ощущение «всего мира», этого летучего, мгновенно испаряющегося аромата, который могут поймать только юные ноздри, да и то не всякие...

Павел Слон выглядел несколько смущенным, хотя и похохатывал временами и слегка нажимал ногой педаль барабанной установки. Вадим курил уже третью сигарету и молчал. Вот и поговорили «на тему», и ничего не скажешь, чуткий Пашка мигом уловил «мое» и соединил его со «своим», вот и получилось, что теперь вроде бы и нелепо говорить о каком-то Мемозове.

— Смешно сказать,— тихо проговорил он,— но это вроде бы похоже на нашу «Дабль-фью». Надо бы с В-С поделиться. Не находишь? Знаешь, Паша, я хотел бы тебе дать почитать кое-какие подстрочники... ты бы...

— Конечно,— весело сказал Слон.— Обязательно дай или еще лучше вслух почитай. Я люблю, когда ты читаешь. Купим пива, заберемся куда-нибудь и почитаем. Идет?

— Но этого сейчас нет у меня,— с досадой поморщился Китоусов, и тяжесть подозрений, связанных с «этим», тяжесть предстоящего разговора с женой снова омрачила его дух.

Тут зазвонил телефон. Павел снял трубку.

— Это зоопарк? — услышал со своего места Вадим комариный, злодейски-настырный голос.

— Да, Слон у телефона,— спокойно ответил Павел Аполлинариевич.

Уж к чему, к чему, а к этим шуточкам можно привыкнуть за сорок лет с такой фамилией.

— Мемозов звонит,— сказал Павел Вадиму, прикрыв трубку.— Ищет меня и тебя.

— Мемозов! — вскричал Вадим Аполлинариевич, вскакивая и непроизвольно хватая барабанные палочки.

— Ё-ё-ё,— насмешливо зудел рядом комарик.— Вадик-то вскочил с барабанными палочками! Прямо «Мститель из Эльдорадо»! Ё-ё-ё, каков интеллектуал! А где самоконтроль, Вадим Аполлинариевич?

Китоусов выхватил у Слона трубку.

— Вы! Мемозов! Это вы?! Да чао, чао, черт вас побери! Молчите! Где вы взяли мои подстрочники, мои перфокарты для передачи моей жене или почему вы отдали их ей после того, как она их вам передала, сама не зная, откуда они у нее взялись, скорее всего от вас, а затем изображаете? Почему вы не отвечаете?

— Молчу,— гмыкнул Мемозов.— По вашему приказу.

— Отвечайте!

— Пожалуйста. Это насчет тех листочков, что ли, Вадим, которые выпорхнули из вашей форточки, когда я ночью колдовал на пустыре возле вашего дома и будировал ваше воображение обыкновенным магнитофоном с записью криков цапли, насчет этого, что ли? Да я их тут же подхватил и отдал, не читая, вашей лучшей половинке, а она спать хотела и тоже не стала читать. Это что-то ваше интимное в манере раннего Вознесенского, не так ли? Между прочим, огорчу вас, устарел ваш любимый поэт, на свалочку пора!

— Да вы... да вы...— давно уже продирался Вадим сквозь трескотню авангардиста со своим «да вы».— Да вы, Мемозов, кто такой? Чем вы у нас тут в Пихтах занимаетесь?

— Кто я такой и чем занимаюсь, это выяснится позднее, а вот вы нытик, Аполлинарьич. Свалка по вас тоже тоскует. Не знаю уж, почему это женщины из-за вас с ума сходят.

Китоусов задохнулся от оглушительной ураганной новости.

— Это кто же сходит?

— Да вот подруга вашего друга, который сейчас не иначе как на подоконнике сидит во вратарской маске, прямо, между прочим, задохнулась вчера в «Угрюм-реке», когда речь зашла о вас. Кстати, у мадам Натали сегодня день рождения, вы не забыли? Бальзаковским дамам лучше не напоминать об этих сладостных датах, они никогда не испытывают свойственных мужчинам эмоций гордости своим стажем, пройденным путем, но все-таки мне кажется, многодетная мать-слониха будет рада, если предмет ее грез — о грезы сибирских интеллектуалочек! — явится к ней с букетиком бельгийских скоростных гвоздик без запаха, но с намеком.

— Вы думаете? — опять же неожиданно для себя задумчиво-деловым тоном спросил Вадим. Он чувствовал поразу-

тельную новизну жизни, как будто комнату наполнили вместо воздуха каким-то другим живительным газом. В него влюблены?! Некто влюблен в него? Некая женщина влюблена в Китоусова и даже чуть не задохнулась от волнения в салоне «Угрюм-река»? Наташка, жена моего ближайшего корешa, да что же это такое? Фантастика!

Услужливая романтическая память тут же включила палубу черноморского теплохода, бакланов за кормой, далекий серый горизонт, музыку из динамика, а если, мол, узнаю, что друг влюблен, а я на его пути... О как распахнуты дали земли, от Констанцы и до Батуми!..

— Чего он там? — с добродушной улыбкой сквозь прорези вратарской маски спросил Слон.

— Да так, трепология...— снова неожиданно для себя скрыл, утаил, припрятал от друга подарочек Вадим.

— Ну и типчика вывез В-С на этот раз из столицы,— вздохнул Слон.— Далеко не самый шикарный экземпляр!

— Передайте трубку Слону! — тут же скомандовал Мемозов и закричал уже Павлу в ухо: — Я, собственно, вам звоню по вопросам культурного роста. Намечаю одно спиритуальное действо под названием Банка-73, но, заметьте, без капли алкоголя. Постараюсь доказать, что я именно тот самый шикарный экземпляр и лучшего в столицах не найти. Короче, продырявлю слоновью шкуру. Эх, горе-олимпийцы! На свалочку! На свалочку! Придете? Не струсите? Кстати, чтоб вас заинтриговать, сообщаю, что известная вам тианственная красавица тоже будет...

— А при чем тут...— Павел хотел сказать: «При чем тут Ритка?» — но поперхнулся и, глянув на друга, добурчал: — ...это? При чем тут это?

— Да так,— лукаво замялся Мемозов,— так, между прочим, может быть, и нет ничего, может быть, только показалось.

— А что вам показалось? — железным голосом спросил Слон. Он стоял, теперь отвернувшись от Вадима, выпрямившись и расставив ноги, рыцарская фигура в дурацкой маске. Он видел себя краем глаза в зеркале и ие узнавал, казался себе каким-то совершенно новым, несгибаемым и ужасным существом, каким-то нибелунгом.

— Да так, знаете, может быть, у Ритатульки просто запоздалые романтические толчки,— гнусавил Мемозов в трубку.— Знаете, красавицы — сейчас редкие птички... ну, мы беседовали с ией о любви как о творческом акте... ну, и она сказала, но ие мне, а как бы на ветер, как бы в форточку... уж если, говорит, любить, то только слона. Может, оиа и ие вас имела в виду...

Мемозов выскочил из телефонной будки, прыгнул в седло своей алюминиевой стрекозочки и покатил вдоль бульвара Резерфорда, всем на удиаленис, крутя педали кривоватыми ногами, управляя мощным торсом, звеня руками, ртом напевая жестокую импровизацию, горя глазами, полыхая шевелюрой, то ли артист, то ли хиппи, то ли беглый ассириец из Ирана. Милиция города Пихты его не задерживала, думая, что это иовый тип научного человека.

Между тем кто же такой Мемозов, и распространенный ли, действительный ли это тип? Читатель вправе развести руками и сказать с резоном, что среди его знакомых таких или похожих персонажей ист. И в самом деле — редкость. Вот автор, собиратель разных типов, делился с друзьями сомнениями, спрашивал: не встречался ли им — а оии тоже собиратели типов, какой-нибудь второй Мемозов, ведь там, где пара, там уже яаление. Нет, отвечали друзья, вторые нам не встречались, а Мемозова кто ж не знает — не далее как вчера он нам (мне) звонил, приходил со своим орлом, звал пить вытяжку из коренных зубов каспийского морзверя, Мемозова мы (я) знаем.

Что ж добавить? По слухам, когда-то был мальчик не из последних дюжин, но и не выделился в процессе высшего образования во что-то совсем уже необыкновенное. Потом куда-то исчез, что-то передумал, для чего-то созрел и вот появился неузнаваемым, победительным отрицателем шестидесятых и неким альбатросом нарождающихся семидесятых, молодым человеком в зоне первого старения, то есть в самом сочку-с да к тому же обогащенный парапсихическими талантами, ну, то есть сгусток нечеловеческих энергий: телепатия, телекинез, йога, хиромантия, иглоукалывание, черный юмор, древняя магия, лиловое колдовство, а где зарплату получает — никому не известно.

Одно время в ресторане и во всех трех буфетах ОДИ целую неделю только и разговоров было о Мемозове. Звали в гости на Мемозова, соревиовались в услугах Мемозову. Он был окончательиым судьей в оценке вещи, пьесы, лица, фигуры. И вдруг, говорят, все у него полетело. Говорят, какие-то козни, говорят, паутина неудач, будто бы кто-то салфетками по носу отхлестал и назвал «оценки» сплетнями. И вот канул, ушел на дно. Без всякого сомнения вынырнет, но кем? Мельмотом? Аквалаигистом? Кашалотом? Иль фигою мелькнет иной? Пока что каиул.

Но куда ж он канул? Это для вас, изысканные комильфоты с Разгуляя, может быть, Мемозов и канул в тартарары, а для иас вот он катит, бренча бубенчиками, звеня бубнами, подвывая импровизацией, не велосипедист, а биокинетическая скульптура, катит к торговому центру «Ледовитый океан» [1].

В торговом центре тем временем проходила аудиенция директора Крафаилова и главного дружелюба Агафона Ананьева.

— Где партия итальянского джерси? — с мучеиием, с тоской, с невидимыми миру слезами спрашивал директор.

Боже ты мой, здесь, рядом с величественной Железкой, рядом с сокровенной тайной сосуществует древнее затхлое псевдоискусство воровства, мышиные катышки?

— Это остров такой есть — Джерси,— Агафон Ананьев затуманился, как капитан дальнего плаваиия.

— Что? Что? Что? — Стальные обручи кримииального абсурда давили чело Крафаилова.

— Вы же мне сами говорили, Ипполит Аполлинариевич, чтоб я киижки читал,— обиженно заиыл Ананьев.— Вот я прочел про остров Джерси в Иракском море.

— В ирландском! — вскричал Крафаилов и тут же схватил себя левой кистью за правое запястье и толчками пальцев отогиал кровь из опасного органа — кулака, которому порой несвойственна то-ле-рант-ность.

— Где джерси? — тихо, душевно, глубиино повторил он свой вопрос и глазами миссионера заглянул в ананьевские квасные бочаги.— Отвечайте мне, Агафон, по-человечески. Сплавили в Чердаки?

Вот злой «Карфаген» у Ипполита Аполлинариевича под боком — проклятые Чердаки: некогда было большое разбойное село, сейчас обычный райцеитр, с обычным, отнюдь не плохим, ничем не хуже пихтинского снабжеиием. Так нет, почему-то карфагеняне, то бишь чердаковцы, свято верили в то, что «физикам подбрасывают», и каждое утро от автобусной станции двигалась процессия с мешками за дефицитом. Хватали пластмассовых коией, по пять-шесть штук. В чем дело? Зачем? Лукавили: для деток, а сами точно и не зиали, зачем им лошади; может, гены жиганские пошаливали?

— Ипполит Аполлииариевич, вы меня знаете,— плакал уксусными слезами Агафон Аианьев и подбрасывал из портфеля на стол начальнику бумагу за бумагой, крупные листья с резолюциями, четвертушки коротких указаиий, дактилоскопические шедевры накладиых.— Вот вся документация перед вами, и душа моя, как этот портфель, чистая перед вами, за исключением умывальных прииадлежностей. Вы, Ипполит Аполлинарневич, помните, как польское мыло у нас пошло? Помните! А за истекший квартал подвоз был по части канцпринадлежностей ниже среднего. Я ему говорю: что же, Бескардонный, вы нас опять на лимит с полотеицами взяли, а ои мне анекдот про дирижабль рассказывает, как будто я не знаю, живя в научном центре. Вот получается, Ипполит Аполлииариевич, просишь гвозди, дают мыло, просишь доски, дают чай, но все-таки, врать не буду, автомобильные сидеиья у нас не затоварились, и дружелюбием, Ипполит Аполлииариевич, покупатель доволеи. Часто выходит со слезьми.

Таким образом, Агафон Ананьев полностью исчерпал вопрос об итальянском джерси и сразу успокоился.

— Эх, Агафон-Агафон, Агафон-Агафон-Агафон,— горько прошептал Крафаилов, растрепал предложенные бумаги и отвернулся в окно. За окиом иа ветке хвойного растения покачивался ворон Эриест одна тысяча четыреста семьдесят второго года рождения. Значит, и Августин где-то здесь рыщет, милый друг, все его любят, да и как не любить разумное существо?

Агафон Ананьев снова заплакал:

[1] Автор вновь выражает свое недоумение и опаску: для чего приехал Мемозов в Пихты и не посягает ли он на главное: на самую повесть, на Железку?

— Вы меня, Ипполит Аполлинариевич, подняли со дна жизни, вовек не забуду, обучили английскому языку. Да я ради «Ледовитого океана» ни жены, ни тещи не пожалею, а ради вас, Ипполит Аполлинариевич, что хотите... даже вот свой «сок и джем» не пожалею!

— Позвольте, Агафон, но фургончик не ваша собственность! Он принадлежит «Ледовитому», а следовательно, Министерству торговли, а далее — государству, народу!

Крафаилов даже встал и застыл со своей загипсованной рукой. Застыла и левая его рука в середине кругового объясняющего жеста.

Ананьев тоже встал и вытер слезы рукавом, все сразу. Обиженно поджав губы, он удалился в угол, рванул из кармана беломорину, смял в зубах. Не любил дружелюб, когда кололи ему глаза фургончиком, даже друзьям не прощал.

Неизвестно, сколько времени продолжалось бы молчание, если бы вдруг не открылась дверь и в кабинет не въехал бы заморский путешественник на жужжащем велосипеде.

— Навилатронгвакарапхеу,— приветствовал иностранец присутствующих на незнакомом языке «лихи».— Время убегает, господа негоцианты, а человечество ждет наших усилий, как сказал Марко Поло на приеме в Гуанчжоу.

Агафон Ананьев при виде иностранца преобразился, весь задрожал: «May I help you?» — и разлетелся с мокрыми вихрами и беломориной на манер дружелюба-полового из трактира «Тестофф», что на Рю де Риволи в самом конце. Иностранец же сел прямо на директорский стол и жестом показал, что в помощи не нуждается.

— Ну как, Мемозов, вы у нас здесь акклиматизируетесь? — с профессиональным дружелюбием, но без чувства спросил Крафаилов.

— Вполне,— ответил гость, полируя ногти директорским пресс-папье.— Вчера, например, по соседству в Чердаках купил себе джерси.

— Так,— твердо сказал Крафаилов и всю ненужную документацию смахнул в ящик, а ящик задвинул с треском.

— В Чердаках? — растерянно прищурился на Мемозова Агафон.

— В Чердаках!

— Джерси?

— Джерси!

— И почем же?

— По рублю!

— Ха-ха,— Ананьев ожил и очень запрезирал фальшивого иностранца.— Вы слышите, Ипполит Аполлинариевич, джерси купил по рублю!

— Чучело музейное, веник! — мягко обратился Мемозов к старшему дружелюбу, и обращением этим просто ошеломил Крафаилова: какое неожиданное и ослепляющее оскорбление — веник!

Войти и прямо с порога так метко оскорбить старшего дружелюба! Крафаилов даже замер, ожидая развития событий, но развития не последовало. Агафон усмехнулся на оскорбление и снова зауважал «иностранца».

— Скоро все будет стоить рубль,— сказал Мемозов Ананьеву.— Готовится реформа. Как так? А вот так — в экспериментальном порядке на месяц вводится система «один рубль». Дача с мансардой — один рубль, спичек коробок — тоже рубль. Понял, веник? Путевка за границу рубль, стакан воды — рубль. Дошло?

— Это точно? — Агафон даже рот открыл от недостатка воздуха: весь кислород в организме мгновенно закружился в ослепительной мозговой работе, превращая рубли в дачи и путевки, презрительно отметая спички и газировку.

— Такой проект,— уклончиво ответил Мемозов.— Новый компьютер вычислил для развития торговой инициативы.

— Так-так-так.— В глазах Ананьева запрыгали цифири, как на нью-йоркской фондовой бирже.— Значит, если у гражданина есть рубль, то он может и пол-литра скушать, и дачу купить?

— И дачу,— кивнул Мемозов.

— И с обстановкой?

— Можно и с обстановкой.

— Да ведь все же купят! — вскричал обеспокоенный новой мыслью дружелюб.— Что ж получится?

«Если все купят дачи с мансардами, какая в них будет радость? Да и хватит ли на всех?»

— Нет, ты не все усек, Агафоша,— сказал Мемозов, мощно спрыгнул со стола, загнал дружелюба в угол, прижал, подтянул ему черный галстук-регат со зловещей серебряной канителью, плюнув на ладонь, пригладил космы, вырвал из зубов беломорину.— Придется объяснить тебе принцип новых товарных отношений. У тебя один рубль, ты покупаешь дачу и ночуешь в ней, но утром тебе хочется съесть батон, а он тоже стоит один рубль. Тогда что ты делаешь? Отламываешь от дачи дверь и продаешь кому-нибудь за рубль, и теперь уже у тебя есть рубль для батона. Понял?

— Да ведь я за рубль всю булочную могу купить?! — в ужасе завопил прижатый в углу Ананьев.

Поистине адские бесконечные перспективы распахнулись вдруг перед ним.

— Можешь,— согласился Мемозов,— и покупай на здоровье, но если вечером тебе нужна бутылка пива или билет в кино, ты продаешь кому-нибудь или всю булочную, или один пряник. Понял?

Ананьев, сверкнув глазами, закричал дико и оглушительно:

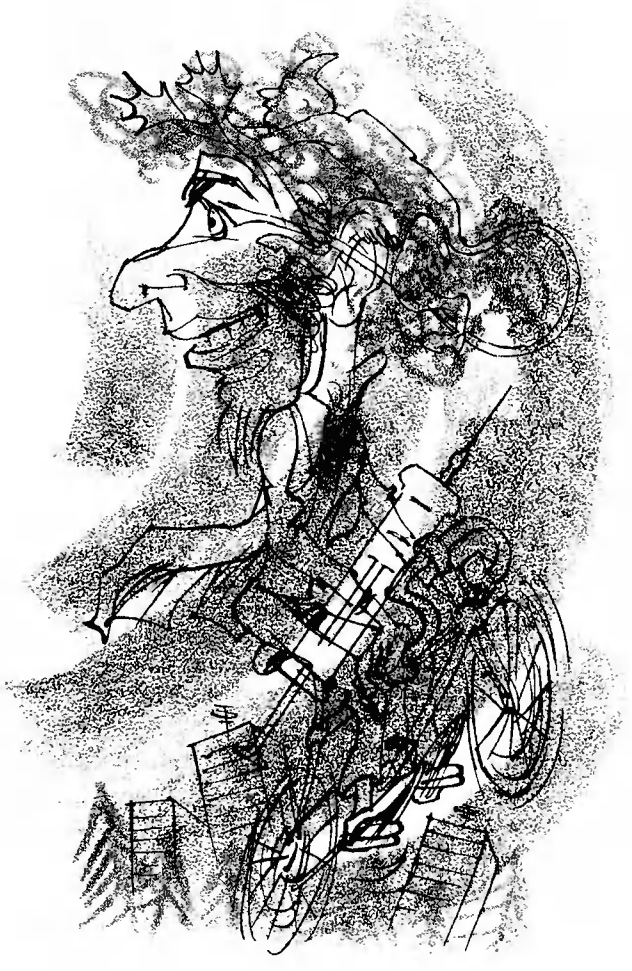
— Думаю!

Мемозов отпустил Ананьева, вновь прыгнул на стол, миниатюрным задком прямо на книги — Гете, Писарев, Дон Кихот,— причесался агафоновской расческой и дружески подмигнул Крафаилову: мы-то, мол, с вами понимаем законы черного юмора.

— Зачем вы так? — мягко спросил Крафаилов и кашлянул, чтобы заглушить щелчок магнитофона.

Музыка, одна только музыка своими гармониями вернет Агафона Ананьева к алтарю нормальной прогрессивной торговли, усмирит ретивый и неприятный пыл экзотического пришельца. Бах, Гендель, Скарлатти, на вас надежда.

Вот полилось, поплыло, закачалась ладья, взошел под медовой луной старинный парус с контурами креста — в спокойном величественном бездумии трогайся по медовой дорожке, и тебя обнимет воздух лагуны, и тяжесть, тревога за близких, за свое дело, и весь утиль неясных отношений останутся за кормой.



«Селяви»

Порой хочется стать птицей или птицеловом, что, по сути дела, одно и то же. Есть летние края птичьей свободы и летучие люди с маленьким, но крепким кодексом чести. Да, есть такие люди, которым и музыка не нужна — они и без музыки покачиваются в уплывающей лодочке. Казалось бы, они эгоисты и ни о ком постороннем не думают. Может быть, оно и так, но себя они держат в чистоте. Хотите, я расскажу о трех таких?

Однажды, я помню: душа моя ныла, как ссадина, ей было колко и липко, как ссадине под грубой и грязной тканью. Я миновал кольцо 23-го маршрута, прошел под стенами лесопилки, сквозь облако мелкой стружки и вышел на полотно железной дороги. Здесь вдоль забора стояли кучками мужчины, а на штабелях шпал лежало их имущество — алкоголь с луком. Ох, как заныла ссадина у меня внутри, и органы мгновенной судорогой шкрябнули друг о друга, когда я увидел эти фигуры темно-синих, темно-черных и темно-коричневых колеров, смазанные недавним дождем. Когда-нибудь на пустом этом зеленом заборе повесят веночек и выбьют надпись неокисляющейся латунью: «Здесь была добровольно расстреляна алкоголем группа лиц прошедшего времени».

Я поставил себя к зеленому забору в одну из слипшихся кучек, где, безусловно, витал крохотный ангелочек похмельного мужского объятия, и, содрогаясь, запрыгал через полотно к другому полюсу жизни — к лесопарку, в глубине коего женский голос пел итальянский романс из окон инфекционного отделения соседней больницы.

Недавно еще прошел мощный теплый ливень, и лесопарк дымился парнымн лужами, серебрился листвой, шутил мини-радугами. Я пошел по тропинке как посторонний и нелепый предмет в этой игре.

Затем я увидел малого, который сидел рядом с большой лужей, похожей очертаниямн на Апеннинский полуостров. Он привалился спиной к стволу лиственницы и спал, храня свой чуть покалеченный подбородок на обнаженной и крепкой, еще не заросшей колючей проволокой груди, украшенной к тому же цепочкой с простым пятаком.

Малый похрапывал, вытянув к дымящейся луже длинные ноги в хлипких джинсиках «мильтон», он был в лоскуты пьян, но пьян сладко, свободно и весело, и сон его был свободным и сладким, наипрекраснейший сон, позавидуешь. К тому же он был румян, лохмат и, несмотря на пьяный сон, весь на полном взводе.

Я постоял и посмотрел на него немного, а потом, борясь с легким стыдом, сел на другой стороне лужи и привалился спиной к другому дереву, кажется, клену. Ведь это на клене вырастают в середине лета эдакие прозрачные зеленоватые пропеллерочки, вот надо мной они висели и с них на меня падали капли.

Существо, которое спит блаженным сном, не знает ссадин, а уже покорябанное существо, которому ниспосылается такой сон, просыпается здоровым.

— Вот сука,— весело сказал парень.

Он проснулся и ощупывал теперь свою челюсть.

— Закурить есть? — спросил он меня.

Я бросил ему через лужу пачку, и он совсем повеселел, увидев верблюда и минареты, зачерпнул ладонью из лужи, умылся и закурил с полнейшим наслаждением.

— Селяви,— сказал он и пояснил мне:— Существует такая ослиная колбаса.

После этого он резко спружинил от дерева и встал на ноги, как акробат.

— Пока,— помахал он мне рукой и взялся удаляться среди мокрых деревь и луж, где прыгая, а где хлюпая прямо по воде.

— Ты куда сейчас? — крикнул я ему вслед.

— К бабе! — крикнул он, не оборачиваясь.

— А потом куда? — крикнул я.

Он гулко захохотал, прибавил шагу, замелькал разноцветными огурцами своей рубашки, но все-таки ответил:

— А потом в лопухи! В лопухи уйду. В лопухах ищи мой кудрявый, как у римлянина, затылок, в цитадели лопушного лопушизма, где листья словно шляпы, а репейник в серединках лилов, а по пери-фе-ри-и зеленые колючки, не всякий и пройдет туда ко мне, а я там лежу, на щите тепловой ямы закатными вечерами, и птиц ловлю, которые не прилетают, а если соберешься, без банки не приходи, иначе не услышишь урбанистической симфонии родного града!

В последний раз под размочаленной кединой вдрызг разлетелось зеркало лужи, и искры ослепили меня и долго падали, как салют, а потом то ли я заснул, то ли вылетел у меня из памяти промежуток жизни, но сразу же перед глазами возник жесткий белый снег сумасшедшего склона и мастер горнолыжного спорта Валерий Серебро, трюкач беспутной киногруппы «Отсюда — в пропасть».

У Валеры лицо жесткого красного цаета, и с этого лица за долгие спортивные годы встречным ветром удалено все лишнее, подрезаны скулы и щеки, стянуты в узелок корни мимических мышц, а глаза Валерины кажутся просто дырками в жесткое синее небо Третьего Чегета.

— Я так рассуждаю,— думал он в перерывах между дублями.— Я рассуждаю так: если у тебя боязнь высоты, сиди внизу с девочками, и пусть тебя дублирует тот, у кого боязнь равнины. Правильно я рассуждаю? Вот я расписываюсь в ведомости и получаю свои башли, по полста за съемочный день с шестью падениями. Всего выходит бешеная сумма. Жены нет, о детях ничего неизвестно — все внизу; есть много плюсов и минусов в тридцатипятилетнем возрасте. Я правильно рассуждаю? Есть тяга к литературе и воспоминание о туберкулезном плеврите, немало было и сердечных неудач, что даже облагораживает, я так рассуждаю. Теперь вопрос о постоянном местожительстве практически решен, когда на Третий Чегет наладили бугельный подъемник, а в Итколе есть койка на втором ярусе и даже точки милого времяпрепровождения в окрестностях горы. Мы помним время, когда пехом корячились наверх да еще с канистрами компота для метеослужбы. Временами кажется, что поговорка «Не место красит человека, а наоборот» немного устарела, молодые люди. Я так рассуждаю. Вот я заметил на личном примерс, как практически меняюсь в разных местах глобуса. Сейчас вот закончу съемки и, если не попаду в гипсовый скафандр, катану со своей бешеной суммой в город Питер, который бока повытер, а зачем — это ни для кого не секрет, и там я буду одним человеком, потому что вокруг изумительная архитектура. Затем у меня останется последняя трешка, и я нанимаюсь бобиком на Таймыр, и там я уже совсем другой человек, потому что вместо изумительной архитектуры вокруг плоская тундра с клюквой. Осенью, в дождях, в читальном зале Центральной библиотеки я уже снова другой человек, но вот покрепче, посуше стало в небе, и опять на последние рубли я добираюсь до Минвод и начинаю подниматься через Пятигорск, Тырныауз, Иткол, начинаю подъем к себе самому — на Третий Чегет... Сейчас они скомандуют «мотор», и я поеду вниз от себя, и дай мне Бог вернуться к себе через энное количество времени. Впрочем, это зависит от силы воли и игры случая, я так рассуждаю.

И вот, закончив свою мысль и получив команду, Валера скользит вниз мимо двух съемочных камер, легчайшими, как пух, христианиями меняет направление и уносится на дно Баксана, где ждут его два других аппарата.

— Вы куда летите, летучий лыжник, словно падучая звезда? — спрашивает автор сценария.

А он молчит.

— Вы куда, черт бы вас побрал, Серебро, катитесь, словно гонец заоблачного Марафона? — спрашивает его режиссер.

А он молчит.

— Пардон, месье, но вы куда несетесь на австрийских лыжах с крыльями снежными, как небесный шалун? — спрашивает старуха уборщица с международной турбазы Коллит.

А он молчит, потому что занят трассой.

Старуха пускается вслед за ним и несется, выставив из-под очков свеколку носа, шепча французские и итальянские добродушные проклятия, ибо кончилась трехдневная лыжная лафа и надо заступать на дежурство.

Я вспоминаю старуху уборщицу в коридоре турбазы. Она идет вслед за утробно жужжащим пылесосом и читает томик Фолкнера или какую-нибудь машинопись.

Однажды, когда турбаза угомонилась и немцы уже спели мощным хором свою «Лорелею», и все ночные перебежки закончились, старуха в ту ночь однажды сидела у дежурного стола, прикрыв веки, словно смазанные парафином, и шептала почти неслышно, но так, что по увядшей коже все-таки пробегали ручейки печали и стародавнего восторга:

О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя
сирень

Тебя — красавицу тринадцатого
года —
И твой безоблачный и равнодушный
день
Наимонили, а мне такого рода
Воспоминанье не к лицу. О тень!

Я в это время был в тени скульптурной формы, стоял и баюкал свою ссадину бесконечным курением. Лицо старухи было освещено, как в театре, и я поневоле его видел, хоть и не подсматривал, да и что мне было подсматривать за старухой лыжницей?

Сейчас, однако, я смотрел на ее лицо, не отрываясь. Черты комической старухи разгладились, и сквозь весь парафин я вдруг увидел даму белых ночей тринадцатого года.

Однако длился этот мираж мгновение, и вот уборщица уже скривилась в привычной гримасе пройдохи-старушенции, чудачки и вольного казака, и уже загудела себе под нос польский шлягер, вскочила и вытянула ногу в гимнастическом упражнении.

Перемена была мгновенной вовсе не потому, что она увидела меня, соглядатая. Нет, она вдруг испугалась, что отпустила узду, на минуту расслабилась, и дама белых ночей всплыла со дна и глянула на нее, нынешнюю. Вот чей взгляд ее испугал.

Она боялась не из-за горечи, просто с той ей было неудобно, она уже давно привыкла быть смешной старухой путешественницей. Месяц она работает в Сочи, потом нанимается на пароход, потом начинается Эльбрус, лыжи, потом какой-нибудь литфондовский дом, беседы с литераторами, теннисный корт. Швабра и пылесос спокойно и надежно ведут ее в странствиях и открывают все двери. Вот так и она борется за свою лодочку, за чистый и бездумный путь по медовой дорожке и плывет, и плывет все дальше от беспокойного стихотворения.

В конце концов гаси к черту свет, захлопывай окна и открывай двери — огромная ночь чистого и смелого одиночества ждет тебя.

Увы, мы другие люди, у нас у каждого свой «Ледовитый океан», свой пудель и странная жена, докучливые визитеры и тягостные сослуживцы, но есть у нас у каждого своя Железка, которой мы служим и не жалуемся.

— Комплектом! — вдруг дико вскричал Агафон Ананьев и подскочил к Мемозову, вздымая руки, с которых, казалось, летела вода волшебной ванны Архимеда.— Комплектом надо покупать, вот как! Эврика, товарищи, эврика!

— Поясните,— с развязной благожелательностью предложил Мемозов и принял совсем уже непринужденную позу, облокотился на плечо Крафаилова, откинулся, толчком пальца усилил божественную кантилену Моцарта — для комфорта.

Глаза Ананьева пылали мрачным вдохновением.

— Если я комплектом беру, все равно ведь рубль — верно? Значит, я прихожу и беру себе на рубль комплект — дачу и шпульку ниток, а когда мне надо пожрать, продаю шпульку ниток и покупаю себе комплект — банку икры плюс рожок для обуви. Понятно?

— А знаете, он у вас не лишен витаминчика,— сказал Мемозов в близкое ухо Крафаилова.

— Зачем вы так? — с горечью проговорил тот.

— Молодец, веник,— поаплодировал Мемозов и прищурился: — Но вот кому ж ты продашь свою шпульку, если покупателю тоже нужен комплект?

— А я... а я...— беспомощно забарахтался Агафон, чувствуя уже близость новой пучины.— А я никому не скажу. Я один знаю про комплект.

— Ошибаетесь, Меркурий,— холодно процедил Мемозов.— Знают уже трое — вы, ваш директор и, между прочим... я!

— А-а-а! — закричал дружелюб, схватил себя за вихры и вылетел из кабинета.

— Выпал в осадок,— самодовольно констатировал Мемозов.

— Зачем вы так? — Крафаилов осторожно ладонями старался отодвинуть от себя спину авангардиста и чувствовал под ладонями металл.

— Да к чему вам этот веник? — Мемозов вновь спрыгнул со стола и взлетел задиком на подоконник.— На свалку ему пора!

— Он мне дорог,— сухо возразил Крафаилов.— Я за него борюсь.

— Сожрут тебя, Крафаилов,— сказал Мемозов.— До свалки не дотянешь.

— Извольте не тыкать! — вскричал розовощекий и огромный мальчик-мускул и вскочил, забыв навыки современного дружелюбия и видя в Мемозове уже не покупателя, а непрошеного гостя, врага всего человеческого коллектива.— Извольте не тыкать и объясниться!

— Напрасно разорался, старик.— Мемозов надел на переносье черепаховое пенсне с далеким огоньком — высоковольтным предупреждением.— Из всех пихтинских замшелых гениев вы самый более-менее любопытный, и при соответствующей психоделнческой обработке вы можете получиться медиумом.

— Да вы! Да я! Да ты кто такой! Да я таких, как ты, на каждом углу!..— Все интеллектуальное, современное, вся суровая высота и высокая суровость Крафаилова кубарем укатились в глубину десятилетий, в картофельный пищеблок, к столу раздачи, вокруг которого в темноте поблескивали фиксы.— Ты меня трансформаторной будкой не пугай! Мы пуганые!

Мемозов вдруг извлек из подвздошной области миниатюрную дудочку и, прибавив к переливам кантилены пронзительный клич острова Бали, мгновенно усмирил директора.

— Спасибо и извините,— сказал директор, стыдясь.

— В качестве медиума вы будете служить прогрессу вневременных связей,— улыбнулся Мемозов и похлопал его по плечу.— Завидная доля даже для таких, как вы, пожирателей сердец.

— Что? простите? Как вы назвали мою категорию? — совершенно растерялся Крафаилов.

— Пожиратели сердец, иначе и не назовешь! — весело крикнул Мемозов.— Вот такие, как вы, молочно-розовые гладиолусы, внешне инертные к призывам пола, на деле и воплощают в себе все идеалы донжуанизма. Пресловутый сатир Морзицер, конечно, все воображаст, что пленил вашу благоверную... вздор, нонсенс! — этим псевдочувством она спасается от отчаяния, ибо видит, что и Лу Морковникова, внешне крутя шашни с Самсиком Саблером, лелеет мечту — она сама мне не раз намекала... и тианственная Маргаритка и даже мадам Натали... вы знаете тип этих ярких дам на грани пропасти, они ищут свой, последний шанс, и этот шанс — вы, вы, Аполлинарьич, посмотрите на себя в профиль и поймите!

Потрясенный Крафаилов смотрел на свой профиль в специальное боковое зеркало, извлеченное Мемозовым из велосипедного кармана. Что же это — Натали... псевдочувство... гладиолус... последний шанс?

Тут появилась на пороге внушительная дама в костюме, похожем на маскировочный комбинезон. Пышные волосы ее струились по плечам, она была весела и спокойна и отнюдь не смущена своим диким костюмом, а, напротив, чувствовала себя в нем уютно и мило, как чувствуст себя, должно быть, Диор в своем доме. В сильной руке незнакомка несла болгарскую сигарету «Фемина».

— Я извиняюсь, мне бы товарища Крафаилова побеспокоить.

— Видишь? — жарко шепнул Мемозов Крафаилову через зеркало в ухо.— Еще одна жертва. Итак, вы медиум. Договорились?

— Мне бы, товарищ Крафаилов, приобрести бы у вас десяток-полтора пластмассовых вазочек и пару-тройку художественных картин для буфета. Не возражаете? — пропела дама и прошла к столу, играя кудрями.

«О сладостная!» — в ужасе подумал Крафаилов, впервые так подумал о женщине и умоляюще взглянул на недостойного Мемозова: «Друг, не уходи!»

— Ну, не буду вам мешать! Ищите общий язык. Адью! — жутко подмигивая обоими глазами, кашляя, хмыкая, намекая на что-то и головой и руками, Мемозов сел на велосипед и уехал из кабинета.

Все было тихо, выезжал два раза Феб в своей коляске, но вдруг возник девятый вал зловещей масляной окраски, как Айвазовский написал, а он при всей своей закваске из масла воду выжимал весьма умело, без опаски, вообще был славный адмирал.

И вдруг, уже в прозе, не в сибирских небесах, а в кабинете шефа-вдохновителя, зазвонил междугородный телефон.

— Пихты? Поговорите с Копенгагеном.

«Ага,— подумал В-С.— Нервничаешь, старая кочерыга?»

— Гутен абенд, Эразм Теофилович,— благоговейно по привычке ответил В-С, хотя кашель ему не понравился.

— Кашляю,— пояснил Громсон.

— Слышу, Эразм Теофилыч.

— Несколько вчера перебрал. Тигли распаялись.

— Чувствую, Эразм Теофилыч.

— Как вэттер? Морозы, снег, жуть? — поинтересовался Громсон.

— Пока не жуть, Эразм Теофилович, но на горизонте жуть.

— Напоминаю, Великий-Салазкин, вы меня на морозы приглашали.

— Ждем, гросс-профессор, и вас, и морозов. ПрОгноз страшный.

Вслед за этим последовало молчание, долгое и смущенное, в котором без всяких помех со стороны магнитных сфер слышалось копенгагенское покашливание, шепот «цуум тоойфеель, Мари, пошель к шорту», бульканье копенгагенской воды, шорох теплого скагеррakского ветра вокруг позеленевшей от каттегатской сырости маленькой статуи на круглой площаденке под окнами Громсона.

«Да ну, хватит уже жилы тянуть и себе, и мне,— думал, волнуясь, В-С,— спрашивай, Теофилыч, не чинись. Ну, обскакали мы тебя, ну ничего, у нас ведь могучая красавица Железка, а у тебя чего — кухня ведьмы. Ну ничего, Теофилыч, ведь не для себя же живем, для блага же общего гуманоуса,— думал он,— спрашивай же, Теофилыч».

— Тут мне Кроллинг говорил, вы там чего-то затеяли, какую-то работенку, хе-хе,— небрежно, как бы что-то прихлебывая, заговорил Громсон,— я сейчас вспомнил вот по странной ассоциации: вошел мой кот с крысой в зубах — брысь, Барбаросса! — и я как раз вспомнил. Плазмы, что ли, заварили горшок или твердое тело катаете?

— Да нет, Эразм Теофилович, кой-чего похлеще,— глуша торжествующие нотки, проговорил Великий-Салазкин,— мы тут диких мЕзонов тАбун загнали в «Выхухоль».

— Ага! — захохотал Громсон.— А знаете, кто такие эти мезоны?

— Не знаю, гросс-профессор. Кто ж знает?

— Это черти, милый друг! Самые обыкновенные чертенята, с рожками и хвостиками! Недаром, недаром мудрые схоласты спорили о кончике иглы. Вот так, В-С, чертей вы загнали в «Выхухоль», серой там у вас пахнуть должно, адским мышьяком! — он вдруг захлебнулся никотинным кашлем, а потом, после короткой, но полной значения межконтинентальной паузы тихо спросил: — Маршируют?

— Маршируют, Эразм Теофилович,— сухо ответил Великий-Салазкин, задетый, конечно, за живое бестактным напоминанием о сере и мышьяке.

— Так я и думал,— проговорил Громсон.— Потом плясать начнут. Есть надежда на встречу с известной особой?

— Надеемся,— хмуро ответил Великий-Салазкин.

— Значит, звоните, если запляшут, а я сейчас гороскоп составлю на долгожданную персону. Как морозы стукнут, звоните! Брысь, Барбаросса! Пошел к шорту, Мари! О, Агнесс, майн либе медхен, вы пришли наконец, я вызвал вас вот этими кореньями! Бай-бай, Великий-Салазкин!

Великий-Салазкин повесил трубку с мрачным жеванием губ, с дерганьем бороденки, пошел к окну для того, чтобы погрустить.

В окне, застывший на полнеба, висел над Пихтами девятый вал; в сумраке, созданном им, тихо светились оранжевые трубочки фонарей; вдоль улицы Гей-Люссака к Железке ехал велосипедист с автомобильной фарой; а ближе всего к БУРОЛЯПу стояло огромное хвойное растение, у подножия которого сидели две пихтинские собаки-друзья пудель Августин и сенбернар Селиванов, а над ними на ветке покачивалась их птица-друг ворон Эрнест, а еще ближе возле самого окна покачивалась на ветке безымянная белочка, по-английски сквиррел.

Вот, стал думать Великий-Салазкин, мы надеемся на встречу, а старая кочерыга уже встретился, хоть и не с Дабль-фью, а с какой-то там Агнесс. У него поиски идут в другом направлении, он применяет испытанное лекарство против очередного приступа смерти. В столетнем возрасте сколько же накопилось геройства! По крайней мере вот уже лет двадцать ежедневного геройства, столько силы воли, чтобы не прислушиваться к шороху атеросклероза. Впрочем, так ли? Быть может, юноше-легкоатлету бывает иногда и хуже, чем старцу или больному, ведь его вдруг среди ночи может оглушить мысль, что и он умрет, и время вдруг сплющится так страшно и так сильно, как бывает только в юности. Ты вспомни, как ты умирал и много ли было геройства.

Сквиррел

Я умирал от полного расстройства как гладкой, так и поперечно-полосатой мускулатуры, а в небе в овальном окне среди хвойной пушнины покачивалась белочка, по-английски сквиррел.

Сквиррел, сквир-р, скви-и...— очень точный звуковой эквивалеит, слово древнего происхождения. Белка, белочка — это ласкательное скольжение снаружи по нежному пуху. Сквиррел — внутренний звук, заявка на жизнь беззащитной маленькой твари.

Я умирал ежедневно и все время смотрел на свою сквиррел и однажды увидел любопытную, иначе и не назовешь, картину. Сквиррел сидела у меня на груди и ела мое горло. Боли я не ощущал, но отлично видел происходящее как бы со стороны. Тогда из-за долгого лежания в больнице со своим умиранием я уже неплохо стал знать анатомию и видел, как сквиррел мелкими укусами снимает кожу и апоневрозисы, как оголяется гортанный хрящ, а рядом пульсирует толстая артерия.

Вот она, милая моя, ласковая, пушистая сквиррел, думал я, сейчас она куснет артерию, и тогда я весь выльюсь на простынь и отпаду. Я думал об этом спокойно и даже с некоторым лукавством — выльюсь и отпаду. Было ли это геройством?

Я даже перестал обращать внимание на тихо копошащегося грызуна, и другое размышление овладело мной.

Я отпаду, а другие уйдут дальше. Это ведь выглядит так, а не иначе?

Я вспомнил, как однажды в потоке машин поворачивал с улицы Горького на бульвар и проехал мимо дома, где ранее жил умерший товарищ. Именно это чувство всегда присутствовало во мне: он отпал, бедный мой друг, а мы ушли вперед. Не так ли? И вдруг при виде дома с широкими окнами, с толстым стеклом, витой решеткой балкона и кафельной плиткой меня пронзило совершенно новое ощущение — а вдруг это он нас всех опередил, он ушел вперед, а мы — на месте?

Вот это ощущение и страх перед рывком вперед в одиночестве, без товарищей, как ни странно, заставили меня стряхнуть с груди малышку сквиррел и сильным движением ладони привести в порядок свою гортань.

Великий-Салазкин ерзал взглядом по неподвижному небу, по веткам пихт, по окнам лабораторий, вглядывался в таинственное излучение корпуса «Выхухоли», похожего на гигантскую радиолампу.

Если всерьез, думал он, то никакие мы не герои из-за того, что живем, хлеб жуем и преодолеваем, как танки, переползаем наш страх, а может быть, мы герои, когда что-нибудь очень остро, стремительно и слепяще чувствуем, или тогда, когда мы служим своей Железке и верно любим ее, если всерьез...

Если всерьез, то я за себя нынче почти уже не боюсь, продолжал думать Великий-Салазкин. Теперь, когда позади уже все мое молодое, я за себя почти уже не боюсь. Есть ребята, которые дрожат за свое старое, я почти не дрожу.

Я боюсь за свою руку, которая пишет, берет телефонную трубку и делает в воздухе жест, поясняющий мысль, так продолжал свое мышление профессор Великий-Салазкин.

Боюсь также за свой котелок с ушами, как выражаются киты. Боюсь — почему? А потому, что это солидное подспорье для современной электроники, если всерьез. Кроме того, эта штука помогает мне коротать одинокость — она занятна. А если уж совсем всерьез, то сам перед собой я могу признаться: церебрус мой служит Им, то есть в первую очередь населению одной шестой части земной суши, а также и другим пяти шестым и моим китам, и нашей золотой Железке, если всерьез.

Я боюсь немного и за свою соединительно-разделительную черточку, за свой любимый дефис, который мне помогает быть самим собой, но он-то никуда не денется, покуда у меня есть руки и голова.

А за свое кучерявое «эго» я почти уже не боюсь, но это вовсе не геройство. Вот, старичок, живи разумно и честно, говорит мне моя голова, а рука дополняет эту простую

мысль жестом, который означает «небоязнь». Это — если всерьез.

Вдруг телефонный звонок, на этот раз внутренний, прервал размышления академика.

— Бон суар, покровитель, доктор Перикл! Говорит Мемозов! Прохожу через вахту, встречая слабое сопротивление заслуженного артиста Петролобова. Эй, осторожнее, Карузо!

И сразу же после этих слов распахнулись двери, и в святая святых въехал автор звонка из проходной. Непостижимая проходная способность у этих москвичей!

— Чао! Чао, Цезарь, прошедшие сквозь проходную приветствуют тебя! Ну что, корифей, все о своих белочках думаете, о форме существования белковых тел? Плюньте! Поздравляю! Над городом висит девятый вал! Да, вот еще новость — ваша возлюбленная влюбилась в двух, а то и в трех мужчин, но об этом после. Сейчас я хотел бы выразить вам свою признательность, давно собирался, мне кажется, что здесь, в вашем заповеднике, я обрету наконец душевный покой. Вот видите, академик, я не с пустыми руками явился на командный мостик...— Мемозов чиркнул «молнией» на заднице, извлек и торжественно поставил на конференц-стол четвертинку перцовой водки, чиркнул второй «молнией» и извлек слегка расплющенный сырок.— Ну вот, прошу!

Великий-Салазкин при виде четвертинки и сырка умилился и похлопал в ладони: фортель был не нов, но выполнен изящно.

Академика с Мемозовым столкнул случай, иначе не скажешь. Однажды выскочил В-С из подземного перехода на Беговой и вдруг на него из проходящего троллейбуса вывалился человек — Мемозов. В другой раз ночью В-С гулял себя от товарища по Третьей Мещанской, вдруг видит — в высоте прокручивается как бы человек вроде паука и мгновение спустя начинает падать; опять Мемозов. В третий раз В-С, напевая себе в нос настроение, утром направляя себя просто так по Усиевича, услышал выстрел и, мигом придя на помощь на восьмой этаж, увидел на тахте плачущий лицом в подушку труп, а на стене висящую, еще с дымком из обоих стволов двустволку «Тула». Опять Мемозов!

Тогда заметил академик незаурядность персоны и деликатное внес предложение о переселении в таежную крепость для создания внутреннего климата — ну, юмор, шутка, интеллектуальная игра, ну, вроде душа после работы. Приглашение было благосклонно принято. Но, увы — злополучная реплика Мемозова по адресу Железки — «В утиль!» — «китам» не понравилась, и Великий-Салазкин стал уже сомневаться в успехе своего протеже: «киты» обычно хулителей своей Железочки клеймили раз и навсегда — «серяк, духовно неразвитый тип». Нельзя так резко, увещевал их Великий-Салазкин, иные люди могут заблуждать себя, чтобы потом просветляться втрое.

— Вот скажите, дорогой Мемозов,— мягко и осторожно спросил он, катая перцовку по столу зеркального дуба,— вот сейчас вы шли по нашей Железочке и... и как? Ничего себе, а? Прониклись?

— Тьфу! Зола! При чем тут Железка! — воскликнул Мемозов.— Стоит, скрипит, чего ей сделается? Главное, Конфуций, создать среди населения особый, насыщенный флюидами беды, пересеченный страшными импульсами разлада климат. Все уже готово, атмосфера сгущается, теперь нужеи только режиссер. Эге, мы попробуем разбудить ваше болото!

— Да что готово? Какая атмосфера? — поморщился Великий-Салазкин. Нет, не проникся протеже, «киты» правы — фигура заурядная.

— Вы ничего не знаете? — зашептал Мемозов, оглядываясь, хотя прекрасно было видно, что в огромном куполе никого не было, но так уж полагалось, шепчешь — оглядывайся.— Формируется прелюбопытнейшая молекула, мой Аристотель. Лу Морковникова пьет «чай вдвоем», и Самсик Саблер играет эту же тему. Усекаете? Эрик ходит смурной, а по нему грустит хозяйка янтарного ларца. Сечешь? В нее по самые рожки вляпался ваш местный сатир, а к нему неравнодушна многодетная Афродита, но все-таки оставляет уголочек и для вдохновенного Китоусика, а тот — сечете? — готов забыть свою тианственную, но не знает, что та пульсирует интересом к венцу природы Слону и тот готов — усекаете? — ответить взаимностью, но не знает, что и наш Меркурий-Крафаильчик не оставлен без внимания, и, кроме того, в городе появилась новая дама — само совершенство!

«Фу»,— подумал Великий-Салазкин и вслух сказал:

— Фу! Да что плетете, Мемозов? Я вас держал за интересный страдающий индИвид, а вы... И спрячьте вашу чекушку-то, ей-ей, не смешно...

— Смешно, смешно, Периклус, очень смешно. Хотя бы потому, что и вы не остались за бортом, Терентий Аполлинариевич. Предмет ваших платонических — ну-ну, не удивляйтесь, такие загадки для Мемозова семечки — предмет ваш настроен более серьезно, чем вы. Надоели мне эти сорокалетние мальчики, сказала она мне однажды вчера, в них нет ничего мужского. Вот наш шеф — настоящая фигура, несмотря на неброскую внешность. Я еще когда разливала газированную воду...

— Ни слова дальше! — В-С воскликнул вдруг с интонацией гвардейского офицера и побежал к окну.— Неужели, неужели? — опять сел к столу.— Плесни-ка перцовой, Мемозов! — обратно к окну.— Вдруг она явится? — и остановился у окна. О Дабль-фью в сосцах у Матери Железки!

— Не могу молчать, великий Ларошфуко, потому что вы мне дороги, но не как покровитель, а как медиум,— забормотал еще жарче и быстрее Мемозов.— Вы медиум, понимаете?

Девятый вал за окном уже налился, как гигантский волдырь, и розовым отсвечивал в расширенных глазах авангардиста.

— Я медиум? — без особого удивления спросил академик и прикрыл глаза.

Он вовремя прикрыл, ибо именно в этот момент гигантский дубовый стол словно под действием эффекта Пантеи сделал полный оборот, и в углу за спиной Мемозова возникли неясные очертания чего-то одушевленного.

— Куда пропал мой консервный ножик? — услышал или, вернее, почувствовал Великий-Салазкин добродушную мысль какой-то близкой ему и приятной структуры.

Открыл глаза. Пусто, темно. Мемозов слинял, прихватив невыпитую четвертинку. О сентябрь! о слезы!

Вот налетело, закружилось, потом обрушилось — снежная лава, снежный пепел, снежный вулкан, но таежная Помпея лишь крякала, ухала, хлопала себя по заду, приседала, драпала и снова вылезала из-за горы с ироническим комплиментом — вот дает погода свежести!

Все шло своим чередом, все службы функционировали нормально, и лишь повествование наше съехало с накатанных рельсов и в вихрях затянувшегося циклона понеслось по ухабам, по снеговоротам, то улетая в слепые дали, то возвращаясь на круги своя аки гигантское перекати-поле.

В тот вечер, еще осенний, за час до падения девятого вала, друзья вышли из Железки и в странном молчании, отягощенные свеженькими секретами, пошли по Ломоносовскому Лучу к Треугольнику Пифагора, на задах которого, чуть-чуть нахально заезжая на гипотенузу, стоял буфет-времяночка «Мертвый якорь» с необходимым для мужского разговора атрибутом — бочками, стоячками, шваброй, ползающей по ногам, с плакатами против пьянства и курения, которых, правда, хвала аллаху, из-за дыма не видать.

— Я знаю, почему тебя волнует цапля. Ты ищешь то, что до сих пор не нашел,— сказал Вадим.

— Да ведь и ты тоже ищешь неуловимое,— сказал Павел.

— В нас много общего, но есть и различия, иначе бы...

— Что иначе?

— Да ничего.

— Я с тобой согласен, есть много разного, но поиск нас сближает.

— Что ж, нас тут сотни, и каждый ищет свое. Для этого и Железку построили, слава Ей!

— Э, нет, Железку ты не трогай. Это наша мать.

— Но мы же все-таки сами ее сделали.

— Мы сделали ее так же, как дети делают матерей. Разве плод, зарождаясь, не делает из женщины мать?

С порога на друзей смотрела, улыбаясь, милая внушительная дама.

— А вы как считаете, мадам? Вы с ним согласны?

— Эх, мальчики, я бездетная.

На седьмые сутки бурана Серафима Игнатьевна заперла буфет и решила отправиться на поиски шофера Телескопо-

ва. Таков, она полагала, ее долг, дефицитный баланс на всю жизнь.

— Хотите, я с вами пойду, Серафимочка? — предложил помощь столовский саксофонист Самсик Саблер.

Он сидел, свесив юнкерские ноги, у бывшей стойки бывшего бара, ныне буфетного прилавка, и, ей-ей, его унылому петербургскому носу в «Волне» было уютнее, чем в интеллектуальном кафе, потому что, хоть и представлял Саблер иноземный вид искусства, отечественные формы в лице Серафимочки были ему милее.

— Да ну, сидите уж, Самсон Аполлинариевич. Что с вас толку? Одна дудка.

Он вздохнул.

Когда-то, во второй половине пятидесятых, он был кумиром Фонтанки от Летнего сада до Чернышева моста и даже с улицы Рубинштейна прибегали послушать, когда он играл излюбленный минорный боп.

Славой своей он совсем не пользовался, с утра съедал полпачки пельменей, вторую половину носил с собой в футлярс сакса, чтобы при случае где-нибудь заварить или съесть живьем. Вдруг его «открыла» компания Слона. Да ведь Самс гениален, ребята! Гений! Гений! Играет джаз с русским акцентом! Прислушайтесь, набат гудит, град Китеж всплывает! Душа Раскольникова рвется пополам!

Самсик гениальность свою принял запросто — ну, гений так гений, почему же нет? Гулял по Невскому, особенно от бронзовых лошадок не удалялся, выглядывал свою яркорыжую подружку Соню, ругал ее встречным знакомым, говорил про нее все, что знает, потом бежал на вечер секции моржей Технологического института и там через дудку самовыражался, публично страдал. Денег гениальность не прибавила ни на йоту.

Однажды приехал американский тенорист Феликс Коровин, профессор бопа. Его повели на Самсика, чтобы потрясти. Удалось. Потрясенный Коровин обещал прислать фонтанскому чудо-дую со своим другом-моряком запасной сакс, на котором когда-то, будучи у него на выпивоне, шутки ради играла несравненная «Птица» — Чарли Паркер, отец бопа.

Долго ждал Самсик моряка, год или два, не дождался. Отправился тогда в Новороссийск, стал там ждать, играл в ресторации «Бесса ме мучо», потом через пару лет с кем-то поссорился, уехал в Мурманск, ждал там, не дождался и не разбогател, заметьте, совсем-совсем не разбогател, и уехал в итоге на Дальний Восток, стал там ждать в каком-то маленьком портике, куда и пароходы-то заходили только в четверг, к ночи. Там Самсик играл «Глухарей», подрабатывал на ударнике, пел «В березку был тот клен влюблен». Там Самсик совсем уже не разбогател, а, напротив, получил год за какой-то необоснованный поступок.

Этот свой год Самсик работал в некотором отдалении от синего моря и бухты, в которую как раз прибыл для спасения от бури грязный либерийский угольщик, где в твиндеке бесшумно отдыхал тот самый моряк, друг Феликса Коровина.

Еще через несколько лет, уже с панамского керосиновоза, Самсик получил долгожданный паркеровский сакс, поцеловал его и играл в буфете в память «Птицы», был уволен и начал миграцию на Запад, в родные края.

Постепенно он приближался. Пару лет играл в Хабаровске в кинотеатре попурри и короткие сюиты, годик еще в Иркутске, а оттуда закатился в Зимоярск, где уж совсем-совсем не разбогател и был найден другом фонтанной юности доктором наук Павлом Аполлинариевичем Слоном.

Высокая луна

Эх, милая девочка моя, да ведь это же для тебя, для тебя, для тебя, так высоко, высоко, высоко забралась луна!

Вот ты сейчас сидишь передо мной за пиршественным столом, такая спокойная, такая уверенная в себе... такая научная леди, спокойная и холодная, немного усталая, усталая красавица, ничем тебя не проймешь, но вдруг какой-то поворот головы — и мгновенный ветер скользнул по зеркалу, и сквозь мгновенную рябь проглянула та девочка с шалыми и неуверенными глазами, та, что бежала когда-то, засунув кулаки в карманы курточки, мелькала вдоль садовых решеток и застывала в тени колонны, стены, ниши, подворотни, развесив рыжие патлы, словно Марина Влади.

Ты помнишь, как в нашей бухте сонной спала зеленая вода? Помнишь, как по Фонтанке, под этими горбатыми мостами проплыла колдунья с шестом? Да, это для нее и для тебя сейчас так высоко, высоко, высоко забралась луна!

А помнишь, милая, все эти побеги с лекций над огромной тяжелой водой... ты помнишь, там вдалеке, за мостом лейтенанта Шмидта, стоял атомный ледокол, а мы бежали, не помня себя, со свистом по Литейному на неореализм... ведь мы смотрели с тобой раз пять, не меньше, «Рим в одиннадцать» и долго после делили наши сигареты, как Раф Валлоне и Лючия Бозе...

Что? Это было не с тобой, ты говоришь? Ты говоришь, я тебя с кем-то путаю? Я поднабрался, ты говоришь? Все равно это для тебя так высоко, высоко, высоко стоит нынче луна!

Когда ударил девятый вал, двое по-летнему раскованных людей встретили его стойко, проще сказать — даже и не заметили. Академик Морковников и шофер таксомотора «Лебедь» Телескопов стояли перед багровой, катастрофической, как вечный город Рим, витриной художественного салона и увлеченно беседовали.

— Я тебе, Эрик, так скажу: жизнь моя в тот момент катилась, словно сплошное шикарное карузо.

— Вова, ты любил тогда? Тебя обманывали? Кто-нибудь терял из-за тебя голову?

Горящие витрины в этот момент олицетворяли гибель далекой цивилизации, а в воздухе, словно кленовый листик, порхала перфокарта с очередным опусом

№ 105

Волшебный Крым! Там в стары годы,
Как ныне, впрочем, как всегда,
Сквозь миндали неслись удоды,
Сквозь пальцы уплывали годы,
И Поженян, как друг природы,
Взывал: гори, моя звезда!
И провожали пароходы
Совсем не так, как поезда.

. . . . . .

В разгаре пиршества (традиционное в Пихтах пиршество «под ураган») Наталью вдруг разрезала поперек почечная колика. Вторая! Первая случилась полгода назад и при самых неподходящих обстоятельствах. Она так была пронзительна, так требовала себе все тело, что можно было возненавидеть соперника боли с его шершавыми руками и сухим ртом, горячечным шепотом и острыми локтями, так нелепо прищемившими ее волосы, волосы боли.

Теперь налетела вторая и заставила вспомиить первую, которая так до странности легко забылась. Вторая звенела по линии разреза, и обе половинки разрезанного тела были уже чужими и причиняли муку, когда пытались соединиться. Верхняя часть тела мучила нижнюю, и та не оставалась в долгу.

Дурачье, что вы так смотрите друг на дружку и на меня в том числе с романтической грустью? Повлюблялись все на старости лет, разнежились, дебилы, не тронутые болью...

Она уже и думать забыла, как за мииуту до боли ей было грустно и тревожно, словно в молодости, как забавлял и тревожил ее Китоус, меланхолично, словно в молодости, наигрывающий на пианино. Как волновал ее Слон, курящий трубку и синим глазом поглядывающий поверх стакана, как жалко ей было Кимчика Морзицера, прямо хоть рубашку ему стирай, такой милый и странный, и все наши мальчики сегодня такие милые и странные, седина в бороду, бес в голову, какое милое и грустное пиршество...— все это она сразу же забыла, ушла в темную комнату и повалилась на тахту, и боль стала раскатывать обе половинки ее тела, а потом от сверкающего раскаленного среза полетели молнии, пересеклись, и боль захватила уже все, всем овладела, кроме какого-то неведомого периферийного уголка, где жертва еще держала оборону, а потому не стонала.

Поют!

...На позиции девушка провожала бойца, темной ночью простилася на ступеньках крыльца...

...Ночь темна, в небесах светит луна, как усталый солдат дремлет войиа...

...Был озабочен очень воздушный наш народ, к нам не вернулся ночью с бомбежки самолет...

...Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая чья-то рука...

...Темная ночь, только пули свистят по степи...

...Ночь над Белградом тихая встала на смену дня... Помнишь, как ярко вспыхивал яростный шквал огня?..

Ночь, фронт, напряженные аккумуляторы, юноши в ночи, ночные песни фронта, ночь — сестра милосердия, единственная любовница, возьми мой штык в свою прохладную ладонь. Помните, ребята, ночные песни старших братьев летели к нам в тыловую периферию, в мякинные будни иждивенческого пайка?

В разгаре снежной бури, среди свиста, ледового ветра, шороха ужаснейших змей, неродных, неядовитых, нетропических, но извивающихся на полкилометра по насту, среди треска многострадальных пихт одессит-африканец Уфуа-Буали услышал далекий рокот тамтама.

Он приподнялся в кресле и вперился карими шоколадками в экран. Так и застыл он в недоступной европейцу позе. Неужели, неужели?..

Мезоны на внутренней площади «Выхухоли» по-прежнему с неослабевающей ретивостью маршировали по разноцветной мозаике, старались казаться неунывающими бравыми ребятами, которые и понятия не имеют ни о какой «Выхухоли», ни о какой там еще «Барракуде», а просто вот маршируют по своему неотложному военному делу, но...

Но на задах площади глухо-глухо, словно спросонья, заговорил тамтам... Какое счастье для всей мировой науки, что за дежурным пультом оказался африканец! Только он смог вовремя включить соответствующую аппаратуру и зафиксировать редчайшее явление «Пляски диких мезонов», известную теперь под названием эффекта Уфуа-Буали.

Да что там слава, что там эффект?! Об этом ли юный аспирант думал! Восторг перед очередным чудом микрокосмоса, восхищение гением старших товарищей по науке, расчетами и находками Великого-Салазкина, предсказаниями живой легенды Эразма Громсона, восторг и восхищение охватили Уфуа, а те, кто скажет, что это тавтология, глубоко не правы: восторг и восхищение — совершенно разные чувства.

Удары тамтама становились отчетливыми, и ритм стремительно учащался. Мезоны вначале как бы не обращали внимания на посторонний звук, надутые и важные, словно гвардейцы Фридриха Великого, они продолжали свою шагистику, но вдруг — о чье же сердце устоит перед любовным биением ладони по тамтаму!.. любовная песня озера Чад, до берегов заполненного жизнью,— но вдруг центральное каре распалось и закружилось в безумном танце! Вскоре и весь уже экран плясал, подпрыгивал, кружился, забыв о прусской дисциплине, словно ее и не было никогда.

Уфуа танцевал вместе с мезонами — ведь танец этот предвещал с вероятностью $N - 1^{1090000}$ явление божественной Дабль-фью.

О знойная любимая родиина, сколько нежной прохлады, сколько сочности, свежести, мирности, вольности сулит тебе Дабль-фью, эта черная, конечно же, черная, как Иисус, красавица с налитыми и торчащими маммариями, с девичьим перехватом над гладким, как крыша ситроена, животом, с долгими щедротами бедер!

Уфуа побежал, побежал, побежал по подземным тоннелям родной и ему, африканцу, Железки, стремительно, как Аббэбэ Бикила, устремился в сектор отдыха.

Там слышались короткие стуки, хохот: ученые гоняли твердое тело — бильярд.

— Эй, мальчики! — вскричал ои с порога.— Топайте все за мной, и вы будете иметь чего-нибудь интересненького!

Первый заряд урагана, снежная спираль ударила по тротуару в окрестностях худсалона «Угрюм-река» и закружила двух увлеченных беседою мужчин, Эрнеста Морковникова и Володю Телескопова. Ни тот, ни другой беседы, коиечно, не прервали и только удивлялись порой, куда же уплывает собеседник и куда, собственно говоря, улетела шляпа «Олд Бонд стрит» и куда, между нами говоря, сквозанул кепарик «Восход»?

— Вова, Вова, жизиь коротка, а музыка прекрасна!

— Согласен, Эрик!

— Вова, обратите внимание, вот почтовая открытка, выпущеиная секцией по террациду. Вы видите, в центре я. Идет коктейль, посвященный борьбе с ДДТ.

— Карузо!

— Открытка обнаружена мной в сегодняшней почте, Вова. Текст гласит: «Забудь, все забудь! Я никому тебя не отдам. Домой не возвращайся». Подписи нет.

— Почерк бабий.

— Йес! Индид! Что вы скажете, Вова?

— Слушай, Эрик. я сам на геликоне лабал и получал ректификат для инструмента, но в Крыму было лучше. Знаешь, Эрик, мне таджик один говорил — что проел, что прогулял, не жалей, а то на пользу не пойдет, а в Крыму тем временем жизнь катилась — как карузо, с брызгами...

— Эх, Вова!

В тот час за минуту до урагана Серафима Игнатьевна, завитая, напудренная и с бисером на груди и, конечно же, в джерси, шла вдоль главной улицы Пихт под огненными витринами. Вот чудо: витрины нового града горели перед девятым валом, словно закат Европы, словно далекий привет катастрофного стиля Сецессио.

— Да вот, чего же искать,— сказал Вадим Павлушс,— посмотри, какая идет восхитительная мадам в тропическом огне зеленого джерси!

— В трагическом огне зеленого джерси,— подхватил Слон, притормаживая.— Послушай: далеко у озера Чад изысканный бродит джерси.

— Ах, мальчики, уважаемые профессора,— сказала с улыбкой Серафима Игнатьевна.— Долгие годы я провела в глуши и потому мне все сейчас интересно.

Борщов щипал щупальцами щемящие щиколотки, умоляюще щепотью нашептывал в телефонище.

— Зачем вы, Ким Аполлинариевич, вышли из актива? У нас в столовой и культурный дОсуг будет — и потанцевать мОлодежь сможет, и в шашки поиграть, и о романтикс. и о романтике, о романтике, бля, о нехоженых тропах...

Вдруг прибежали.

— Буряк Фасолевич! В зале ЧП!

ЧП, ЧП, закружилось в голове у Борщова,— Чрезвычайная Проституция? Чрезвычайная Промышленность? Чрезвычайная Полиция? Полностью будучи уверенным в чрезвычайности первого слова, директор столовой «Волна» почему-то беспомощно тыкался во второе слово аббревиатуры, пока не подвели его к кассовому окошечку, не ткнули пальцем — пальцем в угол под колонну, не повторили горящим шепотом — ЧЭ ПЭ! — «Чрезвычайное происшествие!» — озарило вдруг щавелевые мозги.— «Вижу, вижу, вон оно — щука, и сразу ясненько, что ЧП, во что ни рядись!»

Между тем под колонной, на которой сквозь слой водянистой краскн еще не просвечивали следы вольнолюбивых математических дискуссий, сидел обыкновенный гражданинчик: шапочка хлорвинилового каракуля, перчаточки, ботинки, личико закрыто газеткой «Комсомольская правдочка». Быть может, и не подозревая о произведенном переполохс, гражданинчик ждал заказанный комплексный обедик. Оцепеневшее от ужаса руководство «Волны» смотрело, как приближается к столику подавальщица Шурка. Не было у Шурки, дикой сибирячки, никакого идейного опыта. Не понимая ситуации, она с обыкновенным своим грубым и оскорбительным выражением тащила заказанный комплекс: капусту по-артиллерийски, борщ по-флотски, битки полевые под бывшим тверским, ныне и навеки калининским соусом.

Гордостью нового руководителя молодежи был этот комплексный обед, и всеми посетителями употреблялся в охотку, и никто никогда не догадывался об утечке жиров и никогда бы не догадался, если б...

И вот едва лишь Шурка шмякнула комплекс на стол, как гражданинчик ЧП отложил газетку, встал и проскрипел протокольным голосом:

— Санитарная инспекция! Прошу пригласить руководство!

Борщову послышался гневный Зевсов рык с карающего Олимпа. Холодя членами, наблюдал он вынимание государственных принадлежностей и запечатывание под сургуч любимого детища, комплексного обедища и тощущими жирищами — в санитарные судки.

Конечно, можно было Борщову и не так уж сильно пужаться — ведь имелся же у него мощный тыл, где всегда можно было укрыться, как и в минувшую войну безопасно геройствовали под армейскими трехнакатными блиндажами. Однако и в тылу ведь могут в конце концов разозлиться на утечку жиров. Чего, дескать, тебе, Борщов, ибенать, не хватает? До патриотов, измученных в отдалении, приветы не все довез — кобылище своей на мохеры выкроил. К металлургам тебя, полтора глаза, послали, ты и там умудрился штуку проката к себе на дачу откатить. А теперь на важнейшем участке, на идейной работе мухлюешь с жирами. Смо-

три, батька, звездочки сымем, спишем на свалочку, в архив, ибенать, в историю.

Так что к тылу своему Борщов относился двояко: с одной стороны, дюже гарно опираться на огромную массу могущественного тыла, а с другой стороны, яйца печет, ни действий, ни соображений не предугадаешь. Иной раз хотелось Борщову думать, что вроде и никакого тыла у него нет, что он вроде простой человек, обыкновенный пищевой жулик, но... но тыл у него был, был всегда с незапамятных нежных лет, когда кострами еще взвивались синие ночи, и если уж честно говорить, не представлял себя Борщов без этого тыла, немедленно бы опрокинулся, лиши его оного. Какникак, а давал ему его тыл нужный запас в отношениях с санитарно-эпидемиологической, противопожарной, финансовой и прочими инспекциями.

Так и сейчас помогло ощущение тыла, и, привычно потряхивая крашенной под воронье крыло косой челкой, лукаво поблескивая левым глазом из-под фальшивого протеза и раскрывая якобы-второго-белорусского псевдо-фронтовые объятья, Б. Ф. Борщов двинулся к человечку-инспектору.

— Узнаю, узнаю поколение! Где сражался, землячок? Пойдем-пойдем... да подожди ты с бумагами-то... пойдем посидим, вспомним дороги Смоленщины...

И увлекая гостя в глубины «Волны», ярко жестикулировал подчиненным насчет обеда (да уж, конечно, не комплексного!), насчет коньячку (да уж, конечно, марочного!), да и по делу, конечно, насчет всяких там тоскливых калькуляций, документаций (что поделаешь — жизнь!) и очаровывал мужским своим солдатскнм обаянием.

...С лейкой и с блокнотом,
А то и с пулеметом
Первыми врывались в города...

Тормозя иной раз в коридорчиках, пропуская инспектора вперед, траншейным шепотом отдавал приказания челяди:

— Симка где? Немедленно отыскать Серафиму Игнатьевну! Маринке и Зинке помыться! Кремовый шприц с топленым маслом в хлеборезочную!

Ну наконец на бархате со стола президиума сервируется обед, переходящий в ужин с завтраком: горка жареных цыплят, пирамида помидоров (вот вам и Сибирь!), развалец рыбного ассорти вперемешку с икрицей (закон-тайга!), закавказское созвездие коньяков — прошу, не обессудьте, чрезвычайная периферия.

Неожиданный инспектор, что хуже не только чучмека, но и еврея мохнатого, к счастью, оказался хиловат, простоват, сразу потек при виде переходящего бархата, только глазенки бегают, а ручки сами к бутылочкам тянутся. Даже не заметил переноса засургученного в санитарных судках комплексного обеда из кабинета в хлеборезку. Не заметил и пересмигивания челяди и даже идиотского шепота завскладом Залихановой — «Буряк Фасолевич, шприц принесли»,— не расслышал.

Ну конечно, по первой прошлись с кряканьем, с боржомным клокотаньем. и теплая волнища первой полной вкусной рюмищи прошла по борщовским суспензориям, обольщая отощавшую в гнусноте житейской душу и даже глуша на миг и фальшь фальшивейшего обеда — и будто бы не ЧП-санитарное-рыло рядом сидит, а друг-костя-с-лейкой-и-блокнотом и с ленд-лизовским сидором у хромового сапога.

— Тушенки мы у них много забрали, а обратно не отдадим! Оплачено кровью! — повторил Борщов великие слова.

В глазенках санитарного гражданинчика мелькнуло замешательство: не понял идеи лапоть-калоша.

А тут как раз привалили помывшиеся девчата, переброшенные пару недель назад из актнва на замену интеллектуальным проституткам с тлетворным душком. Борщов глазами и бесшумно шевелящимися губами издавал приказания.

— Ты, Маринка, садись поближе и лапу ему на коленку клади, а ежели пуговки где надо проверить, никто тебя не осудит. Ты, Зинаида, больше грудями приваливайся. Действуйте, девчата!

«Эх-вот-Серафимы-то жалко-нету-одним-дыханьем-лишь-взяла-бы-опенка-нимфа-моя-русская-полевая», — подумал на волне лиризма Борщов, представив своего старшего буфетчика рядом с санитарным инспектором и как тот от одного лишь духа нимфиного тут же кончает и подписывает документацию.

— Ты, друг, пока тут с девчатами, с активом погужуйся, а я на пяток минут испарюсь, проверить надо, как дела на кондитерском фронте.

Он двинул в хлеборезку и лично возглавил операцию, то есть взял в руки кондитерский шприц, которым обычно выводят на тортах различные дарственные и патриотические надписи. В этом деле был уже у Борщова иакоплен боевой опыт. Не раз приходилось идеологу молодежи вгонять кривой иглой жиры из кондитерского шприцв в опечатанные для анализа обеды.

Так и сейчас, без труда найдя малую щель в судке, ои засунул туда кривую иглу и не без удовольствия стал «вгонять» и не без удовольствия воображал удивлеиие научных сволочей в пищевой лаборатории, когда обнаружат супервысокий процент жирности.

— В гражданскую войну как на Восточном, так и на Западном фронтах за такие дела ставили к стенке,— услышал вдруг Борщов спокойный неторопливый голос.— Впрочем, ни Южный, ни Северный фронты не были исключением.

Санитарный гражданинчик, будто и не пил, будто и не ласкали его женские руки, стоял в дверях хлеборезки. Пальто внакидочку, шапочка на затылочке — ни дать ни взять профессор мат-философии в изгнании.

Борщов метнулся — куда же? — конечно же, к телефону. Как Эдип, должно быть, в минуты тревоги бросался к маме, так и Борщов в такие минуты инстинктивно бросался к телефону, чтобы ощутить под ухом, под рукой, под животом ровное рокочущее дыхание могучего тыла. Однако что-то в этот раз не сразу заладилось: гнулся палец, подлый грешный указательный палец, залезал не в те дырки, путались кабалистические цифири — старею, маразмирую, на свалочку пора...

— Это вы сказали? — в ужасе Борщов потек ручьями.

Санитарный гражданинчик сидел теперь через стол напротив — санитарный ли? не мат ли философский — он расплывался, странновато видоизменялся, как на экране паршивого телевизора, и только улыбочка, издевательская, всезнающая, не менялась перед Борщовым, да взгляд стальной с прищуром, идеологический держал Борщова за зрачки — этично все, что полезно.

— На свалочку пора!

— Это вы сказали?

— Я? А может, это вы сами сказали, Буряк Фасолевич? А может быть...— Небрежный кивок в сторону телефона.— ...может, это товарищи сказали?

— Да вы... да вы, милейший, знаете, на что замахиваетесь? Отдаете себе отчет?

Тыл пространнейшим образом не соединялся, палец-поганец гнулся и смердил. Пришелец рассмеялся.

— Обед с блядями, кривой шприц — какая наивность! На дворе семидесятые годы, Буряк Фасолевич, справка на вас давно готова.

С хрустом, словно новенькая ассигнация, вывернутая из кармана, закачалась перед носом Борщова отменнейшая справка. По ней пробегали маленькие, но отчетливые светящиеся буковки: «...вардии ...овник ...ставке заочно осужденный по материалам ОБХС... сто восемнадцать лет лишения ...оды лауреат ...венной премии УПРХ СТФРОУ трижды кавалер ордена Богдана Хмельницкого под грифом совер... секр... значка «Отличный пищевик» Борщов Буряк Фасолевич ЖИРНОСТЬ 99,99 ПРОЦЕНТА».

Хлеборезочный пункт со всеми его пауками и тараканами, наличием и отсутствием санитарии и гигиены закачался вокруг Борщова. Вся глубинная тыловая суть обозначена была в справке, казалось бы — выше голову, вот они этапы большого пути, но как? откуда? что за ужас? как посмели? Газы отчаянной тревоги вспучили Борщова, и даже любимые им знаки 99,99, вместо того чтобы наполнять законной гордостью, теперь плавали в воздухе кошмарными пузырями. И тут как раз включился тыл.

— Что там у вас, Борщов? — спросили чудесным голосом.

— Здесь... здесь, товарищи...— радостно заверещал Борщов,— ...провокацией попахивает... некомпетентные органы... вмешательство в святая святых... прошу приема... может, придете лично... мой стаж... процентовка... СЭС нос сует куда...

Радостное кудахтанье захлебнулось в молчании тыла. Санитарный гражданинчик сидел посмеиваясь. Да неужто уже внешние органы переплелись с внутренними, а я и не заметил?

— Ты, Борщов, рыбалку любишь? — спросили в тылу.

Несчастье, когда становится очевидным, дает человеку некую кристальность.

— Понимаю,— просто и ясно сказал наконец-то Бор-

щов.— Решение принято? Заслуженный отдых? Отдаете на растерзание?

Как там все-таки чудесно красиво смеются. Нет-нет, они своих так просто не отдадут.

— Работай, товарищ Борщов, только не размягчайся на молодежных хлебах. Во-первых, комплексный обед перекалькулируешь, ворюга, по-человечески, а во-вторых, проведешь дискуссию, чтоб не болтали, будто у нас дискуссии зачахли.

— Дискуссию? — Борщов снова опупел.— Какую дискуссию?

— Инициатива от молодежи пойдет, а тебя сейчас ознакомят.

— Кто ознакомит?

— Не догадываешься? — Тыл отключился.

Перед Борщовым по-прежнему сидел хихикающий санитарный гражданинчик, но теперь он уже размывался, видоизменялся очень активно и превращался на глазах — генералиссимус милосердный! — в идейно подозрительного чрезвычайно-мало-советского чужака Мемозова, о питании которого в «Волне» уже отослано было в тыл несколько сигналов.

— Тема дискуссии такова — «Перспективность однопартийной политической системы в свете трудов князя Кропоткина».

Нанеся этот последний удар под дыхало, Мемозов встал и удалился, и вконец уже задрюченному Борщову послышался в его поступи звон далеких революционных шпор.

— Серафима! Лада моя! Где ты? — возопил Борщов в пустоте хлеборезки.

Кошмарный эмиссар вдруг на миг вернулся в щель двери ухмыляющейся кошачьей рожей.

— А об этом, Бурячок, можешь узнать в Научном Центре, особенно в ядерных проблемах и в генетике. Там кое-кто кое-что знает о твоей Ладе.

В гостинице «Ерофеич», невзирая на пургу, скольжение лифтов в стеклянных пеналах шло своим чередом. Здесь жили очень богатые иностранцы и очень бедные иностранцы. Богатые из-за старости жевали сухие брекфесты, бедные по молодости лет ярили зубы на все наше национальное и все получали. Но нет правил без исключений, которые подтверждают все правила без исключения. Один иностранец, самый богатый, Адольфус Селестина Сиракузерс, завтракал жирно и сладко и увеличивал сладость жизни к вечеру под вьюжным небом до апогея, так что и родину забывал, далекую мясную державу.

В тот момент, когда Ким Морзицер явился к новому другу на творческое совещание, Мемозов как раз угощал собой этого иностранца, похожего на гигантскую плохо упакованную клубнику, и сам угощался этой клубникой, то есть наслаждался фыркающим вниманием.

Авангардист разглагольствовал, гуляя по своему номеру в самурайском шлеме с крылышками, в вязаной майке из шерсти лемура, в шотландском килте. Погибло все мое, с неожиданной тоской подумал Кимчик, все мои задумки и планы: новогодний пир в землянке, дискуссия «Горизонт», античное шествие в годовщину падения Трои — все погибло, все он пожрет, ну и пусть, как все это глупо и старомодно, все это «мое» — неловко, потно, колко как-то, все это на порядок ниже «его» — современного...

Авангардист разглагольствовал:

— Моя задача, сеньор Сиракузерс, скромна. Всюду, где я есть, где я имею себя быть, я произвожу раскачку, железным пальцем психоделического эксперимента бережу застойные мозги, по-вашему, брейны. Гомо не должен торжествовать себя на крепком стуле, а должен суисидально барахтаться в водовороте парапсихологии, это его естество, а себе я глории не ищу, не надо. Понятно?

— Натюрлих,— фыркнул Сиракузерс.

В глубине его, по клубничным капиллярам ленивым цугом протащились обрывки мемозовского монолога «пери-ментабрейно-гомо-сих», и все заволокло дымом.

— Это цель,— возгласил авангардист.— Каковы средства? Их у меня тысячи, сотни, десятки! Начну с древнейшего, с благороднейшего, с так называемой сплетни. Уот даз ит мин — «сплетня»? Ваш обычный иностранный «госсип»? Нет!... Сплетня,— запел Мемозов вдохновенно, держась на всякий случай за батарею отопления,— это птица Феникс, возрождающаяся из золы бургеазных устоев. Сплетня — это неопознанный летающий объект, мохнатый выкидыш грозовой ночи.

Возьмем пример. Унылая фамилия за супом. Суп макаронный, капли жира мгновенно застывают, обращаясь в статичные вечные пятна, эти ордена за целомудренную скуку. Вдруг отключается электричество, иссякает газ, ледяным мхом зарастает батарея, в распахнувшееся окно, как призрак антимира, как шар, пирамидка, голубь, карандаш, наконец, влетает сплетня.

Посмотрите, жировые пятна превратились в волшебные свечи, а квартира в пещеру Аладдина. Зерна безумия, светящиеся пунктиры разлада, сполохи униженных самолюбий, жертвенные факелы сатисфакций превратили мир стареющего интеллектуала-нюхателя в трепетный, таинственный, обратный и потому истинный мир-спектакль; с жизни содрана слоновая шкура, в складках которой гнездится столько мельчайших паразитов, не мне вам говорить. Ю си?

— Бардзо,— фыркнул Сиракузерс и брякнул кулачищем по столу, почему-то вспомнив юность, бои за индепенденцию, аукцион крупного рогатого скота в Мар-дель-Плата.

— Все уже отброшено, все наносное! — вскричал в возбуждении Мемозов.— Забыты трудовые книжки и премии, и все ваши жалкие мезоны, хромосомы, кванты, кварки, гипотенузы, и ваша ржавая Железяка — все брошено на свалку! Вы поняли меня, синьор? А теперь — убирайтесь!

— Кванто фа? — фыркнул Сиракузерс и вынул для расчета толстый бумажник, набитый чеками серии «Д».

— Ах так? — выкрикнул Мемозов. Он вдруг увидел в госте заклятого врага, плутократическую мамону. В руках у него появилось тяжелое ожерелье — онежские вериги вперемежку с гантелями.— Гет аут, грязный шарк! На бойню! На свалку!

Адольфус Селестина уже не клубникой, а малиной выкатился в коридор и спросил себе литовского квасу.

Без-условно соло нового друга — торнадо (именно так: торнадо — друг) произвело огромное впечатление на Кимчика. Это ж такая сила! Такой экспресс! И лишь в одном месте сквозь мертвую зыбь восторга прошел ручеек тусклого негодования. Да как же это так, подумал в этом месте Кимчик, ржавой Железякой дразнить нашу Несравненную? Ему даже показалось «в этом месте», что за темными окнами люкса всплеснулась какая-то березонька, некий беззащитный стебелек. Какая-то ошибка, должно быть.

— Это ты, старичок, ошибочно, конечно, пошутил насчет нашей Железочки? — осторожно спросил он.

Непонимание, вечное непонимание угнетало порой Мемозова. Смотришь Брейгеля, он тебя не понимает. Слушаешь Рахманинова, чувствуешь — музило тебя не понимает, недотянул. Читаешь Пушкина, Вольтера, Маяковского...— не понимают Мемозова монументы!

Глянешь иной раз на географическую карту, она тебя не понимает! Ни Азия с Европой, ни остальные материки со всей островной мелочью, не говоря уже об «одной шестой», не понимают тебя, больше того, даже не пытаются вникнуть, понять.

Вечная оскомина, изжога, отрыжка непонимания...

— Какая досада,— сморщился Мемозов,— какая горечь в ухе, под языком, вот здесь, когда тебя не понимают.

Ким малость похолодел. Липаться мощной дружбы не хотелось.

— Принесли? — сквозь губы спросил друг-торнадо.

— Вот оно! — Ким извлек первое выполненное задание — одолженную в музее банку с глубоководным спрутом, отнюдь не красавцем для инертного земного глаза.

— Изрядно,— процедил Мемозов, сумрачно созерцая небольшого монстра.— Вот она, Банка-73, глубоководный, немой, слепой, жуткий брат.

. . . . . .

Ураган ураганом, а жить надо. Нужно варить суп своему чудовищу, нужно облагораживать полуфабрикаты, нести свою скорбную женскую вахту у плиты, и это, несмотря на бессовестные его подстрочники, на эти тетеревиные токования в адрес какой-то шлюхи; ах, видите ли — лирическая героиня, а я уже только в кухарки гожусь.

Так думала удивительная красавица, двигаясь в самом центре бурана среди ярчайших огней под крышей торгового центра. И капли бурана слетали с пушистых ресниц! Она, казалось, была создана для гибкого оленьего сторожкого скольжения в хрустальных каналах супермаркетов, она облагораживала собой лабиринт прогрессивной торговли, внося сюда кинематографическую таинственность и своей собственной уже «тианственностью», неопределенной смутной улыбкой она придавала и всему обществу потребления

из села Чердаки некий романтический, дерзкий «чуть-чуть»... и сй — такой! — отказано в праве быть лирической героиней!

Но все-таки она была довольна своим скольжением и отражением в многочисленных зеркалах, которые, лишь она появлялась, становились как бы страницами «ВОГа». И так она в сладком терзании проскользила мимо секции овощных консервов и не заметила даже, как оказалась в галерее сухофруктов, где и содрогнулась.

Урюк! Сморщенный вяленый вкусненький предатель абрикос с лакомой еще к тому же косточкой. О, эти урюки, страшно вспомнить бесконечное неотвязное жевание, лежание с жеванием и чтением на продавленной тахте. фиктивное переворачивание страниц, жаркая вялая дрема, липкие пальцы, чуть-чуть похрустывающая в надоевших, но неутомимых зубах урючная грязнинка и жевание, жевание, жевание...

Отрочество и золотая пора ранней юности были под угрозой. Сухофруктов в доме жреца Нефертити было изобилие, и все любили жевать, якобы читая, якобы наслаждаясь музыкой, и лишь неискушенное дитя — сестренка — откровенно жевала урюк, лежа на боку и укрывшись с головой одеялом. Урюк, сколько погубил ты тианственных магнитных красавиц, блистательных интеллектуалок, сколько округлил талий, сколько книг ты сжевал и сколько дивных мыслей растеклось в твоей сладкой жижице!

Так и сейчас, как в отрочестве, ей скулы свело от желания урючной оскомины, и она сделала немалое усилие, чтобы пронзить галерею сухофруктов и на выходе резко, киношно купить в лотке бутылку шампанского. Шампанского! Зачем? В противовес — урюку! Танго «Брызги шампанского»! Както в полуархивной плюшевой липкой одури, в урючной истоме попался в руки журнал красивой жизни «Столица и усадьба», 1915 год. С пожелтевшей малость страницы улыбалась графиня Нада Торби, супруга принца Джорджа Баттенбергского, правнучка А. С. Пушкина, сестра милосердия в лазарете памяти В. Ф. Комиссаржевской. Высокая красавица в косынке с крестиком улыбалась тианственно, и хоть несла она корзину с корпией и бинтами, а на задворках памяти плясало шампанское! Брызги! Вальс! Комильфоты в масках!

Открыв без стука дверь «Директор», красавица скользнула внутрь.

— Не возражаете. Крафаилов? Бутылку шампанского?

Крафаилов вскочил со стуком и вытянулся. Молоко ушло а ноги, а кровь забушевала в щеках, в ушах, в грудной клетке. Вот оно — испытание! Пришла какая-то любимая, несравненная, с бутылкой шампанского!

— Шампанское? Любопытно! — В углу в кресле сидела мадам Крафаилова с букетиком бельгийских скоростных гвоздик.— Это в честь чего же?

№ 71
Когда ты болеешь, город становится
отвратительным.
Весь ренессансный город от врат его до укромных
фонтанов,
от куполов до мраморных плит,
и даже парк, где шумит лигурийская ель,
и даже харчевни, где пьют ароматнейший эль,
и даже сладкий кондитерский дым
становится отвратитель-ным.
Когда ты болеешь, день становится тошнотворным.
Небо, как прокисший творог, не превратившийся
в сыр,
ветер, как жирный лоснящийся вор,
птицы и провода, как клочки бессмысленных нот
бездарной додекафонии...
и пляж вдоль реки, как ошметки погасших жаровен,
и звук лирический, полдневный блюз
суть дым химический, бензинный флюс.
Когда ты болеешь, когда ты лежишь, перепиленная
болью, под мостом Бонапарта Луи,
течение реки кажется мне преступным...

— Черт! Перфокарта оборвана, а наизусть не помню,— замялся Вадим.

— Достаточно. Насколько я понимаю, этот подстрочник посвящен моей жене? — Павел был очень спокоен.

Что? Китоусов споткнулся на твердой снежной тропе и дико глянул назад на Павла, как будто тот шарахнул ему вопросительным знаком по загривку. Равновесие было потеряно, и фигура Вадима нелепо закачалась на тропинке. грозя рухнуть в полутораметровый снежный пуховик.

Семидневный буран был на исходе. Отдельные партизанствующие вихри еще врывались в город, но в небе уже там и сям мелькали размытые намеки антициклона. За семь дней город опустился в снег по самые форточки первых этажей, но были уже утоптаны первые тропки, движение по которым наполняло прогулки прельстительным риском — оступишься и утонешь, если ты дитя, лилипут или даже гигант, но нетрезвый.

И вот Вадим Аполлинариевич уже качался, а Павел Аполлинариевич медленно поднимал руку для поддержки, борясь с естественным инстинктом — толкнуть.

— Да почему же твоей жене?

— Ну вот, «перепиленная пополам» — это ведь моя жена, не так ли?

— Вздор! Это лирическая героиня. Да разве лежала Наташа когда-нибудь под мостом Бонапарта Луи?

— Где этот мост?

— А черт его знает, стихи не мои... Прислал коллега из ПЕРНа, у них там компьютер сочиняет... Ой, падаю!

Молодой ген человеческой солидарности нокаутировал древний ген вожака стаи и дал команду руке, и та немедленно схватила друга за плечо. Теперь закачались оба Аполлинариевича, а ведь были совершенно трезвые.

— А вот помнишь, на той вечеринке, когда мы пели фронтовые песни? Ты тогда очень часто на Наталью оборачивался, даже наш главный сын Кучка заметил и мне сказал.

— А ведь я тебе ничего не припоминаю, Павлуша, а ведь мог бы...

— Подожди, Вадим, не думай, что я ревную, я ведь знаю, что ты не предатель и я не предатель. Просто, может быть, мы помним о какой-то немыслимой встрече за пределами нашей жизни, вернее, за пределами этого мгновения, когда мы с тобой качаемся на бревне, за пределами во все стороны — ты понимаешь? — не может быть, чтобы не было в нашей памяти кнопочки этой встречи, а? Где это было, где это будет, в каких слоях времени, на берегу каких озер, пресных или соленых, горных или подземных, мы не знаем, но вот включается кнопочка, и мы смотрим вокруг тем далеким глазом и оборачиваемся, как ты вот оборачивался, Вадик, на мою Наташку, к примеру, или на Лу Морковникову, или, к примеру, старик, на твою тианственную Марго... ты понимаешь? Абстрактно? Да хотя бы и на Серафиму Игнатьевну ты оборачиваешься, к примеру... ведь это же настоящий чарльстон, Золотые Двадцатые годы!

— Пить хочу,— пробормотал Вадим и рухнул с тропинки в снег, погрузился едва ли не по горло.

Естественно, вслед за ним повалился и Павел. Они поползли сквозь снег к нежному холмику, где рядом с засыпанным киоском торчала шляпка водоразборной колонки. Павел взялся за рычаг — качать, а Вадим припал жадными устами к ржавому крану. Много лет уже колонка не действовала, но тут дала порцию подземной, газированной чертями воды.

— Ах, Вадюша,— прошептал Слон.

— Ах, Павлуша,— прошептал Китоусов, лежа на спине и переполненный водой.— Посмотри, Павлуша, в небе колодец какой открылся и с искоркой. Быть может, Дабль-фью к нам летит, а? Мезоны-то уже неделю пляшут.

— Ах, Вадюша, я в Москву хочу слетать за живыми цветами,— вздохнул Павел.

— Возьми меня с собой,— попросил Вадим.

Вдруг близкий и неприятный клекот раздался над друзьями. На дорожке в алеутской шубе с гималайским орлом на левом плече стоял Мемозов. В пальцах его трепетал небольшой листочек.

— Я прошу прощения, монсиньоры, за неделикатное вторжение, но мне показалось, что столь интимный дуэт вам трудно будет завершить без последнего кусочка седьмого подстрочника.

Мемозов дал обрывок перфокарты в клюв своему орлу, и тот двумя взмахами крыльев перенес его Китоусову, даже не взглянув на текст.

— Где взяли? — хмуро спросил Вадим.

— На вашем письменном столе под портретом Наталии Слон. Должно быть, Ритатуля поставила портрет вам по рассеянности. Портрет удачный, забудешь и о доблести, и о подвигах, я вас понимаю. О славе — молчу.

— Вас Маргарита впустила или дверь взломали?

— Эх, Вадим Аполлинариевич,— притворно вздохнул Мемозов, — есть сотни способов проникновения в закрытые квартиры, а у вас в голове только два. Вот, например, один из способов.— И он показал друзьям английский ключ.

— Отдайте ключ,— попросил вконец зашельмованный физик.

— Отдам, но не вам. Павел Аполлинариевич, держите! Натали потеряла этот ключ в «Ледовитом океане». Я нашел, и мне показалось, что он подойдет к дому Китоусова. Не ошибся. Надеюсь, эта маленькая штучка не приведет к трагическому апофеозу, ведь это всего лишь ключик, а не батистовый платок, и автор ваш далеко не Шекспир, а я не призываю чумы на оба ваших дома...

Авангардист уплыл в глубины микрорайона, но друзья этого даже и не заметили. Теперь они стояли в снегу, ожесточенно конфронтируя друг другу.

— Почему твой ключ подходит к моей квартире?

— Я бы тоже это хотел узнать!

— Ну знаешь, Пашка!

— Ну знаешь, Вадим!

Драться не будем — глупо! Как унизительно вот так стоять и терзаться. Давай-ка лучше унесем свои головы в другие свободные пространства. Головы медленно поплыли над снегом, ибо тело в снегу тормозилось сильнее, чем в воздухе.

— Вадим, Вадимчик, сыграй вот это: «После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок...» Ребята, кто помнит?

Да кто же из нас не помнит? Песни старших братьев мы помним и сейчас, может быть, даже больше, чем мелодии собственной юности. Вы помните — авиационное училище маршировало по Галактионовской со свертками из бани, и сотни молодых глоток разом, лихо, отчаянно пели грустную песню:

Не забывай, подруга дорогая,
Про наши встречи, клятвы и мечты!
Расстаемся мы теперь,
Но, милая, поверь,
Дороги наши...

Разворот плеч и отмашка левой, серебряный кант голубых погон, пилотки, сдвинутые на бровь,— без пяти минут офицеры, летчики-пилоты, бомбы-самолеты... мы парни бравые, бравые, бравые, но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, мы перед вылетом еще их поцелуем горячо и трижды плюнем через левое плечо...

Пора, пора в путь-дорогу, они улетают, и у них в руках «Яки», «Илы», «Петляковы», у них в руках оружие, у них в руках память об оставшихся девушках, этих дурбин-целиковских в бедных маркизетовых платьицах, что трепещут над острыми коленками весело и насмешливо — наплевать на войну! Мне кажется, что тогда люди не чувствовали, как уходит юность, и не считали прожитых лет.

Мальчики улетали в центр мировых событий так же, как улетали их английские, и французские, и американские ровесники, свободолюбивое человечество.

Союзники, вы помните, ребята, как вдруг к нашим волжским старым городам приблизилась Атлантика, как она взлетела к нам тогда из кинохроники: мохнатые волны, ощетинившиеся спаренными и счетверенными зенитками, торпедные залпы, клубы дыма... и вдруг к кинокамере оборачивались узкие смеющиеся лица англичан.

На эсминце капитан
Джеймс Кеннеди,
Гордость флота англичан,
Джеймс Кеннеди!
Не в тебя ли влюблены,
Джеймс Кеннеди,
Сотни девушек страны?
Хей, Джимми!

Что ж, нашим старшим братьям, как и нам, становилось веселей оттого, что какой-то детина из Канзаса перед отправкой на фронт нашел себе «чудный кабачок и вино там стоит пятачок», да и тем морякам, летчикам и коммандос, должно быть, становилось теплей оттого, что вдоль бесконечного Восточного фронта «бьется в тесной печурке огонь» и «на полсньях смола, как слеза» и прежде загадочному, а теперь близкому Ивану, свободолюбивому homo sapiens, поет, все поет и поет гармонь «про улыбку твою и глаза», а Гансу, этому homo, обманутому нацистами, становится холодно от этого огонька, и нервные пальцы берутся за аккордеон.

Если я в окопе
От страха не умру,
Если русский снайпер
Мне не сделает дыру,
Если я сам не сдамся в плен,
То будем вновь
Крутить любовь,
Под фонарем
С тобой вдвоем,
Моя Лили Марлен...

Эге, забыты уже штурмовые гимны — «Die Fahne hoch! Sa marschiert...» — уже почесывается Ганс: кажется, мы опять откусили цукер-кухена не по зубам, моя подружка Лили, и не поможет нам уже никакое вундерваффе, и ничего, кроме твоих колен, колен твоих их либе дих, моя Лили Марлен...

Лупят ураганы!
Боже, помоги!
Я отдам Ивану
Шлем и сапоги...

— Браво, браво, мальчики! Ой, как смешно сейчас Самсик подыграл на саксе «Барон фон дер Пшик» — помните? — покушать русский шпиг... давно уж собирался и мечтал...

— А помните начало:

Вставай, страна огромная!

— А ведь это и сейчас звучит здорово, вот послушайте:

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать...

— Не смеют, не смеют, не смеют крылья черные над Родиной летать!

— Мальчики, у меня просто муравьи бегут по коже от этих песен.

— Давайте выпьем от муравьев!

— Если сейчас выпьем, я разревусь.

— А смотрите-ка, у Пашки уже глаза на мокром месте. Неужели растрогался, Слон?

— Я не знаю, ребята, что это сегодня с нами? Вот ты посшь, Краф, «день погас и в голубой дали», а передо мной так и мелькают отроческие картины: эвакуация, голодные шальные прогулки по перенаселенному городу, всегда бегом, всегда со свистом, с чувством близкого чуда.

Трамвай 43-го года

— Я помню разболтанный, мотающийся из стороны в сторону вагон трамвая. Четыре мощных парня в пилотских куртках курили на задней площадке. Трамвай был убогим, без единого целого стекла, и грохотал он по убогой улице, где сквозь ржавые и гнутые прутья садовых решеток, сквозь смиренно тлеющий осенний парк сквозили кирпичные стены смиренной, иждивенческой скудости, тихого угасания, заброшенности. На меня всегда навевала тоску эта улица, но парни шумно курили крепчайший табак и топали отменными сапогами и каждым своим движением как бы говорили мне, хилому школяру: «Не дрейфь, перезимуем, не угаснем»,— а потом они вдруг стали выпрыгивать из трамвая, не дожидаясь остановки.

— Давай, Ермаков! Вали, как из «дугласа»!

И попли один за другим.

— Мы любили их.

— Мы их любили и завидовали.

— Как говорится, «хорошей завистью».

— Конечно, хорошей, но если быть честным, это была не совсем чистая зависть. Хорошая, но уже не совсем чистая зависть, к нашим косточкам уже притрагивалось либидо. Мы завидовали их пилоткам, звездочкам, их оружию, их боям в рядах свободолюбивого человечества, но мы завидовали уже и их встречам и их разлукам, и синему скромному

платочку, что «падал с опущенных плеч», и вальсы «в этом зале пустом» чрезвычайно трогали наше воображение.

...и лежит у меня на погоне
незнакомая чья-то рука...

— Браво, Эрик! Очень трогательно.

— Вздор! Что же нечистого в этой зависти? На мой взгляд, прекрасная зависть.

— Я именно это и имею в виду. За границей детства — волшебный аромат извечного греха.

При упоминании «извечного греха» в глубине слоновой квартиры скрипнула дверь и послышалось хихиканье. Наташа прислушалась и улыбнулась.

— Я вспомнила, как наш главный сын Кучка пел романс:

...как мимолетное виденье,
в огне нечистой красоты...

А когда я ему растолковала, что тут нечто другое, он был огорчен. В другой раз я заметила, что он часто употребляет термин «развивающиеся страны» и ему кажется, будто это такие страны, которые развеваются, как флаги. В этом он долго упорствовал, а на слове «коньяк»...

В глубине квартиры вдруг стукнула дверь детской, и перед обществом явился рослый двенадцатилетний акселерат — главный сын Кучка, суровый и со скрещенными на груди руками.

— Я и сейчас считаю, что коньяк — это не город во Франции, а конь с рогами яка, который на этикетке, а вы, взрослые, ничего не понимаете, потому что живете в волшебном аромате из млечного греха. Кроме того, горланить песни можно и потише. Младшие дети кряхтят во сне.

Сказав это, главный сын развалился прямо в пижаме на ковре и помахал рукой несколько смущенным гостям:

— Продолжайте беседу, не смущайтесь. Я вполне полноправный член этой семьи.

Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы ползем на одном лишь крыле,
Бак пробит,
Хвост горит,
Но машина летит
На честном слове и на одном крыле!

тут же все спели хором.

— Что касается зависти, то я и сейчас им завидую. Я и сейчас жалею, что не родился на десять лет раньше и не был среди фронтовиков. Освобождать народы — завидная доля!

— А мы устремились в спорт,— сказал задумчиво Павел.— В сущности, мы были первым поколением, всерьез занявшимся спортом, и мы первые прыгнули в длину на восемь, а в высоту на два шестнадцать. Помните Степанова?

— Сравнил божий дар с яичницей. Сколько славных ребят погибло, и детей они родили гораздо меньше, чем мы.

— Теперь уже кончился весь наш спорт, за исключением яхт, стрельбы и, конечно, новозеландского бега. Недавно я был в Лужниках на легкоатлетическом матче, и там в забеге на 10 000 участвовал один ветеран.

Федя

Знаете, как это бывает на десятитысячнике,— лидеры обогнали аутсайдеров почти на целый круг, и Федя, бежавший последним, на короткое время как бы возглавил бег.

— Давай, Федя! — добродушно смеялись трибуны.— Жми, Федя! Жми-дави, деревня близко! Федя, лови медведя! — и прочую чушь.

Я и сам кричал что-то в этом роде: ведь на стадион люди ходят в основном для того, чтобы почувствовать общность с тысячами других людей, для того чтобы было общее чувство, вместе захохотать, вместе прийти в восторг, вместе возмутиться, вместе торжествовать.

В гонке участвовали парни хоть куда — ладные, загорелые, в мастерски подогнанной форме, с летящей манерой бега. Лишь два бегуна были невзрачны — действительный лидер, непревзойденный еще никем у нас малыш, и этот анекдотический лидер Федя, тоже маленький, сутулый и какой-то бурый, и трусы на нем висели мешком, и майка линялая, эдакая команда «Ух!», город Тмутаракань Пошехонского уезда Миргородской волости.

Я никогда не любил таких серяков, потому что сам всегда был ну не лидером, но в первой десятке, именно вот таким, как все остальные бегуны — загорелым, ладным и с летящей манерой бега.

Федя этот вызвал во мне даже некоторое раздражение — куда, мол, он тут со своей клешней в табун мустангов?

А он все бежал круг за кругом, некрасиво, кособоко, но бежал, не обращая внимания на мое раздражение и на смех трибун. Лидеры обогнали его уже на два круга, потом еще больше, потом они кончили бег с рекордом стадиона, а он все бежал и бежал да еще и попробовал догнать предпоследнего молодца с длинной, как у Мемозова, шевелюрой, но не догнал, а только сбил себе дыхалку и заканчивал дистанцию уже мучительно, совсем уже оскорбительно для глаза.

— Федя! Федя, лови медведя!

Сидевший рядом со мной толстый одышливый кавторанг тихо сказал:

— Между прочим, Федя был чемпионом профсоюзов в 1956 году. Горько слышать этот смех, ведь он старше всех других на пару десятилетий.

Ах, Федя, Федя, попробуй его отыщи теперь под трибунами, в потных раздевалках, забитых молодежью, попробуй пригласить его на кружку пива, чтобы сказать: я преклоняюсь перед тобой, последним турнирным бойцом нашего поколения...

...— Теперь еще посчитай количество радикулитов, язв и вегетативных дистоний, а потом мы все хором поплачем.

Шутка повисла в накуренном воздухе, за окнами взвыл вихрь, кто-то кокнул рюмочку, а Самсик в углу еле слышно заиграл «Не говори мужчине никогда о его любви».

— В дело дело? — тревожно спросила Морковникова.

— Ничего, ничего, родная, не волнуйся,— прошептал Эрнест,— просто он что-то вспомнил.

— Я вспомнил кое-что из классики,— пробормотал Самсик, а на самом деле он вспомнил ритуал New-Orlean's funerale, когда выходит весь состав, коричневые братья, и скорбно дуют в свою посуду траурную мелодию, а потом вдруг перелетают на бешеный ритм и всю ночь безумствуют, хохочут и топочут в память об усопшем. Так мы и начали свой вечер в кафе «Печора», но, увы, мы не негры, а славяне...

Нью-орлеанские поминки на Новом Арбате

Был вечер памяти Володи Журавского, барабанщика — может, слышали? Мы-то его все знали — и в Риге, и в Одессе, и в Хабаровске помнят его игру. Когда-то я играл с ним в квинтете Гараняна, а потом через много уж лет засел как-то в Москву по бракоразводному делу и в «Синей птичке» увидел Володю в составе трио Игоря Бриля. Ну, вы же знаете, мне и рюмки не надо, чтобы завестись, и я играл тогда с ребятами чуть ли не до утра, потому что играли от живота, а не как-нибудь, настроение было хорошее.

Да с кем только не играл Володя Журавский — и в ВИО-66 у Юры Саульского, и с Товмасяном, и с Козловым, и с Чарли Ллойдом в Таллинне, и с Намысловским в Варшаве, когда-то у него и свой был состав.

Вроде бы есть такое правило: о мертвых или хорошо, или «кочумай», верно? Но о Журавском при всем желании никакой лажи не вспомнишь, а помнишь только хорошее.

В самом деле, не было лучшего спутника в путешествии, и когда ты высежал вперед, ты был спокоен за свой хвост и видел перед собой только небо, ты знал, что он тебя ведет своими щеточками,и не трусь — дуй себе до горы из квадрата в квадрат и на верхушке не смущайся, потому что все в порядке, а в случае непорядка он сразу вздернет тебе узду, такой законный был барабанщик.

Я не знаю, где он сейчас — может, в другом измерении? — ведь он разбился в том самом самолете под Харьковом. Говорят, что отлетела плоскость и даже по радио сообщить не успели, все разом разлетелось в прах. Что это значит — в прах? Быть может, Эрик знает, ведь он знаком с высшей математикой? Значит — в прах разлетелся Володя Журавский, и где он сейчас, не ведомо никому.

Он и раньше разлетался в прах, когда играл соло и выбирался на верхушку. Любому из нас это знакомо, когда ты весь уже рассыпаешься вдребезги, пыль и угольки, но тут всегда вступят товарищи или весь состав и выдергивают тебя, как редьку из матушки земли. Эх, у этого самолета не оказалось рядом товарища.

Кафе «Печора», знаете ли, огромное — может быть, на триста, а может быть, и на четыреста посадочных площадок. Там длиннейшая выдавалка, в глубинах — котлы и холодильники, девчонки в белых колпаках, слева касса, справа буфет с кирянством, и кирянство, между прочим, очень недешевое — марочный коньяк в коробках, больше ничего не было.

Когда наши начали собираться, в кафе еще много было обычных едоков, и они ходили со своими подносами и шумели своей едой, а затихли только, когда Алеша Баташев поднялся на эстраду и объявил минуту молчания, но на кухне, конечно, никто не затих. Напротив, какой-то резкий голос в течение всей минуты вопил в пустоту: «Шура, помидоры давай!» — как будто в резонатор, голос летел в какую-то дальнюю дыру, которой завершалось это кафе, в тоннель, где что-то светилось, кажется, Старый Арбат.

Ну, а потом, после Алеши, на сцену поднялся коллега Журавского барабанщик Буланов и десять минут играл в его честь один. У Журавского было странное осторожное лицо, слегка плоское, но с острыми углами, а когда он играл, лицо его становилось мрачновато-бесстрастным, как щит. Буланов — иное дело, этот на вид доцент, золотые очки, гладкий подбородок. Он и играет иначе, мягче, но в тот вечер он закусил губы, и... мы почувствовали, как на самой верхушке он разлетелся в прах, словно Володя Журавский. Они были большими друзьями.

Я посмотрел вокруг и увидел сотни две или три знакомых лиц, музыкантов джаза и наших девочек. Все постарели немного, но все еще были красивы, а некоторые даже стали лучше. Все были так красивы, что у меня сердце защемило от любви.

Бахолдин, Зубов, Гаранян, Козлов и Сатановский, Саульский, Бриль и Товмасян, Лукьянов, Людвиковский...— не знаю, как для кого, а для меня эти имена звучат таким же серебром, как Джо Кинг Оливер, да и Самсика Саблера не все еще позабыли в «Печоре», и в «Ритме», и в «Синей птичке», хотя, конечно... да ладно, чего уж там...

А меж столов старухи уборщицы катали свои коляски, и там громоздились тарелки с остатками пищи: выеденные ломти хлеба, похожие на вставные челюсти, непрожеванная спинка чавычи, сбитый в сиреневые кучки гречневый гарнир, картофельное пюре, уложенное наподобие морских дюн — золотое сытое время!

...Все пришли в тот вечер, кто знал; а кто не знал, тот после жалел и тосковал, и все играли в этот вечер cool u hot, и все были в порядке, деловые и не сопливые, как будто и он был с нами, виновник тризны, как будто просто шикарный «джэм», и никого не развезло, и лишь временами из темных глубин заснувшей кухни просвистывал ветерок пронзительной печали, а когда мы вышли на ночной пустынный Арбат, где пульсировала лишь реклама японских аэролиний, другой ветер, хмельной и с запахом снега, ветер резкого, но шаткого шага ударил мне в дыхало, и я даже на миг вспомнил юность и Бармалеев переулок на Петроградской стороне, но все это мигом промелькнуло, промчалось за каким-то лихим человеком вместе с патрульной машиной, а в углу перед фототоварами меня придушила изжога, и для того, чтобы выбраться из угла, я вспомнил слова Лени Переверзева.

«Прошу вас, сядьте,— говорил он публике со сцеиы перед началом большого концерта однажды,— прошу вас, прекратите стучать стульями, хрустеть фольгой, цокать языками, щелкать пальцами, сморкаться носами и хохотать языками при помощи зубов. Прошу вас — дайте музыкантам играть: ведь жизнь коротка, а музыка прекрасна».

...— Нет-нет, ничего, Луиза, я просто вспомнил вот эту тему ни с того ни с сего,— пробормотал Самсик, прошелся пальцами по клавишам и смиренно затих.

Слово взял Великий-Салазкин и сразу же залукавился:

— Рано, рано, киты, ностальгию развели. Посмотрите-ка, в космос-то кто летает? Ваша братия!

А в самом деле, ведь все космонавты — нашей, послевоенной генерации: и Юра, и Володя, и Борис, да и американские ребята! Ну, вот хоть и не воевало наше поколение, а зато первым на орбиту вырвалось, первым шагнуло на Луну и тем самым записалось в учебники. Да разве опять же дело в истории, в золотом тиснении, в жертвеиием огне? Дело ведь в осознании себя и себе подобных, своих товарищей по жизии, дело в собственной памяти, которая может обойтись и без мрамора и без других стойких материалов. «Рожденные в года глухие пути не помнят своего...» Мы — помним, и это наша удача. В конце концов и перенос семени тоже немаловажное дело, но если вместе с семенем передается еще и память, мгновение восторга и ненависть к преступникам, презрение к нечеловеческому и радость труда, то это дело — нечто более важное, чем жизнь высшего отряда приматов.

И вдруг сквозь общий веселый гвалт, разговоры о спортсменах, артистах и космонавтах, о годах рождения и о памятных датах прорвалось зловещее:

— Вздо-о-р! Вззз-до-ор! Вздоррр!

То не злая струя бурана и не газ из болотного бочага, то не тойфель померанский и не татарский шурале, то обыкновенный человеческий голос гудит в вентилятор, саркастический голос «вздор».

А этому «вздору», проникшему к пиршественному столу, аккомпанируют на кухне визгливые звуки «дур-р-раки», вылетевшие как будто бы из мусоропровода.

— Что это за новости? Должно быть, Кимчик что-нибудь придумал. В самом деле, куда пропал Кимчик? Наверное, он готовит сюрприз. Вот — звонят! Сейчас увидите — Кимчик явится с сюрпризом. Помните, на открытие «Выхухоли» что он придумал?

Главный сын Кучка ринулся открывать и вернулся разочарованный:

— Нет, это не Кимчик. Это просто животные пришли.

В дверях топтались, стряхивая снег, пудель Августин, сенбернар Селиванов и ворон Эрнест. Тщательно вытерев лапы, Августин и Селиванов вошли в комнату и улеглись на шкуру белого медведя. Здравствуйте, всемогущие люди, казалось, говорили они своими спокойными глазами, здравствуй и ты, шкура белого медведя. Твой бывший хозяин не пожелал стать нашим другом и потому поплатился своей шкурой, но ты, шкура белого медведя, ты наш друг, и мы на тебе лежим.

Эрнест взлетел на люстру поближе к вентиляции и многозначительно зеленым древним глазом глянул на сеточку, сквозь которую имеет свойство проникать порой в буран нечистая глупая сила. Чего-чего только не видел этот транссибирский невермор на своем многовековом веку и давно уже ничего не боялся, словно воин Чингачгук.

Визит животных всех успокоил, ведь все действительно немного взволновались: шутка со «вздором» и «дураками» была непохожа на кимовскую затею, Кимчик никогда не придумывал ничего зловещего.

— Здравствуйте, добрые звери, и спасибо за внимание. Мальчики и девочки, давайте-ка еще споем! Давайте из того же репертуара:

На позиции девушка
Провожала бойца,
Темной ночью простилася
На ступеиьках крыльца.
И пока за туманами...

Вдруг вентиляция бурно и издевательски захохотала, а мусоропровод заклокотал в хохотальных рыданиях.

— На свалку! Вы все — торопитесь на свалочку! Лос! Лос! В органический синтез! — забормотали эти коммунальные системы, кем-то поставленные на службу недоброму делу.

— Да это же мемозовская хохма,— смущенио догадался Великий-Салазкин.— Ничего, а? Остро, правда?

— Халтур-ра! — прокаркал ворои Эрнест прямо в вентилятор.

— С Мемозовым мы вас по-прежнему не поздравляем, В-С,— надулись «киты».— Похоже на то, что он объявил войну нашей Железочке.

— Он устраивает какой-то сеанс медитации. Не надо соглашаться.

— Еще подумает, что трусим. Надо вывести его на чистую воду. Спустить за борт! Недельный запас провианта — и адью.

— А я не согласна,— вдруг заявили жеищиы устами Маргариты.— Мне кажется, что Мемозов внес некий аромат в нашу жизнь. Он пахнет остро, как смесь «Балансиаги» с «Тройным одеколоном», и вообще иногда в предвечерние часы приятно видеть в перспективе хвойного проспекта его огнедышащую фигурку на серебряных кругах.

— Я не благодарю вас, вумены, нимфы, сирены, гетеры и одалиски,— сказал Мемозов, мгновенно входя в комнату без всяких предупреждающих звонков, стуков и покашливаний.— Я не благодарю вас, а просто лишиий раз отмечаю ваше превосходство над кланом засонь, обжор, пьяииц и рогоносцев. Браво, клеопатры! Браво, мессалины!

Он повернулся к хозяйке дома и передал ей кусочек горного хрусталя с заключенным в него миллионы лет назад эмбрионом плезиозавра.

— Это не подарок, мадам физик, а всего лишь пароль, и смысл его вам, конечно, ясен. Мой подарок явится позднее, а сейчас перед тем, как выслушать ваш рассказ, то есть перед длительным молчанием, позвольте заметить, что я вовсе не воюю с вашей Железкой. Она мне скорее не отвратительна, а безразлична. Она всего лишь предмет, а предметы для меня — это семечки, уважаемый женский ум и вы, умы обоих полов. К бессловесным тварям я не обращаюсь. Итак, я умолкаю. Это жертва вашему идолищу.

Он медленно прошел по комнате, закрыл крышку пианино, взял со стола блюдо рыбы и застыл в углу.

Несколько минут прошло в напряженном молчании, что-то тревожное, похожее на первые симптомы эфирного отравления, возникло в замкнутой атмосфере пира.

— Наташа, я волнуюсь,— проговорили мужчины.— О чем ты хотела рассказать?

— Да ни о чем,— задумчиво промолвила хозяйка, вертя свою божественную прядь.— Но вот когда Мемозов назвал нашу Железку «предметом», я почему-то вспомнила краеведческий музей в Литве.

Предметы

Музей помещался в еще не старой красной кирпичной кирхе, чья кровля среди сосен так замечательно гармонизировала пейзаж песчаной косы.

Оказалось, что в кирхе остался орган и там дают концерты артисты из Вильнюса. Однажды мы с Кучкой отправились слушать старинную музыку. Конечно, брутальный мальчик сначала долго орал: «Не пойду!», «Бр-рахло!» «Дрянь!» — но потом скромно и быстро собрался и отправился со мной, и я даже заметила, что он немного нервничает от нетерпения и любопытства.

Играли в тот вечер Свелинка, Фробергера, Муффата, Баха, Вивальди и пели к тому же из Моцарта, Генделя, Глюка и Скарлатти. Ах, вы знаете, я это люблю! Знаю, что модно и что еще модное не следовать моде и не любить старинную музыку, но не могу тут выпендриваться и думать о какой-то собачьей конъюнктуре — пусть модно или немодно, мне все равно.

Вот, кстати, любопытная штука: когда-то ведь все мы, так называемые интеллектуалы, начали слушать музыку храмов из чистого снобизма. Время прошло, и музыка победила, теперь я вхожу в нее, как в реку, и она струится по моей коже, как сильный теплый дождь, а на горизонте в июльской черноте вспыхивает тихими молниями. Спасибо тому старому снобизму.

Но здесь, собственно говоря, хочется говорить не столько о музыке, сколько о предметах, о жизненной утвари старого курша Абрамаса Бердано.

Начнем с портрета, ибо там был и портрет. В манере старых мастеров мемельского овощного рынка был изображен Абрамас Бердано в зените своего могущества, однако уже перед спуском. Голову его венчала кожаная зюйдвестка домашней выработки, а под зюйдвесткой в облаке библейских, истинно авраамовских седин гордо и спокойно возвышалось красное лицо в крупных морщинах, а глаза его с простой голубизной смотрели на обширный, но привычный балтийский дом.

Рыбацкое племя куршей много веков населяло странную землю, вернее, песок, сто верст в длину и три в ширину. Говорили они по-литовски, а на храмы свои ставили лютеранский крест. Они все делали сами, своими руками, они изготовляли предметы, и с самого начала и до самого конца жизни они делали эти предметы, в этом и состояла их жизнь, и наш Абрам Бердано все себе сделал сам, отнюдь не думая, что когда-нибудь его вещи станут музейными экспонатами.

Сначала он сделал себе колыбель, в которой и лежал, прося у матери молока. Он не забыл и об удобствах — колыбель можно было подвешивать к потолку или качать материнской ногой. Потом он сделал себе лыжи, но предварительно, конечно, он сделал себе нож. Потом он сплел себе сеть, сделал ловушки для любимого гостя, саргассового угря, сделал сачки, вырезал весла и, наконец, построил баркас и сшил паруса.

Началось второе великое дело его жизни — он стал строить себе дом и построил его. Затем он сделал прялку для своей жены и два отличных узорных флюгера — один на крышу дома, другой на мачту баркаса. На деревянных этих флюгерах Абрам Бердано вырезал свои сокровища, всю красоту своей жизни: свой дом, свою корову, свой баркас — и покрасил тремя красками: красной, белой и синей.

Отдыхая, Абрамас Бердано пил самодельное пиво и делал коньки для катания себя и своих детей по прозрачному льду Куршио Марио в веселые дни Рождества и Пасхи.

Затем он сделал себе гроб и крест.

Теперь все эти предметы стояли перед нами в его церкви, начиная с люльки и кончая крестом, и музыка европейского Ренессанса как бы освящала их, делала их как бы предметами культа.

Сачки, багры, сети, паруса, бочки, обручи для бочек, лампа, стол, веретено... там в глубине на белой стене висели даже орудия пытки, эдакие страшные, в человеческий рост клещи. Уж не истязал ли себя Абрамас Бердано для того, чтобы быть причисленным к лику святых в лоне краеведческого музея?

— Нет, мама, это не орудия пытки,— сказал мне взволнованный Кучка.— Это не орудия пытки, отнюдь нет. Там написано — это щипцы для доставания льда из проруби. Это не орудия пытки, нет-нет, это совсем не орудия пытки...

Он повторял это шепотом до самого конца концерта, мальчик, ему очень хотелось, чтобы жизнь Абрамаса Бердано прошла без мучений.

Она и действительно прошла без мучений, простая долгая жизнь балтийца, но все ж и без мучений она, на мой взгляд, была освящена и люлькой, и крестом, и всеми другими предметами, которые он сделал сам, тем более что сейчас эти предметы столь торжественно и в то же время скромно, мирно и волшебно освящались музыкой, родившейся в других, куда более величественных мраморных храмах.

Итальянское мраморное кружево, готические сталагмиты

— Смешно,— сказал Мемозов из-за рыбьих косточек. Все это время он работал над изысканным блюдом и сейчас возвышался, как дракон, над останками жертв.— Очень смешно. Скажите, вы не пробовали подвергнуть эти предметы телекинезу? Воображаете, как заплясали бы все эти старые деревяшки? Еще смешнее получилось бы, чем с музыкой.

— Скажите, Мемозов, уж не собираетесь ли вы стать нашим пастырем? — спросил Крафаилов, тщательно маскируя свое негодование под маской холодного презрения.

— В пастыри я не гожусь,— скромно ответил Мемозов и забрал со стола блюдо мяса.— Я угонщик, конокрад и живодер, прошу любить и жаловать.

— Должно быть, Мемозов хочет подвергнуть телекинезу нашу Железку.

Этот полувопрос подвесил к потолку, словно ракету тревоги, лично академик Морковников.

Наступило тягостное молчание, и, надо признать, что, несмотря на презрение к Мемозову, все ждали его ответа с волнением.

— Объект громоздок, но небезнадежен,— потупив глаза к мясу и улыбаясь мясной вавилонской улыбкой, проговорил гость.— Павел Аполлинариевич, если вы собираетесь выставить меня на лестницу, учтите, каратэ для меня пройденный этап и в арсенале у меня еще имеется таиландский бокс. Наталья Аполлинариевна, сдержите гнев вашего супруга посредством напоминания о гостеприимстве, этом бичс цивилизованных народов. Друзья мои Аполлинариевичи, скоро вы поймете, что Мемозов гонит вас на новые пастбища к сладкой траве дурман под сень гигантских чертополохов. Рвите сами сплетенные вашим автором путы, а я сниму с ваших глаз катаракты. Спокойно, друзья, без рукоприкладства, я отступаю, унося свое мясо, а на мое место приходит мой ассистент МИК РЕЦИЗРОМ, который раздаст всем медиумам приглашения на Банку.

Мемозов удалился то ли в двери, то ли в окна, то ли в стены, никто и не заметил, как он исчез, потому что все обернулись на гремящую, пританцовывающую, напевающую фигуру в длинном желтом бурнусе, в огромных черных с верхней перекладиной очках на бритой голове, напоминающей протез головы, то есть фальшивую голову безголового человека.

Никто не мог даже и вообразить, что под желтым бурнусом бьется робкое милое сердце их любимца Кимчика, так легко порабощенного и измененного новоявленным другом торнадо.

— Кто вы? — спросил, храбро выступив вперед, главный сын Кучка.

Взрослые все еще переживали безмолвие.

— Я мумия здешнего шамана,— скорее не произнесло, а дало понять явившееся существо.— Я дефект природы и газовый пузырь. Сто лет я облучал свою голову ультрафиолетом, пока не получился протез головы. Теперь я перед вами с приглашениями на сеанс контакта. Жизнь большого интеллекта невозможна без дефекта. Что касается дефекта, он съедает интеллекта. Жаден он, как саранча, и танцует ча-ча-ча!

Ударил бубен, веером вылетели из-под ног желтого балахона приглашения — сердечки, кружочки, треугольнички, склеенные из страниц индийской книги «Ветви персика».

Искусный и благородный сердцем превратит трапезу нищего в пиршество князя.

— Остро, не правда ли? — спросили женщины.

— Согласен,— неожиданно для самих себя сказали мы.

Не потому ли, дорогая, что жизнь пошла на перекос? Нет. Просто. Ночью. Ветер. Мая. Шальную ласточку принес. И сдвинулись мои устои, в порт прибыл лайнер «Кавардак», в лесу турусы на постое, а в чайнике кипит коньяк, летит мой конь с рогами яка, в театрах бешеная клака, ответы ищет зодиак, бульваром рыщет Растиньяк, а я всю ночь в непонятном волнении.

— Все жаждут крови, даже дамы,— вопросительно утвердил на столичном углу среди затихающего провинциального бурагана Мемозов одинокой красавице в лисьих мехах и янтарных ожерельях.

Таисия прежде супруга сняла гипс и сросшейся помолодевшей рукой произвела с собой невероятное: завивку, подкраску, опрыскиванье и вскоре неузнаваемой некрафаиловской красавицей выплыла в свирепеющий пурган.

— Халтур-ра! — прокричал в вентилятор ворон Эрнест, но оттуда лишь загудел ветер в ответ, а по мусоропроводу пролетела и кокнулась в ночи одинокая четвертинка.

В разгаре пира — помните? — Наталью перерезала пополам почечная колика...

«Когда ты болеешь, когда ты страдаешь, когда ты плачешь без слез, когда ты кусаешь губы...» — продолжал работать поэт-компьютер в Европейском институте ядерных исследований на окраине Женевы.

Когда, когда, когда... Невразумительные строки перелетали из Швейцарии в Пихты и обратно. Заело!

В разгаре пира дубовый стол с горячими закусками был перерезан вдоль телефонным звонком из Железки.

— Мезоны стали!

— Как так стали?

— Вот так, застыли в каре. Никакого намека на прежнее буйство. Стоят как ассирийцы или персы. Может быть, шарахнуть по ним тяжелой частицей, шеф?

— Еду!

Крупно: усталые, сосредоточенные на одной идее глаза «шефа». Средний план: дряхлый разболтанный лимузин, не иначе из гаражей Аль Капоне, «шеф» за рулем, за стеклом вьюга. Панорама: войско Дария Гистаспа в зловещем безмолвии ощетинилось пиками; мезоны...

В последней попытке хоть что-то спасти привел Крафаилов *своего* безумного дружелюба на *свой* холм.

— Беру за рубль комплект — телекомбайн с прицепом плюс мельхиоровые вилки, а они у меня уже есть — брал с финским сыром. Значит, на мельхиоровые вилки покупателя найду и снова у меня рубль, и я тогда комплектом отовариваюсь в гаражном кооперативе...— тихо бормотал Агафон Ананьев и тихо пестрил золоченым карандашиком записную книжечку и как бы отгораживался локтем — никому, мол, не мешаю.

— Вот смотри, Агафон, Агафоша, дорогой ты мой человек! — несвойственным себе струнным призывным тоном проговорил Крафаилов и веерным жестом распахнул перед дружелюбом горизонт.

Он был уверен — проникновенное созерцание Железки исцелит помраченный дьявольским искусом разум Ананьева. Ведь чего проще, казалось бы,— стой и молчи, и зрелище родной, пронзительно любимой структуры, ее скромное, но удивительное полыхание в закатных снегах изгонит мышиную суету, наполнит сердце твое простым и мудрым блаженством.

Он глянул и сам со своего холма, и ужас хлобыстнул его лопатой ниже пояса — Железка в этот вечер ему *не понравилась*. Что же произошло, что изменилось? Да ничего не произошло, ничего не изменилось, но что-то неясное — то ли гнев, то ли раздражение, то ли просто сплин — проглядывало в любимых чертах... и крохотная желтая тучка стояла над пищеблоком физиологического вивария...

Да что же это? Неужто жалкая амбициозная заезжая личность может так легко прервать контакты, нарушить сокровенные связи нашей осмысленной, мирной и кропотливой жизни, исказить невыразимые черты нашей Железки, исказить невыразимое?

— ...утюг обращаем в аккордеон вместе с канарейкой, а канарейку в мотор «Вихрь» плюс магазин «Детский мир»...— тихо считал Агафон, глядя в разные стороны горизонта пустыни некомплектными глазами.

Однажды в морозное вёдро антициклона местный самолет Жучок-абракадабра совершил удивительный, или, как в газетах пишут, памятный, рейс с цветами.

Пилоту Изюбрскому дяде Яше кружило голову полночным ароматом ЮБК и Кавказской Ривьеры, гремела в утлом аппарате бесшумная симфония запахов и красок, гремела в спину, шевеля лопатки, морозными воспоминаниями о третьей декаде жизни струилась по позвоночнику немыслимая икебана из роз, тюльпанов, гладиолусов, пионов, хризантем, нарциссов, непорочных и пленительных маков, но руль он держал крепко: такая профессия.

Пассажиров в икебане как бы вроде и не было — таились, друг друга не узнавая, меняя черты лица хрустящим целлофаном.

Слава Богу — долетели!

По слухам, роттердамская оранжерейная биржа дала в то утро непредвиденный скачок то ли вверх, то ли вниз — никто из инвеститоров не разобрался, но паника была большая.

Ну вот... Перед тем, как завершить третью часть повествования, нам следует во избежание каких-либо упреков сказать, что в самый разгар пургана-бурагана, когда ничто в округе не летало и не крутило колесами, в Пихты при помощи ерундового произвола прибыл для спасения повести автор.

Он остановился в гостинице «Ерофеич», дав администрации подписку о немедленном выезде из отеля по первому же ея требованию.

Сейчас чемодан уже упакован, коридорная в зорком пенсне с инвентарным списком стоит на пороге, но автор — каков смельчак! — предлагает терпеливому читателю небольшой приз под названием

ИНСТИНКТЫ

Как известно, огромные собаки породы сенбернар в течение многих уже веков являются профессиональными спасателями. Каждый сенбернар от рождения снабжен инстинктом разгребания лапами снега, если под ним происходит замерзание человека. Пихтинский гигант Селиванов тоже не был обделен природой.

На исходе штормовой недели Селиванов гулял в районе засыпанного снегом горпарка, в секторе аттракционов, как вдруг почувствовал под собой на большой глубине биение теплого человеческого сердца.

Велика была радость хорошего, умного пса, когда в нем проснулся древний благородный инстинкт. Бешено работая всеми четырьмя лапами, одним хвостом, одним носом и двумя ушами, уподобляясь совершеннейшей спасательной машине, Селиванов в считанные минуты откопал человеческое тело, которое оказалось шофером городского такси Владимиром Телескоповым.

Владимир пребывал под снегом уже в состоянии клинической эйфории, улыбался ярко-синими губами, еле слышно пел песню Магомаева «Благодарю тебя». Пес, превозмогая запахи парикмахерской и бензоколонки, благоговея и ликуя, лег всем телом на Телескопова и в считанные минуты шерстью своей и мощным дыханием отогрел бедолагу.

— Сколько время? Десять есть? — таковы были первые слова Владимира.

Пес Селиванов в это первое тихое утро спас водителя Телескопова, а тот в знак благодарности подвез его до дома на такси.

Всегда до глубоких корней меня волнует взаимовыручка людей и животных.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
сквозь сон Мемозова

...просит —
чтоб обязательно была звезда
хоть одна...

Владимир МАЯКОВСКИЙ

Почему все это происходит на квартире одного из нас, нашего любимчика Кимчика, а его самого не видно?

Мы входим. Нас встречает человек с протезом головы: каленый бильярдный шар в огромных черных очках с перекладиной непонятного назначения.

— Здравствуйте. Кимчик дома?

— Никого здесь нет! Никого! Ни мамы нет, ни папы нет. Никого! Бояться некого! Одна лишь ассирийская колдунья Тифона! Тифона! — поет протез.

Оставь насмешку всяк сюда входящий, думаем мы. Увы, насмешка не галоши. Стены типового коридорчика украшены дурацкими коллажами из плодово-овощных реклам, плесневелых иероглифов, баночек с засушенными сороконожками, птичьих лапок, скандинавских рун, таблиц и знаков каббалы. Тьфу, дешевка!

Затем мы проникаем в комнату, где когда-то над раскладушкой Кимчика висел портрет Хемингуэя, рядом с ледорубом, гитарой и рапирой. Теперь ничего этого нет, а есть опять же одна лишь Тифона: черные стены и стулья по количеству приглашенных.

В углу камеры-обскуры, растопырив крылья, сидит унылый мемозовский орел Рафик, в другом углу неодушевленная, в отличие от наших собак, собака мясной породы Нюра. Из первого угла остро пахнет орлом, из второго остро пахнет мясной неодушевленной собакой, из третьего и четвертого углов не пахнет ничем, и в этом, по-видимому, заключается особый КОШМАР.

Как глупо! Невольно вспоминается ильф-петровский маг Иоканаан Марусидзе. Чем хочет жалкий Мемозов потрясти наше воображение? Не будем сплетничать, но все-таки — вы слышали? — говорят, в Москве все его растиньяковские попытки с треском провалились. Решил, значит, на провинции отыграться?

Вдруг дверь открылась, и вошел Мемозов в лиловой мантии. Отчасти это даже понравилось, ведь все ждали какого-то дьявольского извержения, все немного нервничали, и вдруг пришел человек в простой лиловой мантии. Во всяком случае, это тактично.

— Добрый вечер, ребята,— тихо и приветливо заговорил Мемозов на простом русском языке.— Рад, что вы пришли. Спасибо. Начну с комплимента. Вы помолодели, особенно дамы. Раздрызги, развалы, дрязги, ревность, шальные ночи пошли впрок. Скромно торжествую и продолжаю. Сейчас мы все заснем, включая и меня и моих ассистентов, но не тем холодным сном могилы и не тем физиологическим процессом торможения, и даже не гипнотическим сном, а сном особого свойства, природу которого мы постараемся выяснить вместе в процессе сна. Начнем, старики?

Эти обращения «ребята», «старики» были своими, близкими, и тон Мемозова был какой-то очень простой, свойский. Напряжение ослабело, но защитная насмешка все же не испарилась.

— Да ведь никто не заснет, Мемозов,— усмехнулись мы.— Никто здесь не заснет, может быть, только вы сами задрыхнете. Все присутствующие принадлежат к сильному типу нервной деятельности.

— А давайте попробуем,— простым задушевным тоном предложил Мемозов, мирно прошелся по комнате, пригласил в третий угол своего ассистента с протезом головы, закрыл плотно дверь, встал в четвертый угол и коротко сказал, словно выдохнул всем нам и себе, а также всем знакам каббалы: каракатице, щуке, сому, вьюну, скату, орлу, коршуну, аисту, сове, свинцу, олову, железу, золоту, ониксу, сапфиру, алмазу, карбункулу, голове, сердцу... сказал, как бы выдохнул:

Сон

Вроде бы что-то пронеслось по стенам, то ли яркие моменты истории, то ли клинопись, то ли нотные знаки, на долю секунды шарахнуло по голове каким-то звуком, но в принципе ничего не изменилось.

— Вот видите, Мемозов, никто не заснул,— засмеялись мы.— Бедный вы наш дилетант — опять провалились?

— Я начинаю с лести...

Мемозов поплыл вокруг гостей лиловой марионеткой на невидимых нитях.

— Я льщу вам, я льстец, я лью, я льюсь, я льном льну к постаменту научной славы. Вы сильные типы нервной деятельности, и никто из вас не заснул, один лишь я, унылый неудачник, впал в состояние трансформации, и сейчас я прошу снисхождения, и ставлю вот здесь в углу систему трех зеркал и Банку-73 с глубоководным братом, и в глубине зеркальной пропасти сквозь формалин ищу волшебный корень пентафилон, и, даже не призывая на помощь Тифону, Сета, Азазелла и Шеймгамфойроша, то есть без них, начинаю спать, а поскольку я сплю и вы суть мое сновидение, то не обессудьте, я разрушаю вашу повесть!

— Я продолжаю с презрения!

Мемозов приблизил к нам свое лицо и вздул на лбу венозную ижицу. Глаза его слились в один циклопический бессмысленный и яростный ЗРАК. Взлетел и повис над нами его орел, похожий на муляж орла. Однако в когтях муляжа извивалось беззвучно что-то живое, и в клюве дергалась жилочка мяса.

Собака, вернее, чучело собаки с блудливой порочной ухмылкой, обнажавшей желтый вонючий клык, кружилось в бесшумном вальсочке на задних лапах. На чреслах ее мясистых дрожали балетные пачки.

Человек с протезом головы встал на колени перед бельевым тазом, где булькали цветные пузыри, и начал горизонтальными и вертикальными пассами выращивать ядовитые и призрачные кусты, которые тут же таяли на наших глазах, чтобы уступить место новым, не менее ядовитым, ярчайшим и бессмысленным.

Все вместе было бессмысленно и уныло, но, увы, спасительная птичка иронии почему-то оставила нас и улетела сквозь черную стену в наружное морозное вёдро клевать засахарившуюся рябину и напевать свои столь любимые нами, а сейчас забытые песенки.

Увы, мы и впрямь почувствовали себя персонажами дурного сна и впали в желтую абулию, то есть в безволие.

— Я презираю логос и антилогос, ангела и демона, жуть и благодать.— Есть только я, одинокий и великий очаг энергии, и вы во мне, как мои антиперсонажи, как моя собственность, и я делаю с вами, что хочу, вопреки пресловутой логике, здравому смыслу и сюжету повести. Для начала поднимайтесь вместе со стульями. Ап!

И мы все повисли в воздухе, в его сне — не в нашем собственном, повисли на разной высоте и под разными углами наклона.

Мы были рядом, но связь прервалась. Ни звука, ни мысли не доходило от стула к стулу.

Он захохотал — довольный. Красиво! Какая блистательная по идиотизму и красивая картина! Видела бы это ваша красавица Железка!

Железка! Дабль-фью! Серебристая цапля! Прощальная вибрация любимого металла...

— А теперь прощайтесь со своими мечтами!
Ну вот и все, пришла пора прощаться...

— Я протестую! — вскричал вдруг юный голос, и в камеру-обскуру, сквозь черный многослойный мрако-асбест проник и укрепил кулаки на бедрах наш милый Кимчик, давний, молодой, в спартаковской линялой майке, в кедах и лыжных байковых штанах. Казалось, его не смущает присутствие господина с протезом головы, то есть его же самого, но оскверненного Мемозовым.
— Я протестую! Где моя гитара?! Где рапира?! Где Хемингуэй?! Пока что я ответственный квартиросъемщик и площадь эта малая — моя!

— Сегодня,— медленно и раздельно проговорил Мемозов,— сего-дня из всех этих жэковских и кооперативных домов весь научный персонал среднего поколения вынесет на свалку всех своих хемингуэев. Не смешите меня своим хемингуэем, хоть он у вас и вышит сингапурским мулине по шведской парусине. Подумайте сами — сколько уж лет он у вас висит?

Прощай, прощай, Хемингуэй! Я встретил тебя однажды в ночном экспрессе, и ты мне рассказал еще со страниц довоенной «Интернационалки» нехитрую историю про кошку под дождем. Прощай, прощай, Хемингуэй, солдат свободы! Прощай, мы больше не встретимся в Памплоне и не будем дуть из меха вино. Прощай! Я прощаюсь не только с тобой, но и с твоим лихим, солдатским, веселым южным алкоголем. Увы, нам уже не въехать на джипе в пустой, покинутый немцами Париж, нам уж не опередить армию, и я забуду твою науку любви, ту лодку, которая уплывет, и науку стрельбы по буйволам, и науку моря, науку зноя и партизанского кастильского мороза.
Прощай, тебе отказано от дома, ты вышел из моды, гидальго XX века, первой половинки Ха-Ха, седобородый Чайльд, прощай!

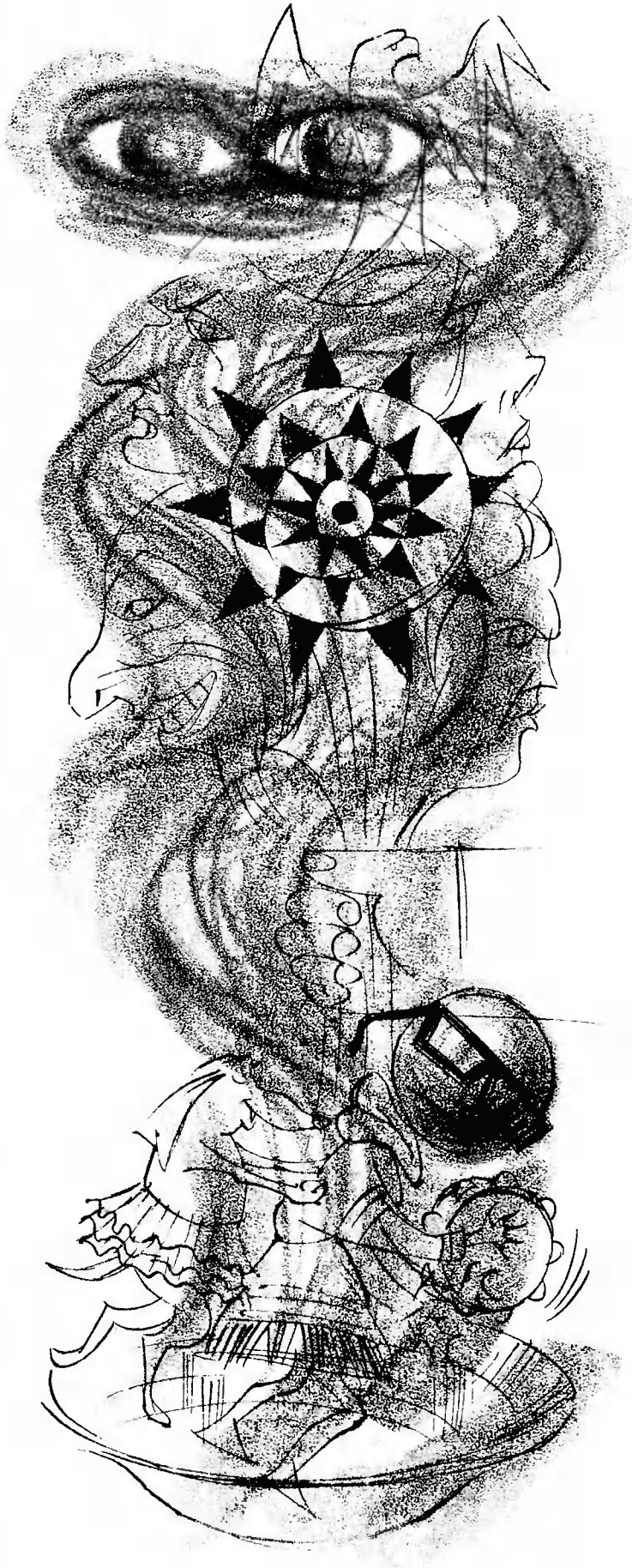
А ведь я полагал когда-то с ознобом восторга, что мы не расстанемся никогда.
Теперь — прощай!

Затем, очень быстро — много ли надо во сне? — камера-обскура превратилась в некое подобие боксерского ринга, на котором человек с протезом головы совершил быструю расправу над молодым Кимчиком, и Кимчик улетел в бездонную пучину черных стен.

— Теперь прощайтесь с Дабль-фью, с вашей шлюхой подзаборной! Прощайтесь, не смешите человечество!

Мемозов, могучий и всевластный, уже не в тоге, а в набедренной повязке, переплетенный тугими мускулами, довольный и грозный, только что пожравший мореплавателей Кука и Магеллана, только что отравивший Моцарта и пристреливший Пушкина, короче — сытый и в белой безжизненной маске с неподвижной широкой улыбкой, открыл нам стену своего сна и левым глазом осветил широкую панораму прощания.

Что я увидел? С чем я прощаюсь навсегда? Я увидел мой город, знакомый до слез... Я увидел темный силуэт города меж двух морей, над светлым морем и под светлым морем, и в верхнем море, в светлейшем золотом море моей юности над Исаакием, над шпилем Адмиралтейства, над Водовзводной башней, над Нотр-Дам и над Вестминстером, над Сюим-



беки и Импайром слезинкой малою светилась моя летящая звезда.

Я увидел со дна колодца гигантскую плоскость уже поночному светящегося стекла и бронзовую толсторукую фигуру ангела, а над ними лоскут моего пьяного полночного неба, и в нем светилась моя летящая звезда.

Я увидел кипень ночной листвы на пустом трамвайном углу и асфальтовые отблески юности. я увидел стук собственных шагов, я увидел свой меланхолический свист про грустного бэби, который забыл, что есть у тучки светлая изнанка, я увидел тихий шум удаляющегося под мигалками автомобиля, и там, в перспективе улиц, в пустом морском небе, я увидел ее смех и щелканье каблучков, и летящую ко мне несравненную невидимую красавицу.

О, Дабль-фью!

А еще прежде была Лилит, рожденная из лунного света!

Итак, я все это увидел, чтобы попрощаться. Прощай, вокзальная шлюха с торчащими грязными бугорками подвздошных костей, с кровоподтеками на бедрах и на чахлых, измятых шпаной в подворотнях грудях — прощай! Прощай, моя Лилит, рожденная из лунного света!

И мы все замерли, когда по мановению спящего тирана панорама прощания стала медленно пропадать и наконец — «слиияла», растворилась в черноте.

Мы не спим, на нас его шарлатанские чары не действуют, но он, проклятый, спит, и мы стали персонажами не нашей повести, а его дурного сна, и сопротивление — бессмысленно.

— Ха-Ха! — вскричал хозяин сна.— Только ли сопротивление? Может быть, вы хотите найти смысл — в смирении? Смысла нет — ни в смысле, ни в бессмыслице, есть лишь Бес Смыслие, мой старый знакомый, вышедший в тираж и даже не добравший документов для получения пенсии. Есть я — Мемозов, ваша антиповесть, и вы теперь — в моих руках, а потому — прощайтесь!

Как? Неужели вы отважитесь поднять ваш перст даже на Нее? На нашу Железку? Немыслимо!

— Немыслимо, а потому возможно. Я вас лишу предательских иллюзий, лишу всего мужского и женского — прощайтесь! Объект вашей любви не легче и не тяжелее стула.

Мене! Текел! Фарес!

Разом вспыхнул вокруг нас голубой морозный простор, и мы почувствовали себя на нашем холме над нашей Железкой.

Бурая, окоченевшая от мороза долина лежала под ослепительным небом. Что может быть тоскливее такой картины — бесснежная свирепость, мгновенно окочурившееся лето? Лучшей погоды для надругательства не выберешь.

Наша Железка лежала внизу как неживая, как будто и она была убита мгновенным падением температуры, как будто сразу из нее выпустили ВСЕ: наши споры и смех, и табачный дым, и газ, и электричество, и горячую воду, все наши годы, все наши муки, все наши хохмы, все наши мысли, все наши надежды — всю ее кровь. Мы стояли на твердой глине, на наших замерзших следах пятнадцатилетней давности и молчали, потому что никто друг друга не слышал, и сколько нас было здесь, на холме, неизвестно, потому что никто друг друга не видел. Никто из нас не поручился бы и за собственное присутствие, но все мы были уверены в близости кощунства.

Наконец появился хозяин сна — Мемозов. За ним влеклись его ассистенты — ковылял, как домашний гусь, некогда гордый гималайский орел, юлила профурсеткой на задних лапках некогда солидная корейская собака, низко распластавшись над землей, летел человек с протезом головы, который некогда был нормальным человеком, организатором досуга. Что касается самого Мемозова, то он двигался величественно, как будто бы плыл, и тога его мгновенно меняла цвет, становясь то черной, то лиловой, то желтой, и всякий раз яркой вспышкой озаряла бурый потрескавшийся колер древней картины сна.

Затем лицо Мемозова закрыло весь брейгелевский пейзаж и вновь надулось кровью, как у тяжелоатлета во время взятия рекордного веса. Увеличение продолжалось. Какой ноздреватой, кочкообразной кожей, напоминающей торфяное поле, оказывается, обладает наш рекордсмен. Крыло носа вздыбилось над мрамором ноздри, как бетонная арка. Вращаясь, бурля, кипя, закручиваясь, словно котел с шоколадной магмой, приближался, закрывая весь белый свет, глаз Мемозова. О ужасы, о страсти, о катаклизмы самоутверждения!

И вот процесс закончился: вращение магмы в зрачке приостановилось. Возникла прозрачнейшая бездонность, и там отчетливо и безусловно мы увидели страшное: наша родная Железка оторвалась от земли и всем своим комплексом висела теперь в воздухе.

В воздухе или в его проклятом сне... важно то, что она висела над поверхностью земли, и низ ее был гладок, словно и не было никогда никаких корней.

Тогда включился звук. Мы остались немы, но услышали дыхание друг друга и увидели себя на горе, под горой и по всей округе, все увидели друг друга, но Мемозов, сделав ужасное, замаскировался в пространстве. Наглый, хитрый и могущественный, он «слинял», как будто и не имел никакого отношения к ледяной коричневой прозрачности своего ЗРАКА. Лишь голос его хулиганской едкой синицей порхал над нашей толпой.

— Некоторые еще сомневаются в возможности телекинеза!

Происходило кОщунство, как мыслил осознавший себя Великий-Салазкин.

Зеркально гладкий поддон Железки висел над покинутым котлованом, отражал оборванные недоброй силой корни и энергетические коммуникации. Медлительно, но неумолимо котлован затягивала желтая ряска, неизвестно откуда взявшаяся на этом космическом морозе.

Мы все, киты и бронтозавры, потрясенные кОщунством, обнявшись, пели песню без слов.

О если бы небеса вернули нам искусство слова! Быть может, хоть что-нибудь нам удалось бы спасти!

И тут она взметнулась, как оскорбленная девушка или испуганная птица. Она стремительно ушла в высоту, в неподвижное и бездонное голубое небо, которое мы все еще видели как бы сквозь задымленное Мемозовское стекло. Она ушла так высоко, что казалась нам теперь огромной бабочкой, приколотой на голубой поверхности неба.

Прошел, ледяным ветром проплыл над нами миг, и бабочка из огромной стала просто большой.

Прошел, смрадом продышал над нами еще один миг, и бабочка из большой превратилась в маленькую.

Прошел, черными вороньими хлопьями прокаркал над нами еще один миг, и маленькая бабочка с красными пятнышками и терракотовыми прожилками стала еле видимым пятнышком в бескрайнем голубом небе.

Голубое, голубое... голубое до черноты...

— Она покидает нас! Она улетает! — запели мы хором.

Слово вернулось к нам, но — увы — слишком поздно. Она, подхваченная горькой обидой, улетала...

Она улетает!
И долго ли?
Протянется?
Тяжкий сон?
Шарлатана?
Она улетает!

И вернется ли когда-либо, никогда ли не вернется ли, когда ли вернется ли, не ли либо ли? Хитроумными извилинами сослагательного наклонения мы пытались бежать своего горя.

Она улетела, и хватит хитрить. Теперь выходи на широкий простор горя и пой!

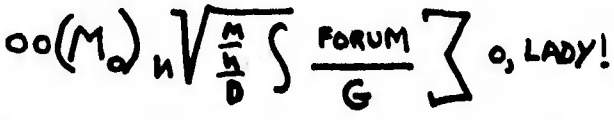
Горе было огромной чашей с хвойными краями, с волнистым диким горизонтом. Таежная зеленая губка с рваными порами заполняла все блюдо нашего горя, а в центре горя, там, где еще три мига назад теплела наша Железка, теперь пылало желчным огнем ледяное болотное злосчастие.

И пой!

Третье письмо к Прометею

О Прометей, я знаю, как труден твой путь на Олимп и как плечи твои отягощены плодами Колхиды! В те дни проколы в шинах и пересосы в карбюраторе вконец извели нас, и жгли ссадины, и кровь сочилась сквозь слишком тонкую для титанов кожу, но ты, привыкший к истязаниям орлов в ущелье, генацвале, ты шел вперед, таща, кроме венца тернового, еще венец лавровый и две покрышки на своих плечах, и утешал нас всех надеждой на краткий отдых там, где сейчас большой мотель, там, в Македонии на перевале!

Какой пример являл ты нам, кацо, когда мы вдруг увидели за перевалом ожившую картину Анри Руссо «Война»: разброд телесный, вывернутые ноги, и черные листья, и черные санитары войны — вороны, в том мире страшном, где как будто бы забыли, что в силу теоремы Гаусса в сочетании с «Диалогами» Платона мы испокон веков имели



И в клочьях дыма рыжего ты нас, Аполлинариевичей, вел сквозь всю картину, чтоб мы еще смогли увидеть в холодном синем небе родную улетевшую Железку, и потому, Прометей-батоно, в благодарность за вечное мужество мы преподносим тебе на шампуре вечного логоса дымящийся приз — вот этот шашлычок:

-XYZ-YXZ-ZYX-

всего лишь три кусочка, батоно, но извини — сейчас не до мясного... адью... пиши... я жду...

...Война промчалась, бешеная девка в обрывках комбинации на черной лошади по трупам, размахивая жандармской селедкой над головой, и стук ее копыт, и идиотский хохот, и свист меча в конце концов затихли в каких-то отдаленных палестинах, а я очнулся.

Я потрогал свой лоб, ощутил под кожей лба лобную кость, я потрогал нос и ощутил под пальцами кость и хрящ, я потрогал низ своего лица и вспомнил, что нижняя челюсть в юности называлась mandibula, и я возил ее в трамвае на урок, на коллоквиум, на зачет, на морозное крахмальное судилище госэкзамена, и она погромыхивала в портфеле вместе с фибулой и тибиа и лямина криброза и еще с десятком других человеческих костей. О, как прост в те дни был мир, а я еще не имел ни малейшего понятия о рибонуклеиновой кислоте!

...Рибонуклеиновая кислота? Ерунда! Мне ее вливали. Зачем? Для профилактики. Каков состав? Пожалуйста — шампанского сто граммчиков, тридцать граммчиков водочки, облепиховый ликерчик, лимонного сочку пару ложечек, портвейну таврического энное количество — таково «карузо», ярмарочное колесо, коктейль, сияньс молодежной жизни. Ты лыбишься? Значит, еще жив. Вставай, чего лежишь — простудишься!

...Я покупаю за рубль музей фарфора плюс кружку пива в комплекте. Теперь я хожу с кружкой пива, ищу любителя, потому что мне нужна путевка в санаторий — устал. Пиво расплескал, продал музей фарфора, купил путевку в комплекте со шпулькой ниток. Теперь живу на всем готовом, ничего не покупаю, а нитки подарил искателю ниток. Гори все огнем — я не заколдованный!

...На поле битвы лег туман, а снизу просочилась влага. Я все еще лежал и улыбался за порогом боли, и за порогом страха, и на пороге сизой смерти.

Вот что-то зашлепало, мерно и медлительно, но с неожиданными замираниями, с неожиданным глупеньким смущением, с подгибанием нелепой ножки, с робким покачиванием. Падали капли с клюва на падаль... миг — тишина... еще один осторожный шаг, тишайший разворот крыла, как будто пальцы, сведенные уже страстью, но еще стыдящиеся, тянут длинную молнию на спине.

Призыв памяти

Не забывай, не забывай, не забывай ярко-синего моря и всего, что связано с ним, не забывай ярко-черного рояля и всего, что связано с ним, не забывай ярко-белого Эльбруса и всего, что связано с ним, не забывай ярко-желтой яичницы и всего, что связано с ней, не забывай ярко-зеленого поля и всего, что связано с ним, не забывай ярко-красной, леденящей и пьянящей рябины и всего, что связано с ней, не забывай ничего голубого.

ПРИЗЫВ БЛАГОРОДНОЙ ДУШИ БЕЗВРЕМЕННО УСОПШЕГО ПУДЕЛЯ АВГУСТИНА

Безвременно не усыпайте, безвременно не усыхайте, безвременно не икайте, не рыгайте, безвременно не проклинайте, безвременно не искушайте, не жирейте, не пьянейте, не старейте, безвременно не молодейте, потому что и я усоп не безвременно, а просто пришло мне время погонять по райским лугам за той мухой, которую я не обидел.

Призыв Дабль-фью

О, муж мой сраженный, вставай и пой в ряду первых рыцарей, люби и жди!

О, муж мой сраженный, вставай и рычи своими рычагами, лети своими летунами, коли своими колунами, вези своими везунами, плыви своими плывунами, люби и жди!

Вся наша огромная толпа стояла на холмах и в низине и смотрела в небо, где не было вначале ничего, а потом появилось нечто, и, падая с удивительным сверканием и трепетом, подобно листочку фольги, нечто — весьма маленький предмет — упало к ногам Великого-Салазкина.

Это была новенькая чистенькая металлиночка, похожая на консервный ножик, почти такая же, как та пятнадцатилетней давности, что была заброшена академиком в глубь болот.

— Протестую! — закричал вдруг из какого-то бочага невидимый Мемозов. Мой сон затянулся. Рафик, клюнь меня в щеку! Нюра, прогавкай мне в ухо! Мик, напатырного спирту! Тинктуру саксаула!

— Халтур-ра! — прокаркал в вентиляцию чей-то добрый старческий голос.

Орел удалялся в бескрайний простор к своим заоблачным миражам, неся в когтях косматую подругу по рабству.

Человек с протезом головы сорвал очки, оброс свалявшейся шевелюрой, в которой вполне могли бы спрятаться маленькие симпатичные рожки, и, глянув исподлобья сатирическим взглядом, обернулся вечно юным стариком Кимчиком Морзицером. В руках у него была лопата.

У всех в руках уже были лопаты, у всей нашей толпы, у всех героев этой повести, у Эрика Морковникова и у его жены Луизы, у Самсика Саблера и у Слона, и у Натальи, и у их главного сына Кучки, и у Вадима Китоусова, и у таинственной Маргариты, и у Крафаиловых, и у благородного Августина, у Телескопова, у Серафимы и у Борщова, у вылечившегося Агафона, у великана Селиванова и у гостей доброй воли Эразма Громсона, Велковески, Ухары, Бутарага и Кроллинга, у всех докторов, кандидатов, аспирантов, техников, студентов и даже у вахтера Петролобова, а главная лопата была у Великого-Салазкина.

— Начнем по новой, киты,— смущенно прокашлял старик и зашвырнул консервную металлиночку на желчный болотный лед, где она сделала пью-пью-пью и остановилась.

— Начнем по новой наш сюжет! — крикнул академик и вонзил лопату в мерзлый грунт пятнадцатилетней давности.

И все мы вслед за мной вонзили в наш грунт наши лопаты, и на этом сон Мемозова кончился — прорвались!

Разом в Пихтах зазвонили все телефоны, загудели все селекторы, забормотали все уоки-токи, затрубили все трубы. Так бывало всегда, когда в Железке совершалось важное открытие.

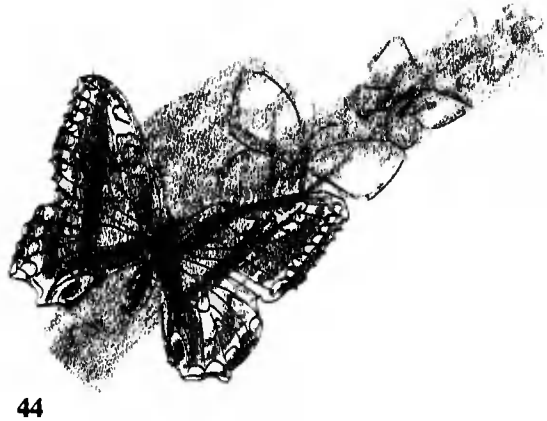
Кто-то из нас порвал локтем черные стены, и мы увидели в сверкающей снежной перспективе аллеи Дабль-фью улепетывающего Мемозова. Он мчался по снегу на велосипеде без шин, на смятых в восьмерки ободах, работал задком, клубился гривой и тогой, а над ним летел четырехсотлетний ворон Эрнест и подгонял бедолагу крикаром «Хал-тур-ра».

— Хал-турр-рра!

Так я отпускаю своего соперника Мемозова восвояси, ибо великодушие свойственно мне, как и всем моим товарищам по перу. А ведь что можно было с ним сделать! Подумать страшно...

Доверительности ради сообщаю читателям, что встретил своего антиавтора в Зимоярском аэропорту возле туалетной залы. Смиренным слезящимся тоном он попросил у меня трояк: не хватает, дескать, на билет. Как будто ничего и не было между нами! Что ж, подумал я, пусть летит подальше — для хорошей повести и трех рублей не жалко.

Иткол—Москва—Нида—Москва



РЭГТАЙМ В СТИЛЕ АКСЕНОВА

В этой повести с «преувеличениями и воспоминаниими» самое лучшее все-таки ие преувеличеиия, а воспоминаиия.

«Я вспомиил, как одиажды в потоке машии поворачивал с улицы Горького иа бульвар и проехал мимо дома, где раиее жил умерший товарищ. Именно это чувство всегда присутствовало во мие: ои отпал, бедиый мой друг, а мы ушли вперед. Не так ли? И вдруг при виде дома с широкими окиами, с толстым стеклом, витой решеткой балкоиа и кафельной плиткой меня пронзило совершеино новое ощущение — а вдруг это ои иас всех опередил, он ушел вперед, а мы — иа месте?»

Обжигающая душу метафизика, виезапно пронзающая необязательный, еще молодой быт; ощущение иадвигающегося одиночества, детдомовский комплекс коллективного братства — всё это Василий Аксенов, его тема, неизменно прорывающаяся сквозь лихие гротески и уже несколько усталые фаитазии.

Ностальгическая «Золотая иаша Железка» есть не что иное, как меланхолическая импровизация иа тему «золотые иаши шестидесятые». Рэгтайм в стиле Аксенова, где к читателю возвращаются песни воеиных лет и популярные джазовые мелодии иашей юиости, «гигаитские шаги» пионерского детства и трамваи сорок третьего года, переполнеиные стадионы послевоенных сороковых и высотные московские дома пятидесятых — сталинская «готика» в идилли́ческом освещеиин.

Молодые отечествеииые джазмены тех лет иеречислены в повести поименно. Потому и «рэгтайм», что ретро-ритм задает движеиие этой вещи. Не случаеи в биографии Аксеиова и удачиый перевод иа русский известного романа американца Э. Доктороу под тем же иазваиием — «Рэгтайм». «Золотая иаша Железка» в культурном коитексте иевольио рифмуется с «золотым веком джаза».

Аксеиов воспитал в себе западника иазло всякого рода идеологическим и эстетическим табу. Но это был очеиь русский, даже провинциальио русский и иринципиальио советский вариант заиадиичества. Раскалеииая от гиева литературиая печать ие раз указывала иа иозорную зависимость «звездных мальчиков» Аксеиова от героев Сэлиджера. Продолжалось классовое сражение, и про общечеловеческое думалось редко.

Имеино в начале шестидесятых к Аксеиову пришла иастоящая популяриость. Со страииц его первых повестей и романов шагнули подростки и юиоши из городских современиых кварталов и заговорили иа своем взъерошеиином языке, шокируи тех, кто давно привык к пережеваиной литературной пище. Экзотический, дразиящий стиль иового автора отрицал ложную патетику, хамелеоиство в слове и поступке, которое окружало его молодых персоиажей.

В повести «Коллеги» одии из героев говорит другому: «Ух, как мие это надоело! Вся эта трепология, все эти высокие словеса. Их произиосит великое миожество идеалистов вроде тебя, ио и тысячи мерзавцев тоже... Давай обойдемся без трепотии. Я люблю свою страну, свой иарод и не задумываясь отдам за это руку, иогу, жизиь, ио и в ответе только перед своей совестью, а ие перед какими-то словесными фетишами. Оии только мешают видеть реальиую жизиь. Поиитио?»

Как бы ии отиоситься сегодия к раниим ироизведениим Аксеиова — «Коллегам», «Звездиому билету», «Апельсииам из Марокко», «Пора, мой друг, иора...»,— иельзя ие иризиать, что это были талаитливые, живые кииги. Официальиая критика долго ие могла простить прозаику эпатирующие ее слух вольиостн, с порога отверган и жизиеиную правду, которая пульсировала в аксеновских повестях и романах. Поздиее в путевых заметках «Под зиойным иебом Аргеитииы» писатель спародирует свои взаимоотношеиии с литературиой печатью. В ролн критика выступает красавец таможеииик из Буэиос-Айреса:

«— Ну, а это что такое? — спросил старший красавец, выиимая из моего чемодаиа повесть «Апельсииы из Марокко».

— Беллетристика,— поклоиился и.

Красавец взялся листать мою злополучную повестушку, потом унес ее к себе, в маленькую комнатушку, видимо, увлекся. Вериулся иахмуреиный. Усы стояли косо на лице, а брови сошлись и торчали вверх, как редакторская птичка.

— Где вы видели таких молодых людей? — сурово спросил он.

— В жизни,— скромио ответил я.

— Миого пьют в этой вашей книжке,— сказал он.

— С получки,— иояснил я.

— А апельсины — это что, символ?

— Вроде бы так,— сказал я.

— Выходит — символизм? Символический иамек, вроде бы так?

— Да что вы,— испугался я.— Никаких намеков. Простая история. Простая жизнь. Любовь...»

Литературные таможеииики постоянно трясли багаж писателя, держали его на подозрении, не пускали в печать. Ну, скажите, что «крамольного» можно было обиаружить в этой иесчастной, буколической «Железке»? Или в «Стальной птице» — другой аксеновской повести со столь же печальной судьбой?

Сейчас, перечитывая книги Аксенова, видишь в них немало иаивного, художествеино небезупречного, но обаяния своего оии ие нотерили до сих пор. В иих миого иронии и озорного юмора, которых так не хватает нашей жизни и литературе.

Аксенов работал и работает во миогих жаирах. Он пишет романы, повести, киносцеиарии, пьесы, ио лучшее, что он создал, прииадлежит, на мой взглид, жанру рассказа. «На полпути к Луие», «Дикой», «Малеиький Кит, лакировщик действительиости», «Лебяжье озеро», «Жаль, что вас ие было с иами» — каждое из этих произведеиий может войти в аитологию. Есть у иего и подражательные вещи — известиый рассказ «Победа», к примеру, создан под прямым влияиием Вл. Набокова. Рассказы Аксеиова сочетают в себе довольио редкие в иашей литературе качества — юмор и нежность, оии артистичны и чуть-чуть печальиы, даже тогда, когда щегольство формы, казалось бы, переливается в них через край. Оии часто иаписаиы ие в «форме самой жизии» — с фаитастическими преувеличеииями, гротеском, сатрическим остраиеиием.

Аксеиов, как правило, ие бывает скучиым, пресным. Он один из тех, кто привиес в современную русскую прозу «игровое», свободиое начало, освежил ее палитру. Наша литература настрадалась от описательиого иатурализма, от безъязычии. В шестидесятые годы с разиых сторон «горожаие» В. Аксеиов и А. Битов и «деревеицики» В. Белов и В. Распутии возвращали в русскую прозу литературиопоэтический изык, художественный стиль.

Аксеиов создал целую галерею запомииающихся героев. Добрый малый, иескладиый, как собственная кличка, трагически погибающий Кьянукук из романа «Пора, мой друг, пора...»; работяга Кирпичеико из рассказа «На полпути к Луие», возиесеииый силой любви иа иебеса в примом и иереносном смысле слова; бывший футболист, отец малеиькой девочки из рассказа «Папа, сложи!»; скульптор Яцек из рассказа «Жаль, что вас ие было с иами»; артист оригииальиого жаира Павел Дуров, тоскующий о чуде любви и красоты («Поиски жаира»); лихой шоферюга Володя Телескопов — сквозиой герой иескольких произведеиий, в том числе повестей «Затовареииаи бочкотара» и «Золотая наша Железка».

И все же главиым персоиажем аксеиовского творчества является он сам, или, как говорит литературоведы, образ автора, иногда явио, иногда незримо присутствующий в каждой клеточке письма. Это иаш совремеиник, родом из воеииого и детдомовского детства, потом врач, потом профессиональиый литератор, иебезгрешиый, спотыкающийся о камии собстаеиного успеха, пришедший в нрозу со своим, иезаемиым литературным жестом, умеющий видеть в жизии ие только смешиое и иедостойиое человека, ио и доброе, достойное пафоса нежиости.

Вериемси, однако, к «Золотой иашей Железке». Оиа, в сущиости, ие о физиках, а о лирнках. Повесть поиравилась академику Роальду Сагдееву, который прочел ее по просьбе «Юиости» питиадцать лет тому назад. Академик хорошо поиимвл, что читатели и критики у иас бывают разиые, и поэтому специальио доходчиво растолковывал в своем кратком отзыве, что «ие следует свизывать предмет научиых исследоваиий героев с какими-то коикретиыми физическими явлеиииями, изучаемыми в каких бы то ии было реально существующих лабораториях». Академик призывал также не искать физического смысла в формулах, которые встречаются в рукописи. Сейчас это выглядит забавно, а тогда необходим был авторитет физика Сагдеева, чтобы спасти и иапечатать повесть.

В те времена то и дело приходилось всерьез отстаивать права художественной условности. Большой скаидал разгорелся после публикации аксеновской «Затовареииой бочкотары» («Юность», 1968, № 3). Редакция специально попросила меня иаписать небольшое послесловие, разъясняющее стиль и смысл повести. Хитроумная эта затея лишь подлила масла в огонь. Критики Гр. Бровман и Гр. Оганов возглавили погромный поход против повести, обвинив ее в модериизме и искажении советской действительности. Заодно досталось и мие. Потом дело дошло до партийных указаний. Краснопресиенский райком партии, проверявший работу парторганизации журнала «Юность», специально отметил в своем постановлеиии порочность как повести, так и послесловия. Помнится, спокойио оценил «Затовареииую бочкотару» один Ст. Рассадин в «Вопросах литературы». Остальные отклики были дружно недоброжелательиы.

9 апреля нынешиего года я был приглашеи в театр-студию Олега Табакова на просмотр «Затовареиной бочкотары». Кто бы мог подумать! Молодые, красивые актеры, по возрасту наши дети, самозабвеино и весело играют блестящий аксеиовский текст. А ведь «Бочкотара» даже из кииг Аксеиова выбрасывалась и существует у нас только в журиальном вариаите.

Олег Павлович Табаков, мой добрый товарищ, когда-то замечательио исполнял женскую (!) роль в аксеновской комедии «Всегда в продаже!» на сцеие театра «Современник». И вот теперь его воспитаииики поставили и играют «Затовареииую бочкотару» (режиссер и автор инсценировки Евгеиий Камеиькович), спектакль, о котором сам Табаков мечтал давно.

Жаль, что автора ие было с иами!

Десять лет тому назад Аксеиов уехал на Запад, потому что не верил в демократические перемены у себя на Родине. Ускорила отъезд история с альманахом «Метрополь». До сих пор думаю, что со стороны его главных оргаиизаторов, и прежде всего Аксенова, не все было этически безупречно. Тем ие менее должен сказать следующее: я искреине сожалею, что выступил тогда в хоре осуждеиия «Метрополя». Вся эта история еще ждет своего объективного рассмотреиия.

Я думаю, что не иадо так уж намертво связывать политику с художественной литературой. Некоторые высказывания Аксеиова во французской и американской печати вызывают мое иесогласие. У нас не совпадают политические взгляды; мие ие могут нравиться его выпады в адрес отдельиых советских писателей, бывших его друзей, и т. п. Но все это ни в коей мере ие заслоияет от мени той очевидиой истииы, что Василий Аксенов — талантливый русский прозаик и его кииги должны быть доступны советским читателям.

Аксеиов отторгиул Родииу, или Родииа отторгнула Аксенова — сложиый и спориый вопрос, и здесь не место его решать. Он был лишен советского граждаиства, ио за какие преступлеиия? Писатель увез с собой рукопись романа «Ожог», где окоичательно рассчитался с ромаитическими иллюзиями молодости и взглянул на прошлое, в том числе и иа шестидеситые годы, трезвыми, беспощадиыми глазами. В романе есть сильиые страницы о судьбе родителей героя, безвиино репрессированиых большевиков.

Коиечио, это автобиографические мотивы. Мать Василия Аксеиова — Евгеиии Семеновиа Гинзбург, сама писательииица, автор знаменитой кииги «Крутой маршрут». Отца — председатели Казаиского горисполкома — арестовали прямо в приемиой М. И. Калиниа, куда он был специальио вызваи всесоюзным старостой. Говорят, Калиниии провожал П. Аксеиова со слезами иа глазах. Даже если ие так, «слезы» стоило выдумать, иастолько хороша, пластичиа картииа этого христианского прощаиия.

Повторю еще раз: воспомииаиия у Аксеиова стилистически продуктивней, чем преувеличения. Вот и нам иадо больше вспомииать и меиьше преувеличивать. А для иачала переиздать лучшие рассказы и повести Василии Аксеиова, вериуть их в отечествеииую литературу. Включая, коиечно, «Затовареиную бочкотару», которая, как выясиилось за эти долгие годы, так и не затоварилась окоичательио, ие затюрилась и ие зацвела желтым цветком.

Евгений СИДОРОВ

Надежда КОНДАКОВА

Метроном

если вдруг за смещеньем двойным и тройным
новым зреньем почти марснанским зрачком
ты увидишь себя и огием нутряным
опалишь метроном или ляжешь ничком
на текучее время на рваную гладь
чтобы было коросту легко отдирать
если вдруг индульгенции выданы зря
и на всех не хватает белил и чернил
это значит что вечером ты без царя
в голове обезумевшей все сочиииил
или в черные маги тебя произвел
на краиленой бумаге сплошной произвол
вол истории вышит как бы по канве
по траве-мураве по больной голове
и в почти неживые воловьи глаза
демиургом вмонтированы образа
я смотрю на тебя и не вижу Христа
в цеитробежиости этой смурной и чумной
вырастает пространство за граиью холста
и ползет как гадюка но свету за мной
изо всех иевозможиых на свете музы́к
выбираю я зык и язык тороплю
и срывается иебо больиое иа крик
прнближая пространство земное к нулю
я люблю этот темп этот нимб этот плач
ты незряч но у злачного мака в груди
отдыхаешь завернут в пурпуровый плащ
а палач с метрономом еще впереди

Ликбез

генетический страх на кострах возведеи на кастратах
па утратах пирах колосках из карманов изъятых
дух тощал обещал отторженье крушение крах
дух прощал и вещал завещал генетический страх
ои в коленках дрожал он рожал ощущение дня
небесам угрожал поражал средостенье огня
н в пробитые молью прошитые болью слова
он входил как в подполье ЧК где как будто жива
эта высшая мера Гомера слепая строка
неподъемная вера усопшего черновнка
он стоял ои сиял ои лучился в безумиых глазах
в отвердевших слезах на тяжелых крестьянских возах
он пылал в середине отравленной болью души
он шептал по ночам расскажи расскажи расскажи
он вчера был похож иа объятого злобой слоиа
на матрешку сегодня а завтра мие кажется на
красногрудый кириич из парящей иад миром стеиы
и отлитую в сиич обороиосиособиость страны
сиичку гасят не сразу когда собираются сжечь
словио иротивогазом закрытую страхами речь
если сказано «а» а затем недосказано «б»
то свободны слова как Неглиика в вонючей трубе
по тебе не рыдает расплющенный сном каземат
если слезы глотают любой кто готов изымать
на ликбезовских курсах на неиодцензурных иирах
растворенный во вкусах слепой генетический страх
прах развеян по ветру рассыпаи зарыт в лагерях
растворееиый как вера как свет защемлееиый в дверях
ах какие же саваны нужно набросить на страх
тыщи прях иедостаточно тысячи парок и прях

Гербарий

I

Ты сам себе палач и сам себе Спаситель
и в тысиче зеркал увы отражено
не то чтобы души исиорченный смеситель
не то чтобы лица увечное окно
а все что сметено и смято и в смятенье
заброшено навек и взято на излом
и иервородный грех в гербарии к растеиьям
отправлен и иришит засушенным крылом
на слом идет душа дыша и холодея
идея в антраша застыла над толпой
и эллинская блажь оплакав иудея
очнулась в голытьбе разрухою слепой
ты глаз не закрывал когда гремели хоры
и хором по слогам слагали небеса
не то чтобы псалмы российского позора
не то чтобы холмы объемы и леса
где пряталась гроза от выдоха до вдоха
единая как нить отправлениая всиять
от рваиого клубка больиого как эиоха
способиая распять и выморочио спать
раз пять к тебе взову и более не буду
покуда трижды три ие прокричит петух
покуда жду трамвай чтоб задушить Иуду
и Гефсиманский сад по TV ие потух

II

Уличать тебя больше не буду
и сама расскажу как в бреду
что совсем не тебя а Иуду
я ждала в Гефсимаиском саду
это киижиая выморочь скажешь
насмотрелась дешевых кино
и холодную полость пейзажа
отодвинешь со мной заодно
но на дио леирозория века
опускаясь как лебедь больной
ты еще иожалеешь что в Мекку
в Парк культуры ходил не со миой
мой протест иротив ига неслышим
а про тест я тебе не скажу
как живем тои ami так и иишем
два в уме если по куражу

Стоматолог дождя

и когда ты уже ие работиик ие плотник
устроитель церковнославянских лесов
подлой плоти и духа щемящего сводиик
греховодник закрытый иа ржавый засов
и когда ты во сие появляешься длиином
без разбора в метафоры века входя
дышит жадно луна за глухим кринолиием
обращениого в маиию худого дождя
если нет у теби перфокарты вселеиной
и зуб мудрости вырваи еще до того
как рождеи ты был в этой тяжелой и илениой
дерматииовой люльке окиа твоего
если ты занавесял ползучую ревиость
и иадежду зажал в шестиналый кулак
бирюлевских окраин и вынес как древиость
на окраиию мира оциианиый флаг
это значит конец иереходит в иачало
и терновый веиец обращается в иоль
и как гуси летят куиола одичало
развевая по ветру небес каиифоль
и в фольгу заиеленуто сердце тугое
и больиичных длнниот тяжелит иростыия
среди гипсовых масок отца и изгоя
в глубиие бескоиечного русского дня

1/2 века

как корова на льду
на подмостках второй половины
(или в семидесятом году)
я еще неповинна

в том что время назад
шли по августу тучные танки
сквозь растерянный взглид
не страны а слепой маркитантки

бездна истин без дна
и покрышки слепая эпоха
в перископ не видна
то ли «б» это то ли Солоха

целомудрения ложь
а у правды короткие ноги
длинноногая дрожь
умирает в возвышенном слоге

как корова на льду
на подмостках второй иоловины
(или в восьмидесятом году)
я слепа и повинна

в том что вечность назад
шли по августу тучные танки
сквозь расплавленный взгляд
и разверстое чрево Лубянки

танки и рубаи
амфибрахии или хореи
вы стыдобы мои
в рубль сорок слепые трофеи

не меняла не вор
злое сердце в изношенном теле
поколения взор
вы слепым его видеть хотели

зря бормочет заря
словаря исковеркавы мерки
словно мухи внутри янтаря
мы застыли в своем фейерверке.

Виктор КОРОТАЕВ

Обращение на «Вы»

I

Я Вас давно люблю, Россия,
Об этом вслух не говори:
Она меня всегда бесила,
Глухая бедность словари.
Как объяснишь наплывы страсти,
С какими,
Презирая суд,
Фанатики,
Как на причастье,
На преступление идут.
И, обезумев,
Нелюдимы,
Ни жестом не переча ей,
К порогу женщины любимой
Приносят в жертву
Матерей.
...А я смотрю на Вас, Россия,—
Сравнить подобное дерзну,—
Как предок, лапотный и сирый,
На неприступную княжну.
Не подходя к черте запретной,
Он прячет чувство, одержим,
И упивается своим,
Не помышляя об ответном,
Неразговорчив и печален,
Лицом пригож,
А не женат,
Он ходит, сгорбившись,
Ночами
У белокаменных палат.
И если он пустые бредни
Не смог впервые удержать —
Не прикажите из передней
Его за это
В шею гнать.

II

Таким зело мудреным слогом
Я выражал свой юный пыл,
Когда с Россией,
Словно с богом,
Баском нетвердым
Говорил.
(Не потому, что мудрым был.)
Поначитавшись всяких книжек,
Я распалял себя до слез.
Нет, нет, она не стала ниже,
Наверно, я чуток подрос.
Ну, что ж!
Изрядней стали силы,
Определеннее черты,
И в обращении к России
Я перешел давно на «ты».
Как с речкой детства небогатой,
Где я плескался, оголец.
Как с милой матерью когда-то,
Как с добрым другом, наконец.
Не выхлопатываю визу,
Чтоб сбыть подпольно образа,
И не заглядываю снизу,
Коль надлежит глядеть в глаза.
У нас одни и те же дали,
И жар, и сдержанность в крови.
А доля трезвости
Едва ли
Помеха
Истинной любви.
И разговор наш будет длиться
Дотоле, надо полагать,
Покуда сердце
Сможет биться,
И реки течь,
И Русь стоять.

☆☆☆

Прозреваю, слава богу.
И, приветствуя зарю,
На себя перед дорогой
Зорко в зеркало смотрю.
Больше сивый, чем красивый,
Чаще в стуже, чем в тепле,
По случайности счастливой
Проживаю на земле.
Разгребая волны мрака,
Утверждая трезвый быт,
Мысль, как шустрая собака,
Впереди меня бежит.
И, за нею поспешая,
Осознав с людьми родство,
Никому не помешаю,
Не обижу никого.
Сам давно несу под сердцем
То ли горе, то ль печаль.
Но сквозь слезы погорельца
Все ж гляжу с надеждой вдаль.
Заживет в душе болячка.
И поправятся дела.
Только б верная собачка
Невзначай не подвела...

г. Вологда

После публикации начальных глав книги Н. Я. Мандельштам «Воспоминания» («Юность» № 8, 1988 г.) мы получили много писем с просьбой продолжить их печатание. Поскольку главы, посвященные воронежскому периоду, вышли в журнале «Подъем» (тут есть своя справедливость: в городе, куда был сослан Мандельштам, спустя 55 лет печатаются воспоминания его вдовы, добровольно разделившей с ним ссылку...), то в этом и последующих номерах «Юность» знакомит читателя с заключительными главами первой книги.

Полностью «Воспоминания» выходят в издательстве «Книга». В основу публикации положена авторизованная машинопись. Учтены пометы, сделанные Н. Я. Мандельштам в 70-е годы на экземпляре первого зарубежного издания (Издательство им. Чехова, Нью-Йорк, 1970), и, в частности, подстраничные авторские примечания. Места, отмеченные цифрами, кратко комментируются в конце. Ряд инициалов раскрывается в угловых скобках (в период работы над книгой они не расшифровывались автором). По странному совпадению «Воспоминания» впервые издаются на родине их автора в годы юбилейные для главных персонажей: в этом году — столетие Ахматовой, в следующем — Пастернака, еще через год — Мандельштама. Надежде Яковлевне в октябре 1989 года исполнилось бы 90 лет. Наверное, она предпочла бы, чтоб издавали не ее, а самого Мандельштама, и ждала, да так и не дождалась сколько-нибудь полного издания у нас произведений Осипа Эмильевича, а мы ждем до сих пор, но, видимо, это время уже настало. Хочется думать: что-то изменилось в нас и вокруг, и все то страшное, гибельное, растлевающее, чем до последних лет была полна наша жизнь и что так резко и пронзительно передано в «Воспоминаниях», более не повторится. Публикация этой книги стоит в ряду событий, вселяющих в нас такую надежду.

Н. Я. Мандельштам. 1979 год.
Фото Г. Пинхасова.

Надежда МАНДЕЛЬШТАМ

ВОСПОМИНАНИЯ

(Заключительные главы)

Социальная архитектура

В самом начале тридцатых годов О. М. как-то мне сказал: «Знаешь, если когда-нибудь был золотой век, это — девятнадцатый. Только мы не знали».

Мы действительно многого не знали и не понимали, и знание далось нам дорогой ценой. Почему за поиски совершенных форм социальной жизни люди всегда так жестоко расплачиваются? Недавно я услышала: «Известно, что все, кто хотел дать людям счастье, приносили им величайшие несчастья»... Это сказал юноша, который сейчас не хочет перемен, лишь бы не навлечь на себя и на других новых несчастий. Таких, как он, сейчас — толпы, разумеется, среди более или менее зажиточных кругов. Это — молодые специалисты, представители точных наук, чей труд нужен государству. Они живут в наследственных квартирах в две, а то и три-четыре комнаты или ждут ордера от своего института. Деятельностью своих отцов они напуганы, но еще больше боятся перемен. Их идеал — тихо просидеть всю жизнь за своими вычислительными машинами, не думая о том, зачем нужны их вычисления и к чему они приведут, а досуг посвящать кто чему — литературе, женщинам, музыке или поездкам на юг. Недаром старый остряк Шкловский, получив ордер на новую квартиру, сказал, обращаясь к другим счастливцам, въезжавшим в тот же дом: «Теперь надо молить Бога, чтобы не было революции»... Виктор Борисович попал в точку: предел личного счастья достигнут. Только бы

им насладиться... Только бы покой... Чуточку покоя... Нам его всегда не хватало.

Формула молодых специалистов, не желающих перемен, найдена превосходно: ведь действительно погоня за совершенством приводит черт знает к чему. Недавно человек другой судьбы, пожилой и много испытавший, активно боровшийся за «новое» — но не у нас — и потому сохранивший чувство ответственности за свершившееся, признался: «Раз в жизни мы захотели осчастливить народ, и никогда себе этого не простим». Впрочем, думаю, что он себе все простит и постарается взять от жизни все, что ему следует за заслуги... А там, внизу, те самые массы, про которых наговорили столько чепухи — музыка, не тронутые цивилизацией, механизированные и все прочее,— ломают голову, откуда бы добавить к зарплате, чтобы тоже мирно прожить. Кое-кто тащит в дом, что может, и на дело — укрепить венцы или купить обувку; а другие больше насчет четвертинки. Откуда достают они деньги, чтобы глушить себя водкой? Жил рядом со мной в Пскове маляр, бывший партизан, пожилой человек, еще и сейчас сталинец чистой воды. В дни получки он матом кроет обманувшего его бригадира, а к вечеру шумит в коридоре коммунальной квартиры: «Смотрите, как живет Григорий Семенович: все у него есть! Все ему Сталин обеспечил»... Жена уволакивает его в комнату, где они живут вчетвером, и там похвальба продолжается: «Квартиру дал, орден дал, жизнь дал, почет и уважение дал... А кто дал, сами знаете... Цены снижал...» Семейные праздники в этом семействе проходят чинно — собираются сестры жены с мужьями, вспоминают раскулачиванье — им удалось сбежать с родительского хутора сначала в прислуги, а потом на государственную службу. Жена маляра самая бойкая — во время финской войны она служила в столовой МГБ в прифронтовой полосе и помнит, что «финны злые». Они пьют за Сталина и утверждают, что раньше, в его, сталинское, время, у них все было, а теперь одни недостатки... Искалеченные зятья и пожилые женщины с маленькими детьми, рожденными после войны... Жена маляра прислуживала мне всю зиму, а весной донесла по привычке на свою соседку, сдававшую мне комнату, что у нее живет непрописанная. Потом она горько плакала, просила у меня прощения и ходила в церковь замаливать грех. Это могучее прошлое, которое постепенно сходит на нет. Эти если и хотят перемен, то только возвращения молодости, которая кажется им сейчас радужной, и того, кто научил их простейшим формулам: «спасибо за счастливую жизнь»... И музыка у них есть — телевизор, предмет первейшей необходимости. Нас, конечно, осчастливили, но никто в этом не раскаивается.

В начале двадцатого века возникло, как я понимаю это сейчас, убеждение, что уже пора создать такие совершенные, вериее, идеальные формы социальной жизни, которые должны, обязаны, не посмеют не обеспечить всеобщего благоденствия и счастья. Эта идея была порождена гуманизмом и демократическими тенденциями девятнадцатого века, но именно они-то оказались препятствием к осуществлению царства социальной справедливости: ведь девятнадцатый век был разоблачен как век высоких слов и компромиссных действий, лавирования и общей неустойчивости. По контрасту двадцатый искал спасения и свершения своих идей в прямолинейности, железном социальном порядке и дисциплине, основанной на повиновении авторитету. Все строилось наперекор прошлому. Жажда органического строя и одной идеи, которая лежала бы в основе миропонимания и всей деятельности, терзала людей в конце прошлого и в начале этого века. Любимое детище гуманизма — свободная мысль — расшатывала авторитеты и была принесена в жертву новым идеалам. Рационалистическая программа социальных преобразований требовала слепой веры и подчинения авторитету. Так был восстановлен авторитет и возникла идея диктатуры. Энтузиазм — не пустое слово. Он реально существовал. Диктатор силен только тогда, когда располагает кадрами слепо верующих исполнителей. Купить их нельзя — это было бы слишком просто, а вот когда они уже есть, можно добавить и прикупить — особенно если некуда податься. Но всякая идея имеет начало, кульминацию и спад. Когда наступает спад, остается инерция: юноши, которые боятся перемен, опустошенные люди, жаждущие покоя, кучки стариков, напуганных делом рук своих, и мельчайшие исполнители, которые механически повторяют внушенные им в молодости слова.

О. М. никогда не отказывался от гуманизма и его ценностей, но и ему пришлось пройти большой путь, чтобы назвать девятнадцатый век — золотым. Подобно всем своим современникам он пересмотрел наследство девятнадцатого века и предъявил ему свой счет. Думаю, что в формировании идей О. М. огромную роль играл личный опыт, опыт художника, столь же сильно определяющий миропонимание, как и мистический опыт. Поэтому в социальной жизни он тоже искал гармонии и соответствия частей в их подчинении целому. Недаром он понимал культуру как идею, дающую строй и архитектонику историческому процессу... Он говорил об архитектуре личности и об архитектуре социально-правовых и экономических форм. Девятнадцатый век отталкивал его бедностью, даже убожеством социальной архитектуры, и где-то он говорит об этом в статьях. В демократиях Запада, высмеянных еще Герценом, О. М. не находил гармонии и величия, к которым стремился. Ему хотелось отчетливого построения общества, «лестницы Иакова», как он выразился в статье о Чаадаеве и в «Шуме времени». Эту «лестницу Иакова» он почувствовал в организации католической церкви и в марксизме, которыми увлекался одновременно еще школьником. Об этом он писал и в «Шуме времени», и в письме к своему школьному учителю В. В. Гиппиусу из Парижа, куда уехал учиться по окончании Тенишевского училища. И в католичестве, и в марксизме он почуял организационную идею, связывающую в целое всю постройку. В Киеве в девятнадцатом году он как-то сказал мне, что лучшее социальное устройство мерещится ему чем-то вроде теократии. Именно поэтому его не отпугивала идея авторитета, обернувшаяся диктаторской властью. Смущала его в те годы, пожалуй, только организация партии. «Партия — это перевернутая церковь»... Это значило, что партия строится, как церковь с ее подчинением авторитету, только без Бога... Сравнение с иезуитским орденом тогда еще не напрашивалось.

Новые формы государственности начали впервые ощущаться после гражданской войны. Энгельс правильно заметил, что «смертоубийственная промышленность» всегда самая передовая. Об этом свидетельствует история пороха, а в наше время — расщепление атома. Точно так самыми «передовыми», то есть наиболее характерными и лучше всего выражающими идею государства, являются те учреждения, которые занимаются человекоубийственным промыслом во славу «социальной архитектуры»... Первая встреча О. М. с новым государством — это посещение Дзержинского и следователя, когда он хлопотал в 22-м году об арестованном брате. Эта встреча заставила его крепко задуматься над сравнительной ценностью «социальной архитектуры» и человеческой личности. «Архитектура» тогда только намечалась, но уже обещала быть неслыханно величественной, почище египетских пирамид. И ей нельзя было отказать в единстве замысла. Юношеская мечта О. М. как будто начала осуществляться, но, как всякий художник, О. М. никогда не терял ощущения действительности, поэтому величие государственных форм социализма его не ослепило, а скорее испугало. К этому времени относится стихотворение «Век», где он возвращается к прошлому и спрашивает, как связать «двух столетий позвонки», и статья «Гуманизм и современность». В этой статье говорится, что мера социальной архитектуры — человек, но что бывают эпохи, которые строят не для человека: «Они говорят, что им нет дела до человека, но что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что из него надо строить, а не для него». Как пример враждебной человеку социальной архитектуры он приводит Ассирию и древний Египет: «Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя; воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть достаален в любом количестве»... Современность напомнила О. М. Египет и Ассирию, но он еще надеялся, что будущие монументальные формы надвигающейся государственности будут смягчены гуманизмом.

Сохранились две фотографии О. М. На одной — еще молодой человек в свитере, у него озабоченный вид и серьезное лицо. Этот снимок сделан в 22-м году, когда он впервые открыл ассирийскую природу нашей государственности. На втором снимке — старик с бородой. Между этими двумя фотографиями прошло только десять лет, но в 32-м году О. М. уже знал, чем обернулись его юношеские мечты о красивой «социальной архитектуре», авторитете и преодолении наследства девятнадцатого века. К этому времени он уже успел сказать про ассирийского царя: «Он взял мой воздух себе. Ассириец держит мое сердце» [1],— и написать

стихи: «Мы живем, под собою не чуя страны». Одним из первых он вернулся к девятнадцатому веку, назвав его «золотым», хотя знал, что наши идеи разрослись из одного из семян, выращенных в девятнадцатом веке.

Под самый конец жизни О. М. успел еще раз вспомнить о пресловутой «социальной архитектуре» и посмеяться над самим собой: «Украшался отборной собачиной египтян государственный стыд, мертвецов наделял всякой всячиной и торчит пустячком пирамид. Ладил с готикой, жил озоруючи и плевал на паучьи права мудрый школьник и ангел ворующий, несравненный Виллон Франсуа»...

А может, мы в самом деле ассирийцы и потому относимся с таким равнодушием к массовому избиению рабов и пленных, заложников и ослушников? Услыхав об очередном избиении, мы говорим друг другу: «Ведь это массовое явление... Что тут поделаешь!..» Мы уважаем массовые кампании, мероприятия, начертания, решения и распоряжения. Ассирийские цари тоже бывали добрые и злые, но кто остановит руку царя, когда он подает знак к истреблению пленных или разрешает архитектору строить себе дворец?

А не были ли эти избиваемые пленные той самой массой, которою мы сейчас пугаем друг друга? Всюду, где есть железный порядок, там появляется «масса», но на производстве люди живут своей жизнью и остаются людьми. Я всегда замечала, что больница, завод, театр — эти замкнутые учреждения — живут своей особой, вполне человеческой жизнью, которая их вовсе не механизирует, не делает «массой»...

Не треба

«Мы, оказывается, живем в надстройке»,— сообщил мне О. М. в 22-м году вскоре после возвращения из Грузии. Еще недавно О. М. писал об отделении культуры от государства, но гражданская война кончилась. и молодые строители нового государства начали, пока теоретически, распределять места всем явлениям жизни. Тут-то культура и попала в надстройку над базисом, и последствия не замедлили сказаться. Клычков [2], дикий человек кротчайшего нрава, цыган с ярко-синими глазами, растерянно говорил О. М. про Воронского [3]: «Уперся, и не сдвинешь. Говорит — нам этого не надо». Воронский, как и все другие, отказывался печатать О. М.— ведь надстройка должна укреплять базис, а стихи О. М. для этого не годились.

Формула «нам этого не надо» еще смешнее прозвучала по-украински. В 23-м году О. М. пришел в Киеве в отдел искусств за разрешением на свой вечер. Чиновник в вышитой украинской рубахе отказал. Почему? «Не треба»,— равнодушно ответил он. Это изречение стало у нас поговоркой, а вышитые рубахи вошли в моду, сменив косоворотку, с середины двадцатых годов и стали чем-то вроде формы у ответственных работников ЦК и комиссариатов.

Полный порядок в надстройке был наведен в тридцатом году, когда в «Большевике» появилось письмо Сталина, призывающее не печатать ничего, что бы отклонялось от государственной точки зрения. Этим, в сущности, цензура лишилась всякого значения. Цензура, которую столько проклинали, является на самом деле признаком относительной свободы печати — она запрещает печатать антигосударственные вещи. Даже будучи дурой, как ей полагается, она все-таки не может уничтожить литературу. Сталинский редакторский аппарат действовал гораздо более целесообразно: он выбрасывал все, что не отвечало прямому государственному заказу. В редакции ЗКП [4], где я работала в момент появления сталинской статьи, начался лихорадочный пересмотр рукописей — мы крошили и резали груды материалов. Это называлось «перестраиваться в свете указаний товарища Сталина». Я притащила номер «Большевика» со сталинским письмом и показала его О. М. Он прочел и сказал: «Опять «не треба», но на этот раз окончательное». Он был прав. Это письмо ознаменовало переломный момент в строительстве надстройки. Его и сейчас не забыли хранители сталинских традиций, которые защищают советскую печать от мандельштамов, заболоцких, ахматовых, пастернаков и цветаевых. Довод «не треба» не перестает жужжать в наших ушах и по сей день.

А Сергей Клычков долгие годы был нашим соседом и по дому Герцена, и на Фурмановом переулке, и мы всегда дружили с ним. Ему посвящена третья часть «Стихов о русской поэзии»: «Полюбил я лес прекрасный...» Случилось это так — он прочел «Там без выгоды уроды режутся в девятый вал» и сказал: «Это про нас с вами, Осип Эмильевич»... В карты ни тот, ни другой не играл — у них был другой «девятый вал» и ставка крупнее всякой карточной.

Клычкова очень рано отстранили от редакционной работы, потому что по своей мужицкой природе он не мог стать чиновником и хлопотать о чистоте надстройки. Жил он переводом какого-то бесконечного эпоса, а по вечерам надевал очки с отломанной лапкой — он привязывал вместо нее веревочку — и читал энциклопедию, как ученый сапожник — Библию. Мне он сказал самое лестное, что может услышать о себе женщина: «Вы, Наденька, очень умная женщина и очень глупая девчонка»... Это было сказано по поводу того, что я прочла Лупполу [5] эпиграмму О. М. на него [6].

О. М. ценил «волчий», отщепенский цикл Клычкова и часто, окая по-клычковски, читал оттуда кусочки. Эти стихи отобрали при обыске, и они пропали, потому что Клычков не догадался их вовремя спрятать. Они исчезли, как все, что попадало на Лубянку. Исчез и сам Сергей Антонович. Жене сказали, что он получил десять лет без права переписки. Мы не сразу узнали, что это означает расстрел. Говорят, что он смело и независимо держался со следователем. По-моему, такие глаза, как у него, должны приводить следователей в неистовство. Следователи тогда твердо знали, что если они нашли человека виновным, значит, он виновен, поэтому в суде большой надобности нет. Им случалось пристреливать людей при допросе, и про Клычкова говорят, что он погиб именно так.

После смерти Клычкова люди в Москве стали как-то мельче и менее выразительны. Клычков дружил с Павлом Васильевым и называл его своим злым гением, потому что Павел таскал его к бабам и спаивал. Однажды в «Красной нови» редакционные девки нечаянно напечатали стихи Клычкова [7] под фамилией Мандельштама. Им пришлось пойти вдвоем в редакцию, чтобы отругать девок и перевести гонорар на имя Клычкова. Оба они были умные мужики и очень глупые мальчишки: им и в голову не пришло, что когда-нибудь встанет вопрос об авторстве этих стихов. Девкам не хотелось давать исправления — по ошибке, мол, напечатали «Маидельштам» вместо Клычкова... Они, то есть девки, испугались, что им достанется от начальства за небрежность, а то, чего доброго, их выгоият со службы. Вот О. М. и Клычков и не стали настаивать на исправлении, а теперь эти стихи заканчивают американское издание О. М. Хотелось бы предупредить редакторов следующего издания об этой ошибке, да до них ие дотяишься...

В те дни, когда решалась участь Клычкова и Васильева, мы с О. М., ожидая поезда на станции Савелово, случайно достали газету и прочли, что смертная казнь отменяется, но сроки заключения увеличиваются до двадцати лет. О. М. сначала обрадовался — казни всегда вызывали у него ужас,— а потом сообразил, в чем дело: «Как они, вероятно, там убивают, если им понадобилось отменять смертную казнь!» — сказал он. В 37-м году нам стало ясно, что людей отбирают для уничтожения по принципу «треба» или «не треба»...

Земля и земное

Женщина, вернувшаяся после многолетних скитаний по лагерям, рассказывала, что она со своими товарками по беде искала утешения в стихах, которые, на свое счастье, помнила наизусть, и особенно в юношеских строчках О. М.: «Но люблю эту бедную землю, оттого, что другой не видал...» [8]

Наша жизнь не располагала к отрыву от земли и к поискам трансцендентных истин. «Всегда успеешь,— говорил мне О. М. на мои разговоры о самоубийстве,— всюду один конец, а у нас еще помогут»... Смерть была настолько реальнее и проще жизни, что каждый невольно стремился хоть на миг продлить свое существование — а вдруг завтрашний день принесет облегчение! На войне, в лагерях и в периоды террора люди гораздо меньше думают о смерти, а тем более о самоубийстве, чем в мирной жизни. Когда на земле образуются сгустки смертельного страха и груды абсолютно неразрешимых проблем, общие вопросы бытия отступают на задний план. Стоило ли нам бояться сил природы и вечных законов естества, если страх принимал у нас вполне осязаемую социальную форму? Как это ни странно, но в этом не только ужас, но и богатство нашей жизни. Кто знает, что такое счастье. Полнота и насыщенность жизни, пожалуй, более конкретное понятие, чем пресловутое счастье. Может, в том, как мы цеплялись за жизнь, было нечто более

глубокое, чем в том, к чему обычно стремятся люди... Я не знаю, как это назвать — жизненной силой, что ли... Но я всегда вспоминаю свой разговор с Сонькой Вишневецкой, вдовой Вишневского. Мы как бы подытожили с ней все, что с нами произошло. «Вот мы и прожили жизнь,— сказала Соня,— я — счастливую, ты — несчастную...» Бедная, глупая Сонька! Не глупая, впрочем, а просто идиотка... У ее мужа был призрак власти в руках — к нему ходили на поклон писатели, потому что он распоряжался какими-то деньгами и сообщал своим «приверженцам» новые приказы правительства. Его пускали в ЦК, и несколько раз ему случалось быть на приеме у Сталина. Он пил не меньше Фадеева, жадно втягивал ноздрями государственный воздух и позволял себе фронду-минимум: требовал, чтобы напечатали Джойса, и посылал деньги сначала какому-то ссыльному морскому офицеру в Ташкент, а потом через моего брата [9] — в Воронеж. У него была машина, квартира и дача, которую подло отобрали у Соньки после его смерти. Соня до смерти осталась верна тому, кто дал ей эту роскошь, и гневалась на Хрущева за то, что наследникам стали платить половину гонорара, который весь, по ее мнению, принадлежал ей. Про Соню рассказывали груду анекдотов, но она все же была славная баба, и никто не сердился, когда она во весь голос кричала, что вредители убили ее мужа в Кремлевской больнице. А на самом деле ей очень повезло, что он вовремя умер, не успев передать свое наследство какой-нибудь Сониной конкурентке. Соне многие завидовали и пытались выбить кусок из ее рук. Это действительно называлось удачей и счастьем, в этом она была права.

Мне тоже хотелось если не «счастья», то хоть благополучия: «О сколько раз ей милее уключин скрип, лоном широкая палуба, гурт овец» [10], мирная жизнь с ее простым отчаянием, мыслями о неизбежности смерти и тщете всего земного... Нам это было не дано, и, может, именно это имел в виду О. М., когда сказал следователю, что потерял с революцией страх...

Акмеизм для О. М. был не только «тоской по мировой культуре», но и утверждением земного и общественного начала. Как у всякого человека целостного мировоззрения, в каждом его суждении видна связь с общим пониманием вещей. Разумеется, это не продуманная и разработанная система взглядов, а скорее то, что он назвал в одной из своих статей «мироощущением художника» [11]. «Я понял,— сказал мне Т<ышлер>, прекрасный художник,— сидит себе человек и режет ножиком кусок дерева, а вышел Бог...» И он же про Пастернака: «Зачем ему нужно было менять религию? Зачем ему посредники? Ведь у него было свое искусство». Подобно тому, как мистический опыт определяет религиозное мировоззрение, так и рабочий опыт художника открывает ему мир вещей и духа. Не этим ли опытом художника объясняется то, что взгляды О. М. на поэзию, на роль поэта в обществе и на «слияние умственного и нравственного начала» в целостной культуре и у отдельного человека не потерпели за всю жизнь существенных изменений и ему не пришлось отказываться от своих ранних, печатавшихся еще в «Аполлоне» статей? В основном он пронес через жизнь единство взглядов и мироощущения. В стихах, несмотря на отчетливое деление на периоды, сохраняется то же единство, и они нередко перекликаются с прозой даже более ранних периодов. Поэтому-то проза и может служить комментарием к стихам.

Верность земле и земному сохранилась у О. М. до последних дней, и воздаяния он ждал «только здесь на земле, а не на небе» [12], хотя и боялся не дожить до этого. «Хорошо, если мы доживем»,— сказал он мне. В одном из последних стихотворений, уже готовясь к смерти, он вспомнил, что «под временным небом чистилища забываем мы часто о том, что счастливое небохранилище — раздвижной и прижизненный дом» [13].

Читая «Самопознание» Бердяева, одного из лучших наших современников, я не могла не обратить внимания, насколько разно относились эти два человека к жизни и к земному. Быть может, это происходило потому, что один — художник, а другой жил отвлеченной мыслью; кроме того, Бердяев внутренне связан с символистами и, хотя у него уже намечаются разногласия с ними и некоторое в них разочарование, он все же не порвал с их «родовым лоном» [14], а для О. М. бунт против символизма определял всю сущность его жизни и искусства.

Для Бердяева «жизнь — это обыденность, состоящая из забот», он «был устремлен к поэзии жизни и красоте, но в жизни преобладала проза и уродство» (56 и 141 стр.). Понятие красоты Бердяева прямо противоположно тому, которое я видела у всех художников и поэтов, оторвавшихся от символизма. Ни для живописца, ни для поэта нет презренной обыденности; именно в ней он видит красоту — впрочем, это слово почти не употреблялось в моем поколении. Символисты — Вячеслав Иванов, Брюсов — в значительной степени присвоили себе жреческое отношение к жизни, и потому обыденность не совпадала у них с красотой. Возвращение на землю следующих поколений значительно расширило их мир, и он уже больше не делился на уродливую прозу и возвышенную поэзию. Я вспоминаю Ахматову, которая знает, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда» [15], и Пастернака с его горячей защитой обыденного в романе. Мандельштаму вся эта дилемма была бесконечно чужда. Он не искал выхода из земного, обычного, пространственного и временного в сферу чистого духа, как Бердяев и символисты, и постарался в своей первой попытке дать нечто вроде поэтики, обосновать привязанность к земле с ее тремя измерениями. Он говорит, что земля для него «не обуза, отнюдь не несчастная случайность, а Богом данный дворец». Далее следует полемический выпад против тех, кто, подобно Бердяеву, рвался отсюда в лучший мир и считал жизнь на земле признаком богооставленности. В том же «манифесте» — «Утро акмеизма» — О. М. пишет: «Что вы скажете о несчастном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает, как бы его перехитрить...» «Перехитрить» значит здесь — уйти из времени и трехмерного пространства. Мандельштаму, или, как он себя называет, акмеисту, трехмерное пространство-жизнь нужно, потому что он чувствует свой долг перед хозяином — он здесь, чтобы строить, а строят только в трехмерности. Отсюда его отношение и к миру вещей. Этот мир не враждебен художнику, или, как он говорит, строителю, потому что вещи даны для того, чтобы из них строить. Строительный материал — камень. Он «как бы возжаждал иного бытия» и просится в «крестовый свод» — участвовать в радостном взаимодействии себе подобных. О. М. слова «творчество» не употреблял, такого понятия у него не было. Он с юности ощущал себя «строителем» — «из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам» [16]. Отсюда не отталкивание от материи, а ощущение ее тяжести, ее предназначенности участвовать в строительстве. Бердяев неоднократно говорит о высшем назначении человека на этой земле — о его творчестве, но не раскрывает, в чем творчество заключается. Это, вероятно, потому, что у него нет опыта художника: ощущения тяжести вещей и слова. Его опыт мистический, который уводит его к концу вещного мира. Близкий к мистическому опыт художника раскрывает ему Творца через его творение, Бога через человека. Мне кажется, этот путь оправдан учением В. Соловьева и Бердяева о Богочеловечестве. И не потому ли всякому подлинному художнику свойственно то чувство правоты, о котором говорил О. М.?

У Бердяева, как он с этим ни борется, есть презрение к «массовому человеку». Это тоже сближает его с символистами. Уж не идет ли это от Ницше, который на символистов имел такое огромное влияние? Бердяев жалуется, что «мы живем в век мещанства, и он неблагоприятен появлению сильных личностей» (65). Бердяев «любил стушевываться». Ему было «противно давать понять о своей значительности и умственном превосходстве». Читая это, я вспомнила пушкинские слова — «и средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он» [17],— которые были совершенно неправильно поняты всей вересаевской сволочью. Ведь в них выражено простейшее чувство единения с людьми — такой же, как все, ничуть не лучше, плоть от плоти, кость от кости, разве что не такой ладный, как другие... Мне кажется, что это чувство единения с людьми, своей одинаковости с ними и, пожалуй, даже некоторой зависти к тому, что все они очень уж складные — неотъемлемый признак поэта. В юношеской статье «О собеседнике» О. М. говорит о разнице между литературой и поэзией: «Литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи... Содержание литературы переливается в современника на основании физического закона о неравных уровнях. Следовательно, литератор обязан быть «выше», «превосходнее» общества. Поучение — нерв литературы... Другое дело поэзия. Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Быть лучше своей эпохи, лучше своего общества для него не обязательно»... И О. М. искренно чувствовал себя равным людям, таким же, как все люди, а может, и хуже других людей: «Я с мужиками бородатыми иду, прохожий чело-

век...»[18] Позиция символистов была учительской — и в этом их культурная миссия. Отсюда их стояние над толпой, их тяга к сильным личностям. Даже Блок не избежал сознания своей исключительности, которое перемежалось, правда, у него с естественным для поэта ощущением связи с улицей, толпой, людьми. Для Бердяева, как для философа, а не художника, естественно сознание своего превосходства, но тяга к аристократизму и сильной личности — дань времени.

О. М. не любил и не позволял себе никаких выпадов против «мещанства». Мещан-бюргеров он скорее уважал и не случайно назвал Герцена, клеймившего их, барином[19]. Но особенно его удивляли наши нападения на мещан и мещанство... «Чего они хотят от мещан? — сказал он как-то.— Ведь это самый устойчивый слой — на нем все держится». В сущности, у него было прямое отталкивание только от одной категории людей — это от литературных дам, державших салоны, и от их итээровских сестер. Этих он не переносил за их претенциозность, и они ему отвечали тем же... В «Путешествии в Армению» есть место, которое могло бы показаться выпадом против мещанства. Речь идет о соседях по Замоскворечью... Но это не мещанство с его устойчивым бытом и привычками, а косная мрачная толпа безрадостных людей, которая добровольно и охотно пошла в новое рабство. Здесь он солидарен с Бердяевым, который заметил, что «после первой мировой войны народилось поколение, которое возненавидело свободу и возлюбило авторитет и насилие» (64). Но Бердяев считает, что это результат «демократического века», и в этом он не прав. Вся наша история последних десятилетий была предельно антидемократична, и эти процессы особенно четко выразились именно у нас. Ведь весь «вождизм», которым болела первая половина двадцатого века,— это отказ от демократии. Издали он не заметил, как затоптали простого человека, и не видел развития того, что мы называли «гепеушным презрением к людям». Ведь вождь был не один, а всякий, у кого в руках была хоть какая-нибудь власть: любой следователь и любой управдом... Мы не понимали, что такое искушение властью. Кто захочет быть Наполеоном, скажем? Но в том-то и дело, что какой-нибудь директор института стремится вовсе не наверх, а дико цеплятся за свое директорство и из него извлекает все наслаждение властью. Крошечные диктаторы развелись повсюду. Ими кишела и еще кишит наша земля, но они все же исчезают, потому что люди уже насладились этой игрой, ее время прошло.

Бердяев, подобно символистам, не признает «групповой морали» и «родового начала», потому что оно противоположно свободе (103). Здесь его свобода приближается к тому своеволию, которое расшатывало дореволюционную интеллигенцию. Ведь культура — это не только верхний слой общества, но и то, что передается из поколения в поколение, та самая преемственность, без которой рушится жизнь. «Родовое» часто невыносимо и приобретает застывшую форму, видно, в целом оно не так уж страшно, раз род человеческий все-таки устоял и существует. А угроза этому человеческому роду намечается не от родовой морали, а от чрезмерной изобретательности его подвижных слоев. О. М. называет поэта «колебателем смысла»[20], но это не бунт против устоев и преемственности, а скорее отказ от застывшего образа, от омертвевшей фразы, которая, застыв, искажает смысл. Это тот же призыв к жизни, к живому наблюдению, к регистрации событий — против омертвения. Не в этом ли смысле он говорит о «культуре-приличии»? В искусстве это, очевидно, повторение того, что уже было и кончилось, но что с радостью принимается людьми, потому что они предпочитают быть подальше от «колебателей смысла».

Главная проблема Бердяева — свобода, за которую он боролся всю жизнь, но этот вопрос для О. М. не существовал. Вероятно, как всякий художник, он не представлял себе, что есть люди, лишенные внутренней свободы; вероятно, он считал свободу неотделимой от человека, как такового. А в социальной области Бердяев стремился к примату личности над обществом (135); для О. М., вероятно, вопрос стоял о личности в обществе, подобно тому, как он боролся за положение в обществе поэзии и поэта. Это значит, что общество он признавал данностью и высшей организационной формой.

Смешно сказать, но и в таких мелочах, как отношение к женщине, или, вернее, отношения с женщинами, Бердяев и О. М. соотносятся, как символист и акмеист. У символистов были «Прекрасные дамы» в поэзии, жрицы и то, что мы с Анной Андреевной называли «мироносицами». Они еще во множестве водились в моей юности и были невероятно претенциозны, потому что сознавали величие своего «служения». Чепуху они несли неслыханную, вроде примечаний Е. Р. к «Автобиографии» Бердяева, где у змеи почему-то появляются когти, у женщин змеиные лица, а у мужчин чудятся плащи и мечи... Все эти женщины необыкновенные, и отношения с ними тоже необыкновенные. У нас дело было попроще.

Бердяеву чужды радости. Хотя Мандельштам не искал счастья, все ценное в своей жизни он называл весельем, игрой: «Вся наша двухтысячелетняя культура, благодаря чудесной милости христианства, есть отпущение мира на свободу для игры, для духовного веселья, для свободного подражания Христу»[21]. И еще: «Слово чистое веселье, исцеленье от тоски»[22].

Я хотела бы сказать, как понимал О. М. слово, но мне это не по силам. Думаю только, что он знал, что такое «внутренняя форма слова», и разницу между словом-знаком и символом. Он холодно отнесся к знаменитым стихам Гумилева о слове[23], но не объяснил почему. И число понимал, вероятно, иначе, чем Гумилев. Между прочим, О. М. всегда учитывал число строк и строф в стихотворении и число глав в прозе. «Разве это важно?» — удивлялась я. Он сердился — для него мое непонимание было нигилизмом и невежеством: ведь не случайно же у людей есть священные числа — три, например, или семь... Число тоже было культурой и получено, как преемственный дар, от людей.

В Воронеже у О. М. начали появляться стихи в девять, семь, десять и одиннадцать строк. Семи- и девятистрочья часто входили целым элементом в более длинное стихотворение. У него появилось чувство, что к нему приходит какая-то новая форма: «Ты ведь понимаешь, что значат четырнадцать строк[24]... Что-то должны означать и эти семь и девять... Они все время выскакивают...» Но в этом не было мистики числа, а скорее испытанный способ проверки гармонии.

Все, что я говорила о противопоставленности Бердяева и О. М., относится только к тем особенностям Бердяева, которые он разделял с символистами. Но он совсем не сливается с ними — только наряду с философской мыслью встречаются чисто вкусовые высказывания, напоминающие родимые пятна эпохи. Очевидно, все подвластны своему времени, и хоть Бердяев, как и О. М., говорил, что никогда не был ничьим современником, все же он жил во времени и с ними. Но именно он сказал самое главное о символистах: для них не существовало ни этических, ни социальных проблем. От этого они отказались, и О. М. именно поэтому бунтовал против «всеядности» Брюсова, против зыбкости и случайности ценностей. Бердяев во всем, кроме вкусовых элементов, преодолел символистов, но все же остался под обаянием этих великих душеловцев.

Обидно, что О. М. не достал книг Бердяева, хотя искал их. Он не прочел своего современника, и я не знаю, как бы он принял его учение. К несчастью, в нашей изоляции мы были отрезаны от всякой мысли. Это одно из величайших несчастий, которое может выпасть на долю человека.

Архив и голос

«Мироощущение для художника — орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственное реальное — это само произведение» («Утро акмеизма»).

Кое-что из стихов и прозы О. М. пропало, но большая часть сохранилась. Это — история моей борьбы со стихией, с тем, что пробовало слизнуть и меня, и бедные клочки, которые я берегла.

В молодости люди не берегут своих бумаг. Разве может мальчишка представить себе, что те листки, которые он замарал, когда-нибудь понадобятся? А может, и хорошо, что пропадают молодые стихи, это своеобразный отбор, и его необходимо делать всякому художнику. В Киев О. М. приехал с ручной корзинкой. В ней его мать держала нитки и шитье, и он таскал ее с собой как единственную вещь, уцелевшую от матери. На корзинке висел большой замок. О. М. сказал мне, что в ней письма матери и кое-какие бумаги. Он сам не знал, что он туда сунул. Из Киева О. М. попал со своим братом в Крым. Шура[25] играл в карты с солдатами, проигрывая одну за другой рубашки брата. Солдаты в отсутствие О. М. добрались до корзинки, стащили замок, а потом раскурили бумаги. О. М. дорожил письмами

матери и сердился на брата. О своих бумагах он не думал — все было в памяти.

В первые годы нашей совместной жизни у О. М. не было ни клочка исписанной бумаги. «Вторую книгу» [26] он собирал по памяти: вспоминал стихотворение, диктовал или записывал, смотрел, некоторые сохранял, другие выбрасывал. До этого он отдал кучку черновиков в «Петрополис», их увезли за границу и напечатали «Тристии» [27]. Нам не приходило еще в голову, что человек может умереть, а с ним вместе его память. Кроме того, отдавая стихи в редакции, О. М. верил, что им обеспечено вечное хранение. Он не представлял себе всей халтурности и распущенности наших редакций.

Мать подарила мне очень милые чемоданы и сундучок с наклейками европейских отелей. Чемоданы ушли к сапожникам, которые шили нам сапоги из жесткой чемоданной кожи. По тем временам это было роскошью, и мы одно время щеголяли в светло-желтых чемоданных обувках. А сундук, небольшой и изящный, ни для чего не пригодился: откуда взять вещи, чтобы положить в него? И я начала кидать в него разные бумажки, даже не зная, что это называется писательским архивом.

Заболел отец О. М., и нам пришлось ехать в Ленинград. Из больницы старик не мог вернуться в свою чудовищно запущенную комнату. Мы перевезли его к младшему брату О. М.— Евгению Эмильевичу. Собирая вещи, я наткнулась на такой же сундук, как мой, только чуть побольше, и тоже с наклейками и ярлыками. Оказалось, что О. М. купил его где-то в Мюнхене, когда ему захотелось выглядеть элегантным туристом. Эти сундучки были в моде до первой войны. В этот сундук дед свалил свои гроссбухи вперемежку с обесцененными царскими деньгами и керенками. На дне я обнаружила кучку рукописей: клочки ранних стихов и листочки скрябинского доклада... Мы увезли рукописи вместе с сундучком в Москву. Так начался архив. В сундук летели ненужные бумажки: черновики стихов, письма, статьи. О. М. не возражал, и груда росла. В сундук не попадала черная повседневная работа: переводы стихов и прозы, журнальные статьи, рецензии для издательств на получаемые книги и рукописи — преимущественно иностранные. Рецензии все погибли в Леигизе — О. М. верил, что они там сохранятся. Две или три случайно сохранились в сундуке, по недосмотру, так сказать. Журнальные и газетные статьи понадобились, когда О. М. собирал книгу статей [28]. Тогда я и брат мой Женя переписывали их в библиотеке, вероятно, с цензурными искажениями. Почему-то не удостоился архива и «Шум времени». Должно быть, сундук появился позже.

Перелом в отношении к бумагам произошел после «Четвертой прозы», вернее, это был первый сигнал, напомнивший о необходимости что-то делать с бумагами. Второй сигнал — арест 34-го года.

Мы уезжали в Армению, и мне не захотелось везти с собой единственный экземпляр «Четвертой». Время хоть и было нежнейшим, но за эту прозу О. М. бы по головке не погладили. Пришлось искать верного человека, чтобы ее оставить. Это была наша первая проба хранения ие дома. Впрочем, не совсем первая. В Крыму в девятнадцатом году О. М. написал два стихотворения, которые не захотел хранить, и они погибли у его друга Лени Л<андсберга>. Этого человека я один раз видела в Москве, и он сказал, что стихи целы. Случилось это году в двадцать втором. А потом и стихи, и Леня пропали. Я помню только строчку или две из этих стихов. Но, видно, они никогда не выплывут [29]. Вот это и научило меня присматривать за всеми местами, где лежат рукописи, и хранить их в множестве копий. «Четвертую прозу» мы никогда не держали дома, а в нескольких местах — и я переписывала ее от руки столько раз, что запомнила наизусть.

Мы вернулись из Армении, стихи пошли густо, и О. М. сразу ощутил свое изгойское положение. Мне запомнился разговор в Ленинграде. На Невском, в конторе «Известий», представитель этой газеты, человек как будто дружественный, прочел «Я вернулся в мой город» и сказал О. М.: «А знаете, что бывает после таких стихов? Трое приходят... В форме...» Мы это знали, но терпеливая Советская власть пока не спешила... Стихи распространялись с невероятной быстротой в довольно узком, правда, кругу. О. М. считал, что это и есть способ хранения: «Люди сохранят». Меня это не удовлетворяло, и время показало, что я была права. Уже тогда я начала делать списки и прятать их. В основном я их рассовывала у себя во всякие щели, но несколько экземпляров всегда отдавала на хранение. Во время обыска 34-го года мы увидели, где ищут, а стихи уже были зашиты в подушку, упрятаны в кастрюлю и в ботинки. Туда не заглянули. К несчастью, во всех этих местах были копии, и притом неполные: не расшивать же подушку ради каждого нового стихотворения... Из подушки, приехав в Воронеж, я вынула стихи об Ариосто.

Воронеж — это новый этап жизни и новое отношение к хранению. Эра идиллических подушек кончилась, а я ведь еще помнила, как летел пух из еврейских подушек во время деникинских погромов в Киеве... Память О. М. с возрастом ослабела, и мы уже знали, что она погибает вместе с человеком, а цена жизни на нашей таинственной бирже падала с каждым днем. Надо было искать людей, готовых хранить рукописи, но их становилось все меньше. У меня появилась профессия: все воронежские три года я переписывала стихи и раздавала их, но серьезного места хранения у меня не было, кроме моего брата Жени, да и то он их дома не держал. Вот тут-то и подвернулся Рудаков.

Сергей Борисович Рудаков [30], генеральский сын, был выслан из Ленинграда с дворянами. В начале революции у него расстреляли отца и старших братьев. Вырастили его сестры, и он провел обычное советско-пионерское детство, был передовиком школы, кончил даже вуз и готовился к вполне пристойной деятельности, когда на него свалилась высылка. Подобно многим детям, оставшимся без родителей, он очень хотел ужиться с временем, и у него даже была своеобразная литературная теория: надо писать только то, что печатают. Сам он писал модные по тому времени изысканиые стихи не без влияния Марины [31] и выбрал Воронеж, чтобы быть поближе к О. М. Он появился, когда я торчала в Москве, добывая перевод, и около месяца пробыл без меня с О. М. Когда мы ехали с вокзала с О. М., он мне сказал, что появился новый приятель, не Борис Сергеевич [32], а Сергей Борисович, который собирается писать книгу о поэзии и вообще славный мальчик. После болезни О. М., вероятно, не верил в свои силы и нуждался в дружественном слушателе вновь появившихся стихов. Впрочем, он никогда не мог работать в полной пустоте, и я не думаю, что кто-нибудь способен на это.

В Воронеже Сергей Борисович даже не пытался устраиваться — он не терял надежду, что жена вытащит его через кого-то из крупных генералов, впоследствии в 37-м году погибших. Он снял койку в одной комнате со славным рабочим парнем Трошей, а ел и пил у нас. Для нас это был сравнительно благополучный период с переводом, театром и радио, и нам ничего не стоило прокормить бедного мальчишку. Без меня Рудаков тщательно собирал все варианты писавшегося при нем «Чернозема». Когда я приехала, мы с О. М. начали восстанавливать пропавшие во время обыска стихи, а Рудаков все списывал себе в тетрадку. Наутро он приносил стишки, написанные смешным каллиграфическим почерком с завитушками на кусочке псевдоватмана. Он презирал мой куриный почерк и полное отсутствие эстетики рукописи. Писать чернилами, например, Рудаков считал зазорным — только тушью... Он еще рисовал тушью силуэты, ие хуже пропойц, промышлявших этим на бульварах, и с гордостью демонстрировал нам свои шедевры. А мне, показывая красиво выполненную рукопись стихотворения О. М., говорил: «Вот это будут хранить в архивах, а не ваши с О. Э. каракули»... Мы только посмеивались и мальчишку не обижали.

Нередко мы предупреждали Рудакова, что ему может повредить знакомство с нами, но он отвечал таким набором благородных фраз, что мы только ахали и, может, именно из-за этого относились мягче, чем следовало, к некоторым неприятным его чертам. Уж слишком, например, он был высокомерен и вечно хамил с вторым нашим постоянным посетителем — Калецким, тоже ленинградцем и учеником всех наших знакомых — Эйхенбаума, Тынянова и других... Скромный, застенчивый юнец, Калецкий говорил иногда вещи, которые другие тогда не решались произнести. Однажды он с ужасом сказал О. М.: «Все учреждения, которые мы знаем, никуда не годятся, они не способны выдержать ни малейшего испытания — мертвый, разлагающийся советский бюрократизм... А что если армия тоже такая, как и все остальное? И вдруг война...» Рудаков вспомнил, чему его учили в школе, и заявил: «Я верю в партию». Калецкий смутился и покраснел. «Я верю в народ»,— тихо сказал он. Он выглядел совсем невзрачно рядом с рослым и красивым Рудаковым, но внутренняя сила была на его стороне, а Рудаков, издеваясь, называл его «квантом» и пояснял: «Это самая маленькая сила, способная выполнять работу»...

Вторая тяжелая черта Рудакова — вечное нытье. В России, по его мнению, среда «всегда заедала талантливых людей», и он, Рудаков, не выполнит своего назначения, не напишет книги о поэзии, не раскроет людям глаза... О. М. таких разговоров не терпел: «А почему вы сейчас не пишете? Если человеку есть что сказать, он всегда скажет»... На этом всегда вспыхивали споры, Рудаков жаловался на условия — комната, деньги, настроение,— сердился и уходил, хлопнув дверью... Через часок-другой он все же являлся как ни в чем не бывало...

У Рудакова оказался резко выраженный учительский темперамент. Он учил всех и всему: меня — переписывать рукописи, О. М.— писать стихи, Калецкого — думать... Всякое новое стихотворение он встречал буйной теорией из своей ненаписанной книги, в которой звучало: «Почему вы меня раньше не спросили?» Я видела, что он часто мешает О. М., и мне часто хотелось его выставить. О. М. не позволял. «А что он будет есть?» — спрашивал он, и все продолжалось дальше. И все-таки и Рудаков, и Калецкий были большим утешением. Если б не они, мы бы почувствовали изоляцию гораздо раньше. Оба вернулись в Ленинград в начале 36 года, и мы остались одни. Тогда-то и пришла к нам Наташа. В Воронеже, когда мы жили у агента, жарившего мышей, Рудаков заболел скарлатиной и в больнице познакомился с «барышнями», которых отчаянно от нас скрывал. С Наташи, одной из этих «барышень», он даже, уезжая, взял слово, что она к нам не придет, но она слова не сдержала и хорошо сделала... Словом, мальчишка был чудаком, но в наше время знакомства с чудаками кончаются плохо. Это ему я отдала на хранение все самое ценное из автографов, а Ахматова свезла на саночках архив Гумилева.

Рудаков после первого ранения стал в Москве воинским начальником. К нему явился какой-то из его родственников, сказал, что он по убеждениям толстовец и не может воевать. Рудаков своей властью освободил его от повинности, был разоблачен и послан в штрафной батальон, где тут же погиб. Рукописи остались у вдовы, и она их не вернула. В 53 году, встретив Анну Андреевну на концерте, она сказала, что все цело, а через полгода объявила Эмме Герштейн, что ее под занавес арестовали и все забрали. Потом версия изменилась — ее забрали, а «мама все сожгла»... Что было на самом деле, установить нельзя. Мы знаем только, что кое-какие рукописи Гумилева она продавала, но не сама, а через подставных лиц.

Анна Андреевна рвет и мечет, но ничего поделать нельзя. Однажды мы зазвали вдовушку — Рудакову-Финкельштейн — к Ахматовой под предлогом статьи Рудакова: нельзя ли ее, мол, напечатать,— но добиться от нее толку было невозможно. Больше всего повезло Харджиеву — он проник к ней, она дала ему письма Рудакова и разрешила переписывать все, что ему нужно. Харджиев ведь великий обольститель, Цирцея, красивый и очаровательный, когда изволит, человек. Но в письмах Рудакова, которые он писал ежедневно, как дневник, и тщательно нумеровал для потомства, ничего существенного для нас не оказалось. Несчастный мальчишка был, очевидно, тяжелым психопатом. Письма полны безумных речей вроде: в комнате О. М. сошлась вся поэзия — не помню, мировая или русская,— он, О. М. и книжка Вагинова — тоже великого поэта... Он учит О. М. писать стихи, объясняет ему все и в ужасе, что все похвалы достанутся не ему, а Мандельштаму... Сам Мандельштам ведет себя по-державински: он то кричит, что он царь, то жалуется, что он червь [33]... В одном из писем Рудаков объявляет себя наследником Мандельштама; будто О. М. ему сказал: «Вы мой наследник и делайте с моими стихами все, что сочтете нужным»... Я цитирую эти письма по памяти, копии находятся у Харджиева. Прочтя их, мы поняли, что украденные архивы не случайность — так было задумано Рудаковым, и вдова только выполняет его волю. То, что мы принимали за чистую коммерцию — выгодно продавать автографы,— оказалось результатом бредовых идей самого Рудакова. Трудно сказать, что бы случилось, если б я умерла. Возможно, что Рудаков восстановил бы справедливость и выдал стихи за свои. Но ему пришлось бы нелегко, потому что большинство стихотворений все же ходило в списках. Такая попытка начисто сорвалась у Севы Багрицкого и кончилась скандалом, когда мать опубликовала «Щегла» как стихотворение Севы [34]. Хуже было бы, если б я послушалась в свое время Рудакова — он действовал на меня через Эмму Герштейн, с которой подружился,— и отдала ему все без исключения бумаги О. М. Он мотивировал это тем, что все бумаги должны быть в одном месте, но мы с Харджиевым рассудили, что лучше не концентрировать их — одно место провалится, сохранятся списки в другом... У Рудакова погибло несколько стихотворений, почти все воронежские черновики и множество автографов «Тристий». О. М., видно, предчувствовал, какая судьба ждет его архив, когда писал в «Разговоре о Данте»: «Итак, сохранность черновиков — закон сохранения энергетики произведения. Для того, чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в иную сторону...»

В истории с Рудаковым я виню не глупого мальчишку, каковы бы ни были его цели. Виноваты те, кто создал нам такую «счастливую жизнь». Если б мы жили как люди, а не как загнанные звери, Рудаков был бы одним из многих бывающих у нас в доме, и вряд ли ему пришло бы в голову похищать архив Мандельштама и объявлять себя его наследником, а вдове — торговать гумилевскими письмами к Ахматовой.

Рудаков — один из важнейших моментов хранения архива, но, кроме него, было еще много и удач, и бед. Мелькнули эпизоды, годные для сценария: Наташа [35], уносившая письма О. М. ко мне в жестяной коробочке из-под чаю, когда наступали немцы и уже горел Воронеж; Нина, уничтожившая список стихов О. М. в дни, когда она ждала вторичного ареста своей свекрови, и ее друг Эдик, хваставшийся, что сохранил те листочки, которые я ему дала, хотя хвастаться было нечем, потому что он жил у своего тестя — ташкентского самоубийцы... А я раздавала списки и гадала, который из них сохранится. Мой единственный помощник в этом деле был мой брат, и мы все ходили и перекладывали с места на место основной фонд... Я таскала за собой в чемодане кучку черновиков прозы, перекладывая ее грудами языковедческих записок к диссертации, чтобы неграмотные стукачи, если они залезут без меня, не поняли, что к чему, и стащили не то, что требуется. Изредка у меня пропадали бумаги, и это продолжается и сейчас, но, вероятно, по какой-то другой причине. Запомнить всех бумаг я не могу, но мне бросилось в глаза, что у меня недавно исчезла целая папка с наклейкой «Материалы к биографии». Они сохранились в копии, но куда девались подлинники, понять нельзя. В книге, купленной мной за двести рублей, было четыре автографа, а стало два: это издание «Камня» с вписанными Каблуковым [36] вариантами и вложенными автографами. Еще исчезло письмо ко мне Пастернака, где он писал, что в современной литературе — дело было сразу после войны — он интересуется только Симоновым и Твардовским, потому что ему хочется понять механизм славы. Мне сдается, что это письмо и автографы просто стащены любителями и не пропадут. Во всяком случае, после этих пропаж я перестала держать дома — а дома-то у меня нет! — что бы то ни было, и опять меня мучит мысль: где уцелеет, а где пропадет...

Так или иначе, я дошла бы до финиша с небольшими потерями, но финиша все еще не видно. Только от одного способа хранения мне пришлось отказаться просто по возрасту: до 56 года я все помнила наизусть — и прозу, и стихи... Для того, чтобы не забывать, надо твердить каждый день какие-нибудь куски, и я это делала, пока верила в свою жизнеспособность. Теперь поздно... И в заключение я расскажу новеллу уже не про себя. Женщина, про которую я рассказываю, жива, и поэтому я не называю ее имени [37]. В 37 году в газетах каждый день появлялись статьи против ее мужа, видного сановника. Он ждал ареста и сидел у себя дома, не смея выйти, потому что дом был окружен шпиками. По ночам он сочинял послание в ЦК, и ночью жена заучивала его кусками наизусть. Его расстреляли, а она добрых два десятка лет скиталась по лагерям и тюрьмам. Вернувшись, она записала послание мужа и отнесла его туда, куда оно было адресовано, и там оно кануло, надсюсь, не в вечность... Сколько нас таких — твердивших по ночам слова погибших мужей?

И еще о голосе... Фонотеку Сергея Игнатьевича Бернштейна уничтожили, а его выгнали из Зубовского института за формализм. Там были записи Гумилева и Мандельштама. Это было в период, когда рассеивали по ветру прах погибших. Фотографии — их очень мало — я хранила наравне и теми же методами, что и рукописи, а записи голоса были не в моем распоряжении. Я хорошо помню чтение О. М. и его голос, но он неповторим и только звучит у меня в ушах. Если бы его услышать, стало бы ясно, что он называл «понимающим исполнением» или «дирижированьем». Фонетическим письмом и тонированьем можно передать лишь самую грубую схему пауз, повышений и понижений голоса. За бортом остается долгота гласных, обертоны и тембр. Но

какая память сохранит все движения голоса, отзвучавшего четверть века назад!

Впрочем, голос сохранился в самом строении стихов, и сейчас, когда немота и безгласие кончается, тысячи мальчишек уловили звучание стихов, услышали их тональность и невольно повторяют авторские интонации. Ничего развеять по ветру нельзя.

К счастью, этими стихами еще не завладели актеры, дикторы и школьные учителя. Один раз до меня донесся наглый голос дикторши станции «Свобода». Она читала «Я пью за военные астры». Этот милый шуточный стишок всегда был предметом спекуляции у нас для всяких Никулиных и присных, а теперь его использовала зарубежная дикторша и читала с такими подлыми «выразительными» интонациями — она их переняла у наших дикторов,— что я выключила радио в отвращении и тоске.

Старое и новое

В один из первых дней после нашего приезда из Воронежа нас возил по Москве в своей новенькой, привезенной из Америки машине Валентин Катаев. Он влюбленными глазами смотрел на О. М. и говорил: «Я знаю, чего вам не хватает,— принудительного местожительства...» Вечером мы сидели в новом писательском доме с парадным из мрамора-лабрадора, поразившим воображение писателей, еще помнивших бедствия революции и гражданской войны. В новой квартире у Катаева все было новое — новая жена, новый ребенок, новые деньги и новая мебель. «Я люблю модерн»,— зажмурившись, говорил Катаев, а этажом ниже Федин любил красное дерево целыми гарнитурами. Писатели обезумели от денег, потому что они были не только новые, но и внове. Вселившись в дом, Катаев поднялся на три этажа посмотреть, как устроился в новой квартире Шкловский. Этажи в доме указывали на писательский ранг. Вишневский, например, настоял, чтобы ему отдали квартиру находившегося в отъезде Эренбурга,— он считал, что при его положении в Союзе писателей неудобно забираться под самую крышу. Мотивировка официальная: Вишневский страдает боязнью высоты. Походив по квартире Шкловского, Катаев удивленно спросил: «А где же вы держите свои костюмы?» А у Шкловского еще была старая жена, старые маленькие дети и одна, в лучшем случае две, пары брюк. Но он уже заказывал себе первый в жизни костюм... Ведь уже не полагалось ходить в ободранном виде и надо было иметь вполие господский вид, чтобы зайти в редакцию или в кинокомитет. Куртка и толстовка комсомольцев двадцатых годов окончательно вышли из моды — «все должно выглядеть, как прежде»... А в конце войны обещали премии тем преподавателям, которые умудрятся завести себе хорошие платья...

Катаев угощал нас новым для Москвы испанским вином и новыми апельсинами — они появились в продаже впервые после революции. Все «как прежде», даже апельсины! Но наши родители ие имели электрических холодильников, оии держали продукты в комнатных ледничках, и им по утрам привозили бруски донного льду. А Катаев привез из Америки первый писательский холодильник, и в вине плавали льдинки, замороженные по последнему слову техники и комфорта. Пришел Никулин с молодой жеиой, только что родившей ему близнецов, и Катаев ахал, что у таких похабиков тоже бывают дети. А я вспомнила старое изречение Никулина, которое уже перестало смешить меня: «Мы не Достоевские — нам лишь бы деньги»... Никулин пил испанское вино и говорил об испаиских диалектах. Он только что съездил посмотреть на испанскую революцию.

Когда мы покидали Москву, писатели еще не были привилегированным сословием, а сейчас они пускали кории и обдумывали, как бы им сохранить свои привилегии. Катаев поделился с иами своим планом: «Сейчас надо писать Вальтер Скотта»... Это был ие самый легкий путь — для иего требовались и трудоспособность, и талант.

Жители нового дома с мраморным, из лабрадора, подъездом понимали значение тридцать седьмого года лучше, чем мы, потому что видели обе стороны процесса. Происходило нечто похожее на Страшный суд, когда одних топчут черти, а другим поют хвалу. Вкусивший райского питья не захочет в преисподнюю. Да и кому туда хочется?.. Поэтому они постаиовили на семейных и дружественных собраниях что к тридцать седьмому надо приспосабливаться. «Валя — иастоящий сталинский человек»,— говорила новая жена Катаева, Эстер, которая в родительском доме успела испробовать, как живется отверженным. И сам Катаев, тоже умудренный ранним опытом, уже давно повторял: «Не хочу неприятностей... Лишь бы не рассердить начальство...»

«Кто сейчас помнит Мандельштама? — сокрушенно сказал нам Катаев.— Разве только я или Женя Петров [38] назовем его в разговоре с молодыми — вот и все»... О. М. на такие вещи не обижался, да к тому же это была истинная правда, за исключением того, что братья Катаевы решались упоминать его имя в разговорах с посторонними. Новая Москва обстраивалась, выходила в люди, брала первые рекорды и открывала первые счета в банках, покупала мебель и писала романы... Все были потенциальными выдвиженцами, потому что каждый день кто-нибудь выбывал из жизни и на его место выдвигался другой. Каждый был, конечно, кандидатом и на гибель, но днем об этом не думали — для подобных страхов достаточно ночи. О выбывших забывали сразу, а перед их женами, если им удавалось закрепиться на части жилплощади, сразу захлопывались все благополучные двери. Впрочем, жен оставалось все меньше — в тридцать седьмом уже начали не только рубить под корень, но и выкорчевывать.

О. М. хорошо относился к Катаеву: «В нем есть настоящий бандитский шик»,— говорил он. Мы впервые познакомились с Катаевым в Харькове в 22 году. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший «влипнуть» и выкрутиться из очень серьезных неприятностей. Из Харькова он ехал в Москву, чтобы ее завоевать. Он приходил к нам в Москве с кучей шуток — фольклором Мыльникова переулка, ранней богемной квартиры одесситов. Многие из этих шуток мы прочли потом в «Двенадцати стульях» — Валентин подарил их младшему брату, который приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но по совету старшего брата стал писателем.

К концу двадцатых годов — с первыми успехами — у всех прозаиков моей юности, кроме Тынянова и Зощенко, начало прорываться нечто грязно-беллетристическое, кондовое... У Катаева эта метаморфоза, благодаря его талантливости и цинизму, приняла особо яркую форму. Под самые тридцатые годы мы ехали с Катаевым в такси. До этого мы не виделись целый век, потому что подолгу жили в Ленинграде или в Крыму. Встреча после разлуки была самой дружественной, и Катаев даже вызвался нас куда-то проводить. Он сидел на третьем откидном сиденье и непрерывно говорил — таких речей я еще не слышала. Он упрекал О. М. в малолистности и малотиражности: «Вот умрете, а где собрание сочинений? Сколько в нем будет листов? Даже переплести нечего! Нет, у писателя должно быть двенадцать томов — с золотыми обрезами!»... Катаевское «новое» возвращалось к старому: все написанное — это приложение к «Ниве»; жена «ходит за покупками», а сам он, кормилец и деспот, топает ногами, если кухарка пережарила жаркое. Мальчиком он вырвался из смертельного страха и голода и поэтому пожелал прочности и покоя: денег, девочек, доверия начальства. Я долго не понимала, где кончается шутка и начинается харя. «Они все такие,— сказал О. М.,— только этот умен».

Это в ту поездку на такси Катаев сказал, что не надо искать правду: «Правда по-гречески иазывается мрия» [39]...

В Ташкенте во время эвакуации я встретила счастливого Катаева. Подъезжая к Аральску, он увидел верблюда и сразу вспомнил Мандельштама: «Как он держал голову — совсем, как О. Э.»... От этого зрелища Катаев помолодел и начал писать стихи. Вот в этом разница между Катаевым и прочими писателями: у них никаких неразумных ассоциаций не бывает. Какое, например, дело Федину до верблюдов или стихов? Из тех, кто был отобран для благополучия, быть может, один Катаев не утратил любви к стихам и чувства литературы. Вот почему О. М. ездил с ним по Москве и пил испанское вино в июне 37 года. А провожая нас в переднюю, Катаев сказал: «О. Э., может, вам дадут наконец остепениться... Пора...»

В эпоху реабилитаций Катаев все порывался напечатать стихи О. М. в «Юности», но так и не посмел рассердить начальство. Но другие ведь даже не порывались.

Что было бы с Катаевым, если б ему не пришлось «писать Вальтер Скотта»? Это был очень талантливый человек, остроумный и острый, из тех, кто составляет самое просвещенное крыло текущей многотиражной литературы.

А в то лето мы действительно были бы не прочь «остепениться». Строились планы на будущее: хорошо бы обменять квартиру, чтобы не жить на пятом этаже без лифта...

С обменом спешить не надо — пусть Ставский [40] раньше исполнит свое обещание и переселит Костырева... О. М. отчаянно поспорил с Евгением Яковлевичем по вопросу, который всем нам казался весьма актуальным: стоит ли брать переводы... Е. Я. говорил, что на первое время это совершенно необходимо, а если «вам противно, пусть переводит Надя...». О. М. утверждал, что не переносит этого занятия и не находит себе места, когда «переводит Наденька». Разрешил спор Луппол, главный редактор Гослита. Он сказал, что, пока сидит за редакторским столом, Мандельштам не получит ни строчки переводов и вообще никакой работы. Вскоре Луппола забрали и он погиб, а за его стол сел кто-то другой, но это ничего не изменило: люди уходят, а «принципиальные установки» сохраняют силу — они прочнее людей. «Принципиальная установка» — это стена, и пробить ее нельзя по сегодняшний день.

Ответ Луппола нас не отрезвил — мы по-прежнему надеялись, что все образуется. Нарбута [41] уже не было. Маргулиса [42] уже не было. Клычкова уже не было. Многих уже не было. О. М. бормотал гумилевские строчки — «горе, горе, страх, петля и яма» [43], но потом снова радовался жизни и утешал меня, что все образуется. «Чего ты ноешь? — говорил он.— Живи, пока можно, а там видно будет... Ведь не может же так продолжаться!» Который уж год эта фраза «Ведь не может же так продолжаться» — единственный источник нашего оптимизма. Об этом знал уже Лев Толстой и, услышав эти слова от Безухова, презрительно сказал, что «они» всегда себя так утешают.

«Один добавочный день» длился немногим больше недели.

Анна Андреевна, читая Библию, узнала, что «горе, горе, страх, петля и яма» буквальная цитата из пророка Исайи: «Ужас и яма и петля для тебя, житель земли...» (24. 17).

Милицейская Венера

«Разве пожарные умирают?» — спросила Татька, племянница О. М. «Разве богатые умирают?» — перефразировал О. М., сообразив в Воронеже, что деньги и благополучие все-таки способствуют долголетию. «Разве в Москве тоже прописывают?» — спрашивал О. М., когда я напомнила ему, что пора подумать о прописке. А тут приехал на денек-другой Костырев, и О. М. сообразил, что тянуть больше нельзя. Он спустился в домоуправление и тотчас прибежал обратно. «Дай свой паспорт!» — сказал он. «А мой зачем?..» Оказалось, что после моего отъезда в мае в Воронеж Костырев навел порядок и приготовился к встрече: он выписал меня. До этого я числилась жительницей Москвы, а в Воронеж только «наезжала». Домоуправление даже не знало, что паспорт я обменяла в Воронеже. Как-то это сошло мне с рук... Сам же Костырев успел получить постоянную прописку вместо временной. Для «постоянной» ему полагалось прожить какой-то солидный срок, но он сумел опередить время. «Для Костырева,— сказал управдом,— нам велели сделать исключение»... Наша квартира была кооперативной, и мы заплатили за нее крупные деньги. По закону мы стали собственниками, и без нашего разрешения у нас никого прописывать не разрешалось. Вот с этими кооперативными квартирами начались осложнения, то есть семьи исчезнувших пробовали удержаться в них и противиться вселению новых жильцов — поэтому уже подготовлялся новый закон, отменявший все права кооперативных застройщиков. Закон еще не был издан, о нем заговорили где-то на самом верху, и появился он едва ли не в конце 38 года, но у нас даже неизданный закон имеет обратную силу. Да при чем тут законы! Костыревская прописка указывала, что ему помогают захватить квартиру, и это было плохим предзнаменованием, но О. М. почему-то ничуть не огорчился. Он стал фаталистом советского толка: «Захотят — все образуется, не захотят — ничего не поделаешь!» Его фатализм распространялся и на меня — вот тогда-то и была произнесена фраза: «Ты вернешься в Москву, если вернут меня. Одну тебя не пустят...» Через четверть века после смерти О. М. мне все же разрешили поселиться в Москве, хотя его еще как будто не пускают, если не считать щелку, куда ему разрешили заглянуть и которая называется журналом «Москва» [44].

Костырев — деталь, один из винтиков сложного механизма. Это был человек без лица, один из тех, кого нельзя узнать на улице или в автобусе, по чье лицо просвечивает во многих лицах. При любой исторической конъюнктуре для него бы нашлось гороховое пальто, но наше время благоприятствовало этому роду людей, и он стал и писателем, и генералом одновременно. Поселившись в комнате О. М., он непрерывно выстукивал на машинке свои дальневосточные рассказы и на той же машинке переписывал стихи. Однажды, печатая «Разрывы круглых бухт», он сказал мне: «О. Э. любит Крым только потому, что не побывал на Дальнем Востоке». По его мнению, каждому писателю следовало побывать на Дальнем Востоке. А в это время уже потянулись эшелоны с заключенными к Второй Речке во Владивостоке — начала осваиваться Колыма, и мы это знали. У человека, к которому приставили такого крупного работника, как Костырев, были большие шансы попасть на Дальний Восток, но пока речь шла не о Колыме, а только о прописке в Москве.

Районная милиция отказала с необычайной быстротой. Нам объяснили, что еще остается центральная на Петровке. «Если откажут,— сказал О. М.,— вернемся в Воронеж». Мы даже созвонились с нашей бывшей хозяйкой, чтобы она придержала для нас на всякий случай комнату. На Петровке нам вручили отказ и объяснили, почему О. М. не пускают в Москву: судимость. Не надо путать «судимость», чисто советское понятие, сейчас как будто отмененное, если приговор не превышает пяти лет, с поражением в правах по постановлению суда. Судимость — это клеймо на всю жизнь и не только на том, кого судили, но и на членах семьи. Я десятки раз заполняла анкеты с вопросом, есть ли судимость у меня или у ближайших родственников. Чтобы скрыть «судимость» родственников, выдумывали себе ложные биографии. Сказать или не сказать про погибшего отца — одна из основных тем семейных разговоров, когда дети в случайно уцелевших семьях кончали школу. Несколько лет я живу без клейма отраженной судимости, но на мне есть еще клеймо литературное.

На Петровке мы впервые узнали, какие последствия влечет за собой судимость.«Куда вы едете?» — спросил милицейский чин, вручавший О. М. отказ: он должен был отметить на «деле», куда мы отправляемся. «Обратно в Воронеж»,— ответил О. М. «Поезжайте,— сказал милицейский чин, но тут же прибавил: — Только вас там не пропишут». Оказалось, что по приговору «минус двенадцать» перед О. М. закрывалось двенадцать городов, но, отбыв три года, он лишался права жить в семидесяти с лишним городах — и при этом на всю жизнь.

«А если б я остался в Воронеже?» — спросил О. М. Милицейский объяснил, что «у нас еще имеются недочеты в работе», поэтому про О. М. могли забыть, но только на время, а потом все равно выселили бы из запрещенного города. Сейчас нас это уже не удивляет: мы привыкли к тому, что прописка — это высокий барьер, через который могут перескочить только призовые скакуны. Никто, кроме вызванных на работу, не может прописаться ни в одном городе, и для прописки нужен паспорт, а есть много категорий людей, лишенных этого документа. Такие вообще не могут двинуться с места. Многие среди нас и сейчас не понимают, что паспорт в нашей стране — тоже настоящая привилегия. Но в 37 году это было вновь, и О. М. серьезно сказал: «Прогресс».

— Попробуй еще раз подать без меня,— посоветовал мне О. М., когда мы вернулись домой.— Ведь у тебя никакой судимости нет...

Это был первый и единственный случай, когда он попробовал отделить мою судьбу от своей. И я решила попытать счастья: это тоже был первый и единственный случай, когда мне захотелось спасти квартиру.

За столиками в большом зале сидели главные милиционеры города. Получив отказ, я захотела узнать причину. «Судимость»,— сказал милицейский. «У меня нет судимости»,— возмутилась я. «Как нет? — удивился чин и порылся в бумагах.— Вот — Осип — судимость...» «Это мужчина — Осип,— упорствовала я,— а я женщина — Надежда...» Чин признал мою правоту. «В самом деле,— сказал он, но тут же пришел в ярость: — А при чем здесь, что он мужчина? Он вам кто? Муж?»

Милицейский встал и хлопнул кулаком по столу: «А вы знаете, что такое пятьдесят восьмая статья?» Он что-то еще кричал, а я в страхе убежала, хотя прекрасно понимала, что ярость у него напускная и он просто выполняет, отказывая мне, инструкцию и не знает, что мне ответить на мои домогательства. Мы все и всегда выполняли инструкции и, если нам перечили, внезапно меняли тон. Кое-кому повезло, и инструкции, которые они выполняли, были вполне невинного свойства, вроде отказа в медицинской справке, снятия студента со стипендии или отправки кончившего вуз

в неугодное ему место. Другие по приказу начальства били наотмашь кулаком, выселяли и арестовывали. Вопрос решался только профессией выполнявшего приказы. Я бы не испугалась, если б на меня накричал просто желчный милиционер, но устами этого говорило государство, и с тех пор я ие могу без дрожи войти в милицию, тем более что наши нелады продолжаются, и я всегда живу не там, где меня сочли бы полиомочной гражданкой. От Мандельштама я унаследовала бездомность и полное отсутствие корней. Именно поэтому меня забыли выкорчевать.

Мандельштам ждал меня на улице. Что нам оставалось делать, как не вспомнить гумилевскую пародию на стихи о Венеции, которая называлась «Милицейская Венера»: «Человек родится, он же умирает, а милиция всегда нужна...» И мы пошли домой — в дом, который уже не был нашим домом.

(Продолжение следует).

Комментарий

1. Из «Путешествия в Армению» (здесь и далее произведения О. Э. Мандельштама называются без указаиия имени автора).
2. Поэт круга Клюева и Есенина, незаслуженно забытый, переиздающийся лишь в последние годы.
3. Редактор журнала «Красная новь».
4. «За коммунистическое просвещение» — газета тогдашиего Наркомпроса.
5. Видный литературовед того времени, главный редактор Гослитиздата.
6. «Не надо римского мне купола И ни прекрасного далека — Предпочитаю вид на Луппола Под сеиью Жан-Ришара Блока».
7. Стихотвореиие С. А. Клычкова «Пылает за окном звезда...».
8. Неточная цитата из стихотворения «Только детские книги читать...».
9. Евгеиия Якоалевича Хазина.
10. Из стихотворения «С розовой пеной усталости у мягких губ...», адресованного Н. Я. Мандельштам.
11. В статье «Утро акмеизма».
12. Из стихотворения «Может быть, это точка безумия...».
13. Из стихотворения «Я скажу это иачерно — шепотом...».
14. Ремииисценция статьи «Выпад».
15. Из стихотворения А. А. Ахматовой «Мне ни к чему одические рати...».
16. Из стихотворения «Notre Dame».
17. Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» («Пока ие требует поэта...»).
18. Из стихотворения «В спокойных пригородах снег...».
19. В «Четвертой прозе».
20. В «Разговоре о Данте»: «Дант по своей природе колебатель смысла...».
21. Из статьи «Пушкин и Скрябин».
22. Из стихотворения «И поныне иа Афоие...».
23. Стихотвореиие Н. С. Гумилева «Слово» («В оный день, когда над миром новым...»).
24. Устойчивое число строк в целостном произведении — сонете.
25. Александр Эмильевич Мандельштам — средний брат поэта.
26. Книга стихотворений 1916 — 1922 гг., изданная в Москве (1923 г.) с посвящением Н. Хазиной, т. е. Надежде Яковлевне Мандельштам.
27. Книга стихотворений, в основном 1916—1920 гг., изданная в Берлине в издательстве «Петрополис» (1922 г.); ее название заимствовано у книги стихов римского поэта Овидия и традиционно переводится как «Скорбные элегии».
28. «О поэзии», издана в Леиинграде (1928 г.).
29. Эти два стихотворения — «Где ночь бросает якоря...» и «Все чуждо нам в столице непотребной...» — обнаружились позднее.
30. Э. Г. Герштейн посвятила С. Б. Рудакову и его отношениям с О. Э. Мандельштамом специальное исследование, полемически заостренное против Н. Я. Мандельштам (журнал «Подъем» №№ 6—10, 1988).
31. М. И. Цветаевой.
32. Б. С. Кузин, которому посвящено стихотворение «К немецкой речи»; его воспоминаиия «Об О. Э. Мандельштаме» помещены в журнале «Вопросы истории естествознания и техники» (№ 3, 1987).
33. Ремииисценция стихотворения Г. Р. Державина «Бог».
34. В сборнике «Имеиа на поверке» (М., 1963, с.26) «Щегол» («Мой щегол, я голову закину...») был опубликоваи как стихотворение Всеволода Багрицкого, в связи с чем мать погибшего на фронте поэта вскоре напечатала заметку, где назывался подлинный автор (Л. Багрицкая «Досадное недоразумение» — «Литературная газета», 5 мая 1964 г., № 53, с.2). Спустя 15 лет недоразумение повторилось в двуязычной, русско-английской антологии военных поэтов («Бессмертие» — издательство «Прогресс», М., 1978, с.78), хотя к тому времени этот текст не раз появлялся в подборках и собраниях стихотворений Мандельштама: на сей раз газетное опровержение последовало с большим опозданием («Находки мнимые, потери действительные» — «Литературная газета», 5 декабря 1985 г., № 49, с.7).
35. Н. Е. Штемпель, ее воспоминания «Мандельштам в Воронеже» — «Новый мир» № 9, 1987.
36. С. П. Каблуков, секретарь Петербургского религиозно-философского общества, в 10-е годы дружил с Мандельштамом, внимательно и заинтересованно следил за его творчеством.
37. Теперь это можно сделать, хотя женщина, о которой идет речь, к счастью, жива. Это А. М. Ларина, вдова Н. И. Бухарина. Ее воспоминания опубликованы в журнале «Знамя» №№ 10—12, 1988 г.
38. Е. Петров, известный писатель, соавтор И. Ильфа, младший брат В. Катаева.
39. Каламбур; украинское «мрія» означает «греза», «мечта».
40. Тогдашний секретарь Союза писателей.
41. Поэт-акмеист.
42. Приятель Мандельштама, адресат нескольких шуточных стихотворений.
43. Из стихотворения Н. С. Гумилева «Звездный ужас».
44. В журиале «Москва» (№ 8, 1964) были опубликованы несколько стихотворений О. Э. Мандельштама и воспоминания о нем Н. К. Чуковского.

Вступительная заметка, публикация и комментарий Ю. ФРЕЙДИНА

Владимир КАЛИНИЧЕНКО

Владимир Иванович Калиниченко — старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР имел непосредственное отношение к расследованию уголовных дел о злоупотреблениях и взяточничестве ответственных работников Минрыбхоза СССР в г. Сочи, Краснодарском крае и Казахстане. Он возглавлял расследование уголовного дела о злоупотреблениях при заготовке и переработке хлопка в Узбекистане.

Фото Леонида Шмановича.

«ТОЧКА ОТТАЛКИВАНИЯ»-1

«Сегодня много говорят об успехах в работе правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, взяточничеством, различными злоупотреблениями. А где вы были в годы застоя?»

Из записки при встрече с работниками завода имени Лихачева

В НАЧАЛЕ 80-Х ГОДОВ по Москве ходили разговоры о разоблачении преступлений, совершавшихся в московском метро. Слухи обгоняли домыслы, а правду знали немногие. Да и считали тогда, что обнародовать ее преждевременно и что она может способствовать подрыву авторитета советской милиции.

Прошло несколько лет, и ситуация в стране коренным образом изменилась. Наши люди узнали о моральном разложении, коррупции и взяточничестве, процветавших в ряде регионов страны. Страницы газет, журналов запестрели заголовками об арестованных ответственных работниках партийных, советских, правоохранительных органов. Стали известны многочисленные злоупотребления бывшего руководства МВД СССР в лице Н. А. Щелокова и Ю. М. Чурбанова, других ответственных работников министерства. Сегодня написано и рассказано об этом немало, но далеко не все...

Начало

В марте — апреле 1966 года в Москве проходил XXIII съезд партии, на котором произошло событие, малозаметное для многих. Кандидатом в члены ЦК КПСС был избран второй секретарь ЦК КП Молдавии Николай Анисимович Щелоков. Осенью того же года он был вызван в Москву, и 17 сентября мы узнали о его назначении министром охраны общественного порядка СССР.

За дело он взялся рьяно. Произошло переименование министерства, существенно повысилась заработная плата, в том числе и с введением надбавок за звание и выслугу лет. По предоставленным льготам милиция фактически приравнивалась к армии. Создавались специальные высшие учебные заведения и даже Академия.

Нового министра можно было смело зачислить в меценаты. Он стал инициатором создания в Академии МВД СССР университета культуры — его первым ректором назначили Арама Ильича Хачатуряна, а кафедрами руководили известные всему миру кинорежиссеры, художники, писатели. О коллекционировании в собственной квартире подлинников картин, место которым было только в музеях, узнали позже. В кабинете министра частыми гостями стали известные спортсмены, актеры, космонавты.

Уже через год после назначения, впервые в истории страны, День милиции отмечался в Кремлевском Дворце съездов. Торжественное собрание открыл первый секретарь МГК КПСС В. В. Гришин, да и сам состав президиума говорил о многом. Пошли упорные слухи о близости министра к «самому». Эту версию не опровергали и ненавязчиво доводили до всех. Так, из мемуаров генерал-полковника К. С. Грушевого «Тогда, в сорок первом» советские читатели узнали о том, что раним утром 22 июня 1941 года на бюро Днепропетровского обкома партии неотложные вопросы оборонных мероприятий решали наряду с другими товарищами секретарь обкома Л. И. Брежнев и председатель горсовета Н. А. Щелоков. Наиболее любознательные, вчитываясь в биографии одного и другого, находили удивительные совпадения по местам их службы.

В печати, по радио и телевидению продолжали греметь овации по поводу замечательных успехов министра. 26 ноября 1970 года в связи с шестидесятилетним юбилеем его наградили высшей государственной наградой — орденом Ленина. Через десять лет присвоили звание Героя Социалистического Труда. Приветственный адрес в присутствии членов коллегии торжественно огласил Чурбанов. Золотую Звезду вручил Щелокову лично Л. И. Брежнев.

Теперь можно было подумать и о большем. О создании не подвластной и не подконтрольной никому касты, подчинявшейся только ему — Щелокову или подобранному им же преемнику. Оперативная работа в области преступлений в сфере экономики, уголовных проявлений, охраны общественного порядка, вся система предварительных мест заключения, исправительно-трудовых учреждений, включая специальные внутренние войска, — все в его руках.

Мешает лишь то, что расследование особо сложных дел, в том числе убийств, изнасилований, должностных преступлений, сосредоточено в органах прокуратуры. Ничего, перед ЦК партии, правительством страны поставлен вопрос о передаче всего следствия в органы внутренних дел. Правда, против этого возражают Генеральный прокурор, Верховный суд, но к их доводам не очень-то прислушиваются... Министр внутренних дел поначалу добивается решения о передаче всех дел о преступлениях несовершеннолетних в следственные подразделения милиции, а ведь это более половины всех дел, расследуемых следователями прокуратуры. Все идет как задумано, но общую благодушную картину с состоянием правопорядка в стране портит рост количества уголовных дел, возбужденных против работников милиции, и Щелоков делает по этому поводу демарш. Министр внутренних дел внес представление (!) Генеральному прокурору СССР, в котором поставил вопрос о необоснованном возбуждении прокурорами уголовных дел против работников милиции.

Дальше — больше. В ЦК КПСС, Совет Министров СССР направлена докладная записка, в которой предлагалось лишить прокуроров городов и районов права возбуждения уголовных дел против работников милиции, а рядовой и сер-

жантский состав привлекать к уголовной ответственности только с согласия начальника УВД. Что же касается офицеров милиции, то «подступиться» к ним можно только с согласия министра. Возможно, мечты Щелокова и сбылись бы, но земля наша не обделена людьми незаурядными.

Виктор Васильевич Найденов имел большой опыт работы в должности прокурора Ульяновской области, а затем — и в аппарате ЦК КПСС. В то время он как заместитель Генерального прокурора СССР возглавлял Главное следственное управление Прокуратуры СССР, а значит, и руководил теми прокурорами, что надзирали за деятельностью органов внутренних дел.

Понимая, чем чревато предложение Щелокова, Виктор Васильевич решил дать бой всесильному министру: было подготовлено соответствующее обобщение по уголовным преступлениям работников МВД. Через некоторое время его вынесли на обсуждение общего партийного собрания Прокуратуры СССР.

В результате в начале 1980 года в директивные органы пошел не просто ответ за подписью Генерального прокурора, а решение коммунистов центрального аппарата Прокуратуры СССР.

(Это партийное собрание я запомнил хорошо, потому что оно было для меня первым после перевода в Москву.)

Прошел год. Отступать Николай Анисимович не собирался. Но складывающаяся ситуация была чревата «взрывом», и он произошел.

Следствие

27 декабря 1980 года возле поселка Пехорка, недалеко от дороги, ведущей в аэропорт Быково, обнаружили окровавленного, практически раздетого и полузамерзшего человека. Одежда потерпевшего валялась рядом. Кроме записной книжки в карманах ничего не обнаружили. Номера телефонов и фамилии из записной книжки ничего не проясняли, а потому прибывшие на место происшествия работники милиции позвонили по одному из них.

С этого момента в известном всем здании на площади Дзержинского зазвучал сигнал тревоги. Пострадавшим был заместитель начальника секретариата КГБ СССР Вячеслав Васильевич Астафьев. Через несколько дней, не приходя в сознание, он скончался [1].

В последующие дни председатель Комитета государственной безопасности Юрий Владимирович Андропов заслушал на оперативном совещании результаты расследования обстоятельств гибели Астафьева. Мнения сотрудников, занимавшихся этим делом, разделились. Одни выдвинули версию об автодорожном происшествии, другие настаивали на том, что Астафьев был убит. Тогда и последовало предложение просить Генерального прокурора поручить расследование дела следователям Прокуратуры, специализировавшимся по делам об убийствах.

Продолжение. Конец шестидесятых

В так и не вышедшем на экраны двухсерийном документальном фильме «Страницы жизни», посвященном Щелокову, один из лучших дикторов страны зачитывал страницы рабочего плана министра: 13 января — заседание Политбюро, 17 января — заседание Совета Министров, 18 января — заседание Секретариата ЦК КПСС... И так — по нескольку раз. Все мы должны были проникнуться особой ролью видного государственного деятеля, имя которого (как, впрочем, и имя Юрия Михайловича Чурбанова) упоминалось в Большой Советской Энциклопедии.

Итак, успех. Он был. Но еще более был он нужен в профессиональной деятельности. Результаты в отдаленной перспективе не устраивали, и поэтому огромное значение имела реклама. Созданному при МВД СССР пресс-центру выделялись значительные денежные суммы. На советских читателей и зрителей обрушился поток заказной литературы, кино- и телефильмов о подвигах работников милиции (и, нужно сказать объективно, зачастую действительных, а не мнимых). Писателей, художников, актеров и кинорежиссеров награждали солидными ведомственными премиями. Что же, кто платит, тот и заказывает музыку...

Из письма Арама Хачатуряна Щелокову: *«Дорогой Николай Анисимович! Этот марш я написал вдохновленный Вами и по Вашей инициативе. Ваше внимание и любовь к искусству, музыке — явление необычное, достойное восхищения. Мы, музыканты, очень Вам благодарны. Позвольте преподнести Вам в дар рукопись моего марша...»*

Ну что же, возможно, бодрящий марш работников милиции был действительно нужен, но не сокращалось, а росло число умышленных убийств, изнасилований, грабежей, разбоев. Подлинным бичом для всей страны становились квартирные кражи, возрождалась профессиональная преступность. Это были жестокие реалии нашей жизни, которые никак не вписывались в надуманную да к тому же подкрепленную партийными решениями теорию о сокращении преступности при социализме, вплоть до полного ее искоренения. Тогда и заявил министр о том, что основная деятельность милиции будет заключаться в предупреждении преступных проявлений. Дело нужное и важное, возложенное на все наше общество и его государственные институты, решили подменить вновь созданными в системе МВД крупными подразделениями по профилактике правонарушений.

Потерпевший

В этот роковой день Вячеславу Васильевичу исполнилось сорок лет. Более недели он «бюллетенил» (врачи обнаружили воспаление легких). Держалась температура, но все же Астафьев решил сходить за праздничным заказом и вечером с друзьями отметить юбилей. Жена перед уходом на работу поздравила его от себя и детей и дала деньги на подарок. Он купил на эти деньги красивые импортные туфли...

Застолье было непродолжительным, потому что из всех приглашенных пришли только двое. Домой решили добираться на метро. На станции «Площадь Ногина» Астафьев сел в вагон поезда и тут же задремал. Болезненное состояние и алкоголь сделали свое дело. На конечной станции метро, «Ждановской», перед отправлением поезда в тупик контролеры Воротилина и Мотникова увидели в одном из вагонов спящего человека с коробкой обуви на коленях. Рядом стоял портфель. Спящего разбудили и попросили пройти на перрон.

— Портфель-то ваш? — спросила его Мотникова.

— Нет, — покачал головой Астафьев, пытаясь определить, где он находится. — Ох, извините, портфель мой...

Астафьев протянул к нему руку, но его оттолкнула в сторону Воротилина, раскрыла портфель, и, рассмотрев содержимое, спросила:

— Если действительно ваш, что там находится?

Астафьев наморщил лоб:

— Водка, красная рыба, продукты... Что еще?..

— Вот и нет! — торжествовала Воротилина. — Здесь коньяк!

— Да, коньяк,— заговорил Астафьев, — я совсем забыл, ведь ребята подарили мне коньяк...

Эти его заверения были запоздалыми. Воротилина свистела, вызывая наряд милиции. Астафьев еще пытался убедить ее не делать этого, более того, предъявил служебное удостоверение, которое контролеры успели внимательно рассмотреть, но на платформу уже поднимались два работника милиции.

Попытка Астафьева разобраться в конфликте здесь же к успеху не привела. На его удостоверение они не посмотрели. Заломили руки за спину и потащили вниз, где под платформой находилась комната милиции — унылое помещение со скудным освещением.

Вячеслав Васильевич пробовал слабо сопротивляться. Увы, он не догадывался, что для двух молодых парней в серой форме он обыкновенный «карась» и что на их жаргоне это означает: «Интеллигентный с виду человек, у которого наверняка есть деньги и ценности, а значит, есть чем поживиться во время обыска и затем обвинить самого же задержанного во всех смертных грехах».

Так в этот день, в начале девятого вечера, судьба свела Вячеслава Васильевича Астафьева с постовым нарядом милиции станции метро «Ждановская» 5-го отделения милиции отдела по охране Московского метрополитена в составе Лобова, Панова, Емешева, Лозы, Самойлова и возглавляющего наряды старшего инспектора службы Масохина. Был еще один, не значившийся в списке наряда, но активно помогавший им нести службу. В нерабочее время — внештатный сотрудник милиции, а в рабочее — электромеханик по обслуживанию автоматов метро Мерзляев[1].

[1] Фамилия изменена.

Следствие

Представитель КГБ СССР полковник О. Д. Запорожченко начал разговор со мной о деле несколько необычно.

— Мы совсем не знаем вас, — сказал он, — да и времени познакомиться ближе у нас нет, но полагаю, что ситуация, в которую мы попали, исключительно сложна. Между нами должно быть полное доверие, поэтому прошу вас со мной во всем быть откровенным.

Признаться, такое начало меня несколько обескуражило, но что имел в виду Олег Дмитриевич, я понял только через несколько дней.

— Нами проработаны все станции Ждановско-Краснопресненской линии, на любой из которых Астафьев мог выйти, — продолжал Запорожченко. — Удача ожидала нас на «Ждановской», именно там его задержал постовой наряд милиции. С этого момента наш коллега исчез. По нашей информации, в документах 5-го отделения этот факт не зарегистрирован. Протоколы допросов Воротилиной и Мотниковой, а также опознаний Астафьева по фотографиям — в деле. Мы предполагаем, что к его гибели имеют самое непосредственное отношение работники милиции. Более того, у нас есть основания полагать, что происшедшее попытаются скрыть вышестоящие руководители органов внутренних дел. Мы обещаем вам полную поддержку и любую помощь с нашей стороны.

Эта версия действительно представлялась реальной, и реализацию намеченного плана мы начали в семь часов утра 14 января 1981 года. В кабинете начальника следственной части Прокуратуры СССР Германа Петровича Каракозова собрали около тридцати следователей, которым вручали пакеты и называли номера автомашин, рассредоточенных в районе Пушкинской улицы[1]. Краткий инструктаж — и команда: «По машинам!»

В служебных помещениях отдела милиции по охране метрополитена, территориальных отделениях и медвытрезвителях, расположенных недалеко от станции метро «Ждановская», шла выемка документов.

Со службы или места жительства в следственный отдел КГБ СССР а Лефортово доставлялись лица, которые в течение вечера 26 декабря 1980 года находились в комнате милиции или возле нее.

Да, свозили именно в Лефортово. Все остальные учреждения подобного рода находились в подчинении Щелокова, а значит, не могли обеспечить надлежащей изоляции предполагаемых преступников. Более того, дальнейшая работа с ними могла быть уже бесполезной.

В этот день ни Щелокова, ни Чурбанова в Москве не было. Но происходившее было настолько необычным для столичной милиции, что кое-кто пытался не подчиниться требованиям работников Прокуратуры. Возникавшие конфликты умело разрешал заместитель начальника следственной части Юрий Николаевич Шадрин[2].

Продолжение. Начало семидесятых

Продолжали греметь литавры в честь потрясающих успехов советской милиции, особенно службы профилактики. Складывалось впечатление, что это — основное ее подразделение, а между тем продолжали хиреть уголовный розыск, служба БХСС. Оказывается, за одну и ту же зарплату можно было работать по-разному. Но какое это имело значение для успеха, который был так нужен? Да никакого!

В уже упомянутом документальном фильме есть кадры, наводящие на невеселые размышления. Одной холодной снежной зимой Николай Анисимович руководил войсковыми учениями вверенной ему дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. На плацу стояли боевые машины пехоты, солдаты лихо шли в атаку, утопая в снегу и стреляя на ходу из автоматов. С кем они собирались воевать? — вот в чем вопрос.

В очерке «Кома», опубликованном журналом «Огонек» в начале 1989 года, отдельные высокопоставленные сослуживцы Щелокова характеризуют его как умного, талантливого и способного руководителя органов внутренних дел. Что же, глупым его действительно не назовешь.

Из интервью министра корреспонденту Гостелерадио СССР в период работы XXVI съезда КПСС.

Вопрос: Мне говорят, что в последние годы изменился облик советского милиционера. Он стал грамотней, культурней. А каким бы вы хотели видеть рядового милиционера, работника органов внутренних дел?

Щелоков: Прежде всего это должен быть культурный, идейно воспитанный человек, потому что милиция в любой капиталистической стране — она подготовлена технически, но, что бы они ни делали, как бы ни оснащались, как бы ни работали, никогда американская или нью-йоркская полиция не справится с преступностью. Это не их вина, это их беда. Для того, чтобы решать эти проблемы, нужно решить одну задачу, а эта задача заключается в совершении пролетарской революции. Только в социалистической стране может быть обеспечен настоящий правопорядок для людей.

Вот так, ни много ни мало. Только сейчас начинаешь понимать, какой непоправимый ущерб авторитету и престижу нашей страны наносили такие безответственные заявления новоиспеченного доктора экономических наук (и особенно тогда, когда они соседствовали с известными всему миру фактами присвоения в пользу свою и своей семьи автомобилей иностранных марок). Между тем автотранспорта в милиции хронически не хватало. В Донецкой области, преследуя бандитов, ограбивших сберкассу, работники уголовного розыска отчаянно размахивали руками, когда у их старенького «газика» на ходу отвалился карданный вал. Лимит на бензин заставлял использовать не по назначению автомобили промышленных предприятий, а иногда — и частных лиц. Примитивная криминалистическая техника не обеспечивала качественного ее применения. И при всем при этом министр иронизировал над технической оснащенностью американской полиции.

Правда, он посетил проводившуюся в Москве выставку ведущих фирм Запада, специализирующихся на изготовлении криминтехники, но и только. Восторга практиков их руководитель не очень-то разделял. Мы оказались одной из немногих стран мира, которая бюджетные ассигнования тратила в основном на увеличение численного состава органов правопорядка и, естественно, в ущерб качеству. Выбитые у правительства вакансии нужно было срочно заполнять, и широким потоком полились в милицию «случайные» люди.

Между тем реальная жизнь шла своим чередом. Проблемы в экономике и социальной сфере не могли не отразиться на росте преступных проявлений. Но никому не нужна была в те годы правда. За рост преступности били жестоко. В два счета можно было поплатиться и должностью, и карьерой, а потому и стали скрывать все то, что можно было скрыть. В выборе средств не стесиялись, и поэтому ни одна странв мире не знала такого высокого процента раскрываемости, который был в те годы у нас.

Большое количество черепно-мозговых травм списывалось на «падение с высоты собственного роста» либо по «альтернативной формуле» — что «данное повреждение образовалось от удара тупым твердым предметом или при ударе о такой предмет». Первое, естественно, игнорировалось, второе брали за основу.

Доходило до того, что при выезде для осмотра трупа, обиаруженного в пруду городского парка со связанными веревкой руками и ногами и грузилом-камнем, заместитель начальника Управления уголовного розыска области битый час убеждал меня, что потерпевшая, решившая сыграть с нами злую шутку, сама себя обвязала, привязала на шею камень и прыгнула в воду.

Укрывали все, что можно было укрыть, и для достижения этой цели никакими средствами не брезговали, вплоть до шантажа потерпевших компрометирующими материалами.

Уже работая в Москве, я приехал как-то к себе на родину и в троллейбусе встретил одноклассницу. В разговоре поделилась она своей бедой: в плавательном бассейне украли у нее и дочери ценные вещи стоимостью около четырехсот рублей, а милиция кражей заниматься не желает. Договори-

---

[1] Пушкинская ул., 15а — здание центрального аппарата Прокуратуры СССР.

[2] В настоящее время Ю. Н. Шадрин — член коллегии Прокуратуры СССР, начальник Управления по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах.

лись, что напишет она жалобу прокурору города, а он возьмет ее под свой контроль. Встретились через год. «Эх, тоже мне, друг детства! — услышал я возмущенный голос одноклассницы. — Лучше бы я тебя ни о чем не просила!» И далее последовал рассказ о том, как работники милиции занялись не кражей, а мужем заявительницы, оказавшимся, к несчастью, директором овощного магазина. Только после нового заявления о том, что никакой кражи якобы не было, эту семью оставили в покое.

Приказы Генерального прокурора СССР требовали самых жестоких мер по отношению к должностным лицам, укрывающим преступления от учета. Но после очередного выявления такого рода злоупотреблений (и как следствие — роста неблагополучных показателей по региону) стали практикой вызовы в обком, в отделы административных органов. Там чересчур ретивому прокурору напоминали, где он состоит на партийном учете, и отечески наставляли, что он и начальник милиции «ходят» в одной упряжке и ссориться из-за такой мелочи, как укрытие преступлений, право, глупо. С прокурора спрашивали за рост преступности, а отнюдь не за состояние надзора за деятельностью органов внутренних дел. Насколько принципиальным он оставался после этого, было делом совести каждого конкретного человека.

Укрытия, набирая темп, развращали личный состав работников милиции. Как следствие, ширились их злоупотребления, выявлялись многочисленные факты рукоприкладства, превышения власти, а наказание за это подрывало бы всю создаваемую систему лакировки действительности. Допустить этого Николай Анисимович Щелоков не мог.

Неофициально, с соблюдением строгой секретности, начался сбор компрометирующих материалов на работников органов прокуратуры, занимающихся расследованием дел о таких злоупотреблениях.

«Ссориться с нами нельзя, — поучал меня, молодого прокурора следственного отдела прокуратуры области, начальник одного из райотделов милиции. — Вот был у нас один мальчишка, который только что назывался следователем. Прибежал к нему один ханыга. «Избили, — кричит, — в комнате милиции! Разве это представители власти?» Он со мной не посоветовался и — раз: двух моих в КПЗ. Пришлось ему фотографии показать и кое-какие записи его общения с подругами. Сразу стал, как шелковый. Так-то!»

Укрывались преступления, совершенные гражданами, росло количество жалоб и заявлений об этом. В ход шли шантаж, угрозы, рукоприкладство, злоупотребления по службе. В конечном итоге вседозволенность и безнаказанность привели к многочисленным фактам укрытия преступлений, которые совершали работники милиции.

Следствие

Первые допросы придали уверенности в том, что мы на правильном пути. Постовые наряда на станции метро «Ждановская» начисто отрицали факт задержания Астафьева. Опознания, очные ставки, изучение изъятых документов... Постепенно прояснялась картина...

На службу постовые заступили в 16 часов. Как это делали не раз, занялись грабежом задержанных. Пока еще на свои деньги Мерзляев купил вина. Закуску отобрали у доставленного в комнату милиции пьяного пенсионера, получившего в этот день в магазине праздничный заказ. У троих любителей спиртного, которых привели в комнату милиции чуть позже, забрали деньги, и Мерзляев только успевал бегать в магазин. Вскоре опьяневший Масохин заснул в одном из подсобных помещений. Оставшиеся продолжали «нести службу».

По свистку Воротилиной за очередным «карасем» побежали Лобов и Емешев. Такого «улова» у постовых со «Ждановской» еще не было.

— Это «комитетчик», — на ходу бросил Лобов Мерзляеву, поспешавшему к ним на помощь, и подмигнул, показывая на коробку с обувью, которую держал в руках Астафьев. Внештатный сотрудник тут же рванул ее к себе и забросил в подсобное помещение.

В комнате милиции Астафьева затолкали за барьер и приступили к личному обыску, преодолевая силой слабое сопротивление задержанного. Астафьев пытался убедить пьяных блюстителей порядка в том, что он — офицер и сам предъявит содержимое своих карманов. Особое раздражение постовых вызвал отказ отдать служебное удостоверение сотрудника КГБ. Астафьева начали бить... После очередного резкого удара (в живот и потом — ребром ладони по шее) Вячеслав Васильевич потерял сознание.

«Ну а что вы сделали с ним потом?» — именно этот вопрос мы задавали четверым подозреваемым, которые к исходу дня уже не отрицали, что, превысив власть, избивали задержанного. Все они твердили одно: «Потом мы его отпустили». Лобова, Емешева, Лозу и Масохина арестовали.

Да, трудным он выдался, этот первый день расследования обстоятельств гибели Астафьева, но самый главный сюрприз ожидал меня вечером.

В кабинете одного чиновника, к которому зашел по делу, сидели несколько незнакомых мне мужчин, в том числе полковник внутренних войск. Заверив, что рады познакомиться со мной, присутствующие предложили выпить вместе с ними. Ничего, кроме удивления, это предложение не вызвало, и я, сославшись на то, что сейчас не время для застолья, ушел.

«Говорить или не говорить об этом Запорожченко?» — только об этом думал я, собираясь уезжать домой. Вспомнив наш разговор о взаимном доверии, решился.

— Да, ситуация интересная. — Олег Дмитриевич задумался. — Знаешь, домой тебя проводят мои ребята. Так будет спокойнее.

Тут же договорились, что, если наше предположение о возможной провокации не подтвердится, лишнего шума поднимать не будем.

У подъезда меня ожидали двое. Перекрывая вход, они всем своим видом демонстрировали агрессивные намерения. Позже я не раз думал: на что они рассчитывали? Не знаю, но думаю, что между нами могла начаться как минимум перепалка, как максимум — драка... Подоспела бы милиция, и я «в нетрезвом состоянии» оказался бы там, где искали встречи со мной... Комментарии к остальному, как говорят, излишни. От расследования дела меня бы отстранили, а как бы повел себя другой следователь в эти первые и самые трудные для судьбы дела дни — кто знает?

А тогда я остановился в растерянности. Из автомашины вышли сопровождавшие меня работники КГБ.

— Мы надеемся, товарищ может пройти? — спросил один из них.

Последовала пауза. Двое угрюмо посторонились.

— Идите спокойно и, главное, не волнуйтесь, завтра мы за вами заедем.

На этом мы расстались. Но насколько спокойной была для меня эта ночь, догадаться нетрудно.

Наступивший день успокоения не принес. Изучение изъятых документов, анализ складывающейся обстановки позволили прийти к выводу о том, что мы столкнулись с процветавшими в московской «подземке» преступлениями. Но главным было то, что эти преступления систематически укрывались. Стало понятно, что разоблачение происходившего в столичной милиции может быть подобно взрыву, что заинтересованные лица предпримут все возможное, чтобы на первоначальном этапе расследования, когда доказательства еще расплывчаты и до истины далеко, нейтрализовать следователя и тех, кто работает по делу вместе с ним.

— Похоже, нам объявили «войну», — с грустью сказал мне Олег Дмитриевич Запорожченко и добавил: — Мы получили указание заняться обеспечением твоей безопасности всерьез...

Да, в такие переделки я еще никогда не попадал. Все переезды по городу в рабочее и нерабочее время — только на специальной автомашине. Дочь в школу и обратно — таким же путем. Как-то она даже расплакалась:

— Перестань меня возить, надо мной весь класс смеется. Все спрашивают: «Кто твой папа, что от порога дома и до порога школы тебя возят?»...

Пришлось объяснить, что такая у меня работа и ничего тут не поделаешь, а успокоил ее тем, что маму тоже охраняют.

Не обошлось и без курьезов. В один из дней, возвращаясь домой, на лестничной площадке встретил соседа. Поздоровались, заговорили. Неожиданно распахнулись створки лифта, и перед нами появились трое плечистых парней.

— Владимир Иваиович, все в порядке?

Растерявшись, я только успел кивнуть головой, и они тут же исчезли.

— Это что такое? — спросил, заикаясь, испуганный сосед.

— Так меня охраняют, — объяснил ему.

— Ну у тебя и работка! — услышал в ответ.

Я же с теплотой и благодарностью подумал о товарищах с площади Дзержинского, которые держали слово и обеспечивали мою безопасность.

Между тем мы упорно, шаг за шагом, продвигались вперед. Факт задержания Астафьева и его избиения в комнате милиции можно было считать доказанным, но кто и как его убил, мы не знали. Только позже выяснилось, как тщательно инструктировали обвиняемых и сколько версий происшедшего с ними проработали.

После избиения единственный трезвый среди постовых сержант Самойлов позвонил ответственному дежурному по 5-му отделению и сообщил о задержании Астафьева. Последовала команда или отпустить его, или, действуя по инструкции, вызвать представителя КГБ. То же самое предложил сделать прибывший на станцию проверяющий, младший сержант Голунчиков. К сожалению, они не знали, что давали команды не подчиненным им постовым милиционерам, — они давали команды преступникам.

— Товарищ майор, уходите отсюда по-хорошему и побыстрее,— уговаривал Астафьева Самойлов.— Вам лучше с ними не связываться. Они не люди, поверьте мне. Ну, пожалуйста, уходите...

Но негодованию Астафьева не было предела.

— Мерзавцы! Мерзавцы! И отъявленные подонки! Никогда, никогда я вам этого не прощу и так этого не оставлю,— повторял он, покидая комнату милиции.

Со злобой в затуманенных спиртным глазах смотрели на него Лобов и Панов.

— Слушай, ну, идиоты! Разве можно так отпускать? — теребил Лобов рукав куртки Панова.— Он же всех нас заложит. Слышишь, заложит! Давай его грохнем! Молчат только мертвые!..

Молчал и Панов, а потом, решившись, кивнул головой. Они побежали вслед за Астафьевым. Улыбнись счастье Вячеславу Васильевичу, и, может быть, они бы его не догнали, но он спутал платформы прибытия и убытия, поэтому его не упустили и настигли в подземном переходе.

— Товарищ майор, вы забыли свои туфли,— сказали Астафьеву и предложили вернуться обратно.

Тот отказался и велел вынести похищенное. Его вновь скрутили и потащили в сторону комнаты милиции. Он отчаянно сопротивлялся, взывал к помощи прохожих, но те спешили пройти мимо. Кто мог подумать, что люди в форме, призванные защищать их от преступников, решились сами на совершение тяжкого преступления?

В комнате милиции Астафьева впервые увидел Масохин, который к этому времени проснулся и немного протрезвел. Задержанного затащили за перегородку и снова стали бить, но на убийство никто не решался. И тогда Панов сбегал в ближайший ресторан за водкой. Спиртным он надеялся подбодрить собутыльников, но когда вернулся, все произошло проще и оттого — страшнее.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ОБВИНЯЕМОГО ПАНОВА:

— Как только я вошел в комнату милиции, за мной кто-то захлопнул дверь. Увидел, что Лобов и Емешев затаскивают Астафьева за барьер. Я приблизился к ним. Кто из них свалил его, я точно сказать не могу. Я увидел, что Астафьев как бы сполз по стене на пол. Он пытался вырваться, но Лобов удерживал его и не давал встать. Я понял, что они не решаются ничего сделать, а Лобову нужна помощь, и подошел к ним. Чтобы мне было удобнее, правую ногу прижал к лавочке, а потом протянул ее чуть вперед, так что моя голень полностью лежала на лавочке. Подумал, что нужно подстраховаться и не выронить бутылку, которая могла разбиться. Страхуя себя свободной рукой, чтобы не упасть, другой дотянулся до головы Астафьева, зажал его волосы рукой и два раза, оттягивая голову к себе, ударил затылочной частью головы о стену...

Чем дальше продвигалось следствие по выяснению обстоятельств убийства, тем ожесточеннее становилось сопротивление тех, кто был напуган таким ходом событий. В верхних эшелонах власти срочно формировали «мнение» о том, что прокуратура и КГБ фабрикуют дело с целью подрыва авторитета органов внутренних дел. От В. В. Найденова требовали объяснений, он от нас — бесспорных доказательств вины Лобова, Панова и других. Мы же пока располагали только их показаниями.

Итак, к исходу двух недель расследования стало более-менее ясно, кто избивал Астафьева, но... Кто и как вывез его к поселку Пехорка? Подозрение пало на бригаду медвытрезвителя, которую в тот вечер трижды вызывали на «Ждановскую». Согласно журналу регистрации медвытрезвителя, второй вызов был в тот период, когда в комнате находился Астафьев. Напротив записи о третьем вызове значилось: «Отказались сами...», то есть в 21 час 45 минут бригада прибыла в комнату милиции, но пьяного с собой не забрала, а если быть точнее — никого не доставила для вытрезвления. Почему?

Бригадир Гейко и два его напарника упорно твердили, что ничего не помнят.

Первым, кто рассказал о том, как якобы избавились от Астафьева, был Масохин.

— Я не принимал участия в убийстве,— заявил он,— но когда ребята добавили ему при мне и он потерял сознание, я решил, что нужно от него избавиться, иначе придется отвечать, да и меня уволят. К десяти вечера приехал Гейко, и мы попросили его вывезти Астафьева и куда-нибудь выбросить, а там пусть разбираются. В случае чего скажем, что мы его отпустили, пусть докажут другое. Гейко колебался, и тогда я забрал из портфеля Астафьева бутылку коньяка и налил ему стакан. Он выпил и сказал: «Добро». Мы помогли ему вынести Астафьева, и бригада уехала. Что дальше было, пусть сами говорят...

Проверка этих показаний позволила установить, что Гейко был в комнате милиции, видел избитого Астафьева и распил с Масохиным и Мерзляевым бутылку коньяка, отобранную у потерпевшего. Гейко продолжал настаивать на «запамятовании».

В один из дней, когда у нас почти не было сомнений в том, что Астафьева вывезли на автомашине медвытрезвителя, на допрос неожиданно запросился Лобов.

— Знаете,— сразу сказал он,— появились у меня какие-то смутные воспоминания.— Взгляд его стал заискивающим.— Вижу перед собой черную «Волгу», в нее затаскивают Астафьева, а рядом — Масохин. Он залезает первым, а потом тащат этого комитетчика...

Ничего, кроме раздражения, заявление Лобова у меня не вызвало.

— Забери свою явку с повинной,— сказал я ему,— и когда у тебя появятся не смутные воспоминания, а желание говорить правду, тогда передашь, чтобы тебя вызвали...

Ох как непросто преодолевать барьер предубежденности, уверенности в том, что ты на правильном пути!

Мы готовились к очной ставке между Гейко и Масохиным, обдумывая различные варианты ее проведения, но меня не покидало состояние внутренней неуверенности в том, что одним из убийц был Гейко. Что-то было не так. И вдруг вспомнил: конечно, запись в протоколе осмотра места происшествия! Сам протокол был составлен поверхностно и состоял из двадцати предложений. Ни фотосъемки, ни изъятия следов на месте обнаружения тела Астафьева не производили, но была там одна фраза о следах автомашины, напоминающих протектор рисунка колес «Волги» ГАЗ-24.

Работники милиции и следователь, первыми прибывшие к поселку Пехорка утром 27 декабря, на допросах вели себя скованно. Видно было, что они знают больше, чем говорят. Недостатки, допущенные при осмотре, объяснили невысоким профессиональным уровнем, но вот того, что возле тела Астафьева они видели след развернувшейся автомашины «Волга», не отрицали и довольно убедительно обосновали свои предположения.

К этому времени появился еще один очень интересный свидетель. Это был постовой патрульного дивизиона ГАИ, который вечером 26 декабря дежурил на развилке Рязанского шоссе и поворота на аэропорт «Быково». Сразу после Нового года он исчез, и работники КГБ разыскали его на специальных курсах в Краснодарском крае, куда его срочно направили для повышения квалификации.

— В тот вечер,— пояснил он,— около 23 часов мне по рации передали, что со стороны Москвы в моем направлении движется автомашина «Волга» ГАЗ-24, которую нужно задержать. Вскоре я ее увидел. Салон автомашины был переполнен, но никого я рассмотреть не смог. Мое требование остановиться они не выполнили, преследовать их было не на чем. Автомашина скрылась в сторону Быково, и чуть позже я увидел, как в сторону Рязани проследовали две автомашины городского ГАИ. Мне показалось, что они за кем-то гнались...

Ни тогда, ни после мы так и не смогли установить, кто же передал ему по рации требование о задержании «Волги», какие автомашины ГАИ преследовали нарушителей еще от городской черты. В журнале постов ГАИ значились десятки «Волг», зафиксированных при их проезде по дорогам после 22 часов. Десятки, но не та, которую мы искали. Только позже, когда обвиняемые начнут рассказывать всю правду, выяснится, что при выезде из города, когда они на развороте чуть не опрокинулись в кювет, два офицера ГАИ жезлом

потребовали остановиться. Именно потому, что в машине был избитый до полусмерти Астафьев, сидевший рядом с шофером скомандовал: «Жми!» В заднее стекло увидели, что их собираются преследовать две спецмашины с мигалками. Но — почему-то все обошлось.

Теперь многое становится понятным. Утром 27 декабря нашли Астафьева. Через несколько часов узнали, кто он, и после этого невидимая, но могущественная рука заставила молчать и скрывать от нас правду десятки должностных лиц.

А тогда, оценивая собранную информацию, мы думали: неужели Масохин и другие лгут, оговаривая своего же товарища по службе? Многое могла прояснить очная ставка. До сих пор я жалею, что ее не записали на видеопленку.

Гейко несколько испуганно поглядывал на Масохина, ожидая, как потом выяснилось, что тот расскажет, как он пил на службе. Но услышал он другое. Потупив голову, Масохин монотонно излагал, как Гейко вывозил избитого Астафьева.

Реакция Гейко была неожиданной. Вскочив со стула, он упал на колени и закричал:

— Товарищ следователь, миленький, я же отказался!

Столько отчаяния и мольбы было в его голосе, что мне стало не по себе.

— Я видел его еще вечером... Тот, один из них, которого зовут Николай, ну, плотненький такой, он еще часто рассказывает, как служил десантником, показывал мне удостоверение и хвастался, что задержал комитетчика. Я тогда выпил с ними полстакана водки и увез в вытрезвитель двух пьяных. А потом видел того мужика еще раз. Он лежал за барьером и хрипел. Я же сразу понял, что с черепом не в порядке. Они и этот старший лейтенант просят: мол, вывези его. Что тебе стоит? И выбросишь... Налили стакан коньяка. Нет, говорю, братцы, шалишь, я же знаю, что это комитетчик. Как вы здесь с ним разбирались, так и расхлебывайтесь. Отказался я, поверьте мне...

Масохин на Гейко не смотрел. Было видно, что он подавлен происходящим, допустил оговор и психологически не выдерживает хода очной ставки. Лицо его побледнело, руки дрожали. Тупо уставившись в одну точку, он молчал. И тут я интуитивно понял, что он сломался. Такую ситуацию называют «моментом истины». Срочно вызвал конвоира. Гейко увели. Ставлю стул прямо напротив Масохина. Мы рядом.

— Николай, подними голову. Подними.

— Не могу.

— Николай, ты прежде всего человек, как бы ни был ты виноват, но страшно оговаривать невиновного. Согласен?

— Да! — выдавил из себя глухо.

— Николай, это была «Волга»?

— Да.

— Какого цвета?

— Черная.

— Кто приехал на «Волге»? Коля, кто приехал на «Волге»?

Масохин медленно поднимает голову. Ох как он смотрел на меня! Смертельная тоска была в его взгляде. Теперь я вижу, как дрожат у него губы. Выговорить он не может.

— Ба... Ба... Ба...

— Коля, кто это был? Ты должен сказать правду, как ни тяжело, но должен.

— Ба... Ба... Ба... Нет! Не могу! — Он почти кричит.

Но я уже догадался, хотя и не до конца верил такому повороту событий.

— Коля, это был Баринов?

Масохин кивает головой.

— Если можно — воды...

Стакан ходуном ходит в его руке, зубы стучат по стеклу, вода по подбородку стекает на одежду.

— Если можно — еще...

Постепенно он успокаивается. Расслабился так, как будто свалился с него тяжелый груз.

— Вы сейчас будете писать?

— Если ты не возражаешь, да. Потом будет труднее.

— Хорошо.

Масохин взял себя в руки. Рассказ его был подробным и последовательным.

Когда он понял, что удар, нанесенный Пановым, делает положение совсем печальным, то позвонил дежурному по отделению:

— Ребята грохнули комитетчика.

— Господи, какого? Того, что задержали?!

— Его.

— О, идиоты! Ничего не делайте, я ищу начальство.

В тот вечер начальник 5-го отделения милиции отдела по охране метрополитена Баринов находился на больничном. Дома не сиделось, съездил в больницу, сделал перевязку и заехал к коллеге по работе. Распили бутылку коньяка, потом вторую. О художествах подчиненных во время службы был осведомлен отлично — сам иногда грел на этом руки. Поэтому постоянное ожидание какого-нибудь ЧП не покидало Баринова ни на час. Собираясь домой, позвонил дежурному по отделению и услышал одну из самых неприятных за все годы службы новостей. Дал команду ничего не предпринимать, вызвал служебную автомашину и помчался на «Ждановскую».

Осмотрев Астафьева, сразу все понял. Посторонних и тех, кому не доверял, выгнал. Оставил старослужащих — Масохина, Лобова и Панова.

— Ну и что будем делать, красавцы?..

Масохин предложил отвезти Астафьева в больницу и объяснить, что в таком состоянии его доставили в комнату милиции.

— Дурак,— обругал его Баринов,— к утру здесь будет свора комитетчиков, а вы все — пьяные. Да они вас через час расколют, как цыплят.

— Может, вывезем за город и создадим видимость, что его ограбили и убили? — предложил Панов.

— Куда везти? — угрюмо спросил Баринов.

— Есть хорошее место,— оживился Масохин.— По дороге на Быково стоит одна дача — он вполне мог там быть.

Все остальное сделали быстро и по-деловому. Автомашина близко. Случайных свидетелей не боялись. Кто заподозрит в плохом людей в милицейской форме? Первым в салон влез Масохин, затем затащили Астафьева, усаживая его, как пассажира. За ним втиснулись Лобов и Панов. Баринов разместился на переднем сиденье. Тронулись. Неожиданные осложнения возникли, как мы уже знаем, на посту ГАИ, но, благо, удалось скрыться. За поселком Пехорка свернули направо и возле ворот одной из дач развернулись. Место удобное. Ни огонька, только чуть светит луна.

Вытащили Астафьева. Верхняя одежда с него частично сползла и ее, сняв, разбросали в стороны. Баринов дал команду потоптаться, чтобы имитация нападения была поубедительней, и предложил Масохину проверить, жив потерпевший или мертв — благо Николай в прошлом был фельдшером.

— У него есть пульс и он живой,— еле выдавил из себя Масохин.

— Тогда добейте его,— скомандовал Баринов. Потом добавил: — И чтобы каждый по очереди.

Из багажника автомашины достали монтировку. Первым взял ее Масохин.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ОБВИНЯЕМОГО МАСОХИНА:

— Меня всего трясло от страха, потому что я до этого никогда не убивал человека. Я наклонился и с небольшим полузамахом нанес ему удар по лицу. Целился в лоб, а удар мой пришелся ему в переносицу. Я ужаснулся, поняв свое положение, а также то, что я совершил непоправимое. Я понял, что убиваю человека, которого видел впервые и который мне ничего не сделал. Ударив Астафьева, я передал монтировку Панову. Тут же увидел, что Панов подошел к Астафьеву и ударил его монтировкой один раз, затем — еще раз. Меня всего бил озноб, и я отвернулся. Отворачиваясь, увидел, как Лобов ударил Астафьева ногой по голове...

Уже на обратном пути, разбираясь, все ли сделано надежно, сошлись на том, что если и не добили, то к утру потерпевший все равно замерзнет. Поклялись молчать о случившемся, и Баринов лично проконтролировал, чтобы от похищенных у Астафьева ценностей избавились. Как профессионал он знал, что самое опасное — это вещественные доказательства.

(Окончание следует.)

К нашей вкладке

Виктор ЛИПАТОВ

ПЕЙЗАЖ РАНЯЩЕГО ОДИНОЧЕСТВА

Автопортрет. 1840—1850 гг.

Автопортрет: спокойно, но напряженно; понимая, но не принимая, смотрит на нас Григорий Сорока. Аккуратно причесан, чистенько одет. Весь его облик излучает чувство собственного достоинства, болезненно-обостренное. Насколько внешне он непринужден, настолько внутренне угнетаем тревогой. Во взгляде — застарелая самолюбивая печаль.

Родился Сорока в иллюзорном убаюкивающем мире. Солнце в тверских местах яркое, молдинский пруд в тихую погоду — зеркален, розовый барский дом на полуострове — обиталище красивых и добрых людей. Вокруг — свободная прекрасная природа, о которой Репин говорил: «...для пейзажистов земля обетованная! Это же сама Россия — вся душа ее, вся прелесть...» И — рабство...

Сорока родился в семье крепостного, и до конца дней предначертано было ему влачить подневольную судьбу. Изведать барщины, оброка, солдатчины... Но была тогда на Руси хорошая мода — украшать стены дворянских жилищ, гостиных, кабинетов, диванных картинами. Пейзажами и портретами. Самым причудливым образом смешивались в той моде любовь к живописи с кичливостью: и мы не хуже других, и у нас свой «придворный» живописец. Помещик Николай Петрович Милюков, сам изредка баловавшийся рисованием, заметив, что его казачок пытается изобразить на бумаге дворню, решил образовать паренька по этой части — вдруг да получится свой «придворный «мазун». И не ошибся.

Сороку того времени легко представляешь по его портрету крестьянского мальчика: ясными глазами глядит тот на большой мир, где каждое событие — чудо.

Так повернулась судьба, но главное произошло позже, когда молодой художник встретил своего Учителя. Соседом Милюкова оказался Алексей Гаврилович Венецианов, известный живописец, впервые утверждавший в искусстве «новые и еще как бы сказать дикие предметы»: быт крестьян. Имение Сафонково, которое, как полагал Венецианов, «питало и будет питать в уединении мою душу и Гения», располагалось в тридцати верстах от Островков (имения Милюкова). Слыл художник человеком привечающим, отзывчивым, долгом своим почитающим превращать «бежецких мещан и тверских маляров в хороших художников». Школа Венецианова стала значительным событием в художественной жизни России. Именно Венецианов научил Сороку мастерству, открыл для него мир знаменитых мастеров от Боровиковского до «Карла Великого живописи» — Брюллова. И западных — Мурильо, Корреджо, Альбани... Как отличался этот неторопливый, доброжелательный человек от Ф. А. Бруни, ректора Российской Академии художеств, гостившего однажды у Милюкова. Сорока будто бы показывал ему свои работы, но ректор призывал к иному, «высокому» искусству, а изображение овинов и мужиков считал занятием неприличествующим, непотребным. А по Венецианову, живопись «должна быть единственно подсудима разуму, разуму чистому...» Впоследствии Сорока написал портрет Учителя. Сочинение это благодарственно, даже умилительно, но правдой молодой художник не поступается. И очень доброе в лице пожилого человека, и неодолимая сила упрямства — но и покорность судьбе...

Мы испытываем странную неловкость у «видов» Сороки. Конечно же, реальнейшие пейзажи, и тем не менее ощущается: это миражи, возрождаемые памятью. Талант, состояние души, настроение ли внезапно приближало художника к природе, и он восторгался ею нежно, вдохновенно, самозабвенно и столь же резко отдалялся — это ли заставляло его фиксировать в памяти картины дорогие, неповторимые. Он писал с натуры, процесс сближения — отдаления происходил мгновенно и постоянно. То была печаль узника, вечный атрибут его жизни, ненавидимая посильная ноша. Печаль — несвобода.

«Рыбаки» звучат, как мелодия. Зеркало воды — густое, стылое, самоценное, разделенное со светлым небом спокойно бегущей линией берега, где барский дом, церковь, хозяйские постройки, избы; округлые, мягких очертаний, серебристые вязы и осокори.

В мелодии — ритм. В соотношениях земли и неба, в бегущей линии берега; в повторяющихся планах, линиях и плоскостях; в нотных знаках свечек — обелисков, отражающихся в воде. Неслышно скользит сосновая лодка-долбленка с рыбаком в поярковой шляпе. На берегу — второй рыбак с удочкой в руке. Воздух прозрачен, как чистота; вечерний свет ясен и мягок. Лучи солнца окрашивают голубоватую поверхность воды, высвечивают цветовыми рефлексами белые рубахи рыбаков.

Природа — бог, природа — верный товарищ, но есть у Григория Сороки и иной мотив: огромное желание покоя исходит именно от человека, от художника, он ищет и находит в природе гармонию.

Виды невелики по размеру, но монументальны, величавы и песенны. Вольная гладь озера Молдино, удивительное пространство, разделяющее и объединяющее окружающий мир. На берегах голубоватого озера, впитывающего дымчатость леса, как игрушечные — часовенки, другие строения; немногочисленные люди — часть природы, часть пейзажа: рыбаки, косари; крестьянки, несущие ведра на коромыслах или стирающие белье, подростки... Срезая порой первый план, художник создает эффект зрительского присутствия в картине. Ствол дерева — рядом с вами. Над — ветка, усеянная листьями, каждый листик — дорог. Чуть впереди — остролистые камыши. Озеро, увиденное навсегда.

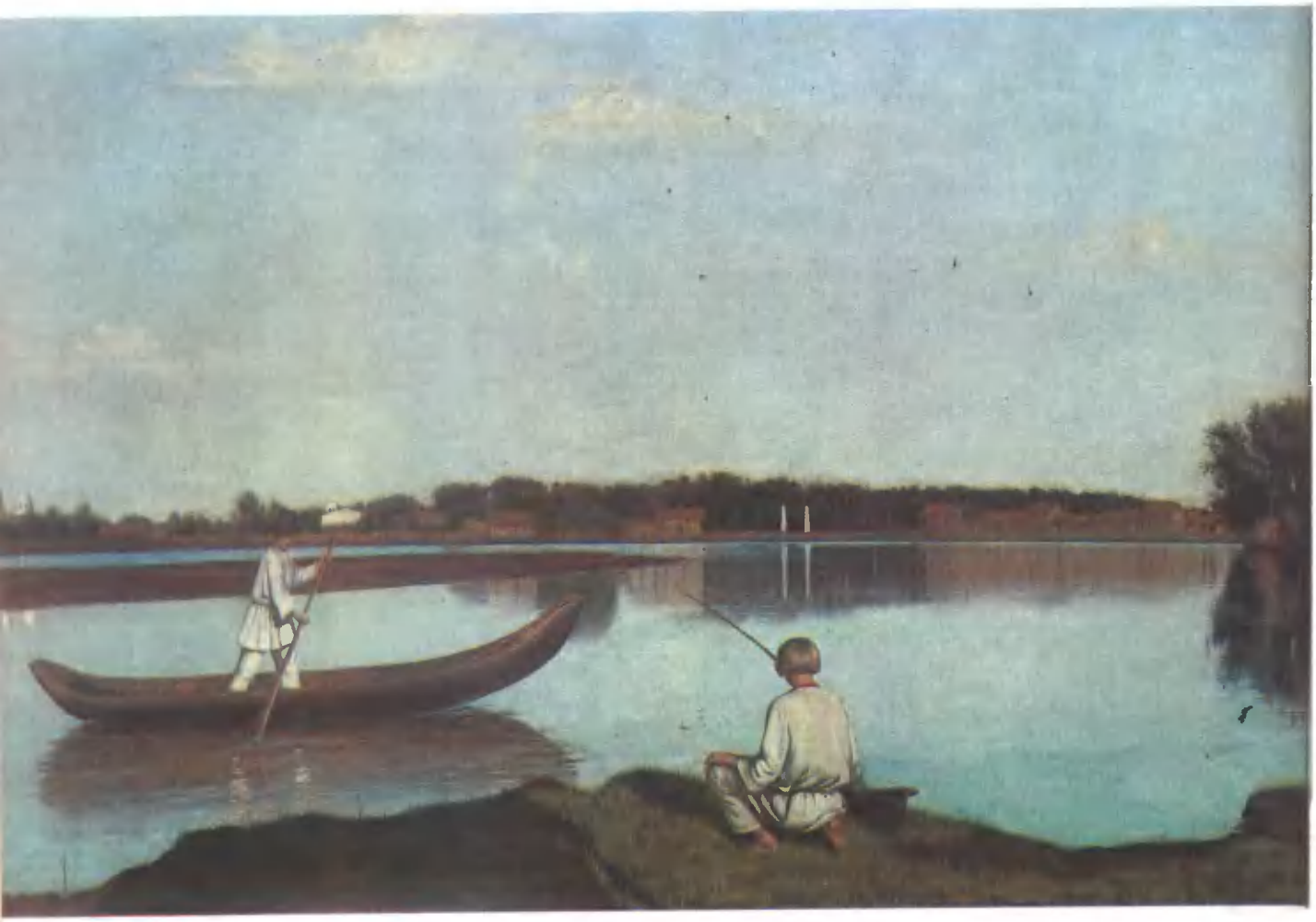
Сорока — лирик, но лирик особого свойства. Восторг переходит в рыдание, то и другое переживается негромко, в глубинах души, проявляется эпическое начало, возникает на полотне пейзаж ранящего одиночества, пейзаж-идиллия, пейзаж-печаль, создаваемый узником, подглядывающим за свободой.

Сорока — наивный художник. Краски достаточно локальные, формы обобщены и упрощены, модели монументально неподвижны, они тоже часть видов.

Наивный, но не простодушный. Потому что беспредельно верен своему призванию живописца, искренен с природой и самим собой. В примитивизме изображения угадывается преклонение пред природой, ее обожествление.

Кабинет в «Островках».

Григорий Васильевич СОРОКА 1823—1864 гг.



Рыбаки.

Портрет
А. Г. Венецианова.

Часовня в парке.

Портрет А. П. Милюковой.

Отражение в зеркале.

Слайды для вкладки представлены издательством «Аврора», г. Ленинград.

Венецианов не только научил, обогрел и ободрил, но и признал в Сороке дарование исключительное: «Разгорается новая звезда... и засверкает скоро всеми красками...»

Именно Венецианов посоветовал молодому художнику «написать какую-нибудь внутренность» — и Сорока, конечно же, выбрал гумно, сообразуясь с темой картины Учителя, когда-то принесшей тому славу. Работа получилась ученическая, некрепкая, но улыбающиеся крестьянские девочки, собирающие мякину, пусть довольно статичные, и настроение, и сам характер труда передают изрядно. А картину «Кабинет в Островках» уже сравнивали с лучшими образцами русской художественной прозы того времени. Сорока сохраняет здесь свое «пейзажное» качество — ощущение простора. Взгляд увлекается за пределы комнаты, через окна вдаль, к озеру, покрытому талым снегом, к кустарнику, соединяя воедино жилище и пейзаж.

На первом плане — стол хозяина кабинета, как строгое роскошество предметов. Темная отливающая голубым поверхность оттеняет блеск, выразительность, материальную значимость каждой вещи: счетов, где костяшками выложен год — 1844; ножниц, рейсфедера, транспортира, линованной бумаги, карандаша, бронзовых часов, письменного прибора с пером, скульптурного украшения, черного пресс-папье в виде фигурки Наполеона на лошади, подсвечника со свечой и черепа. Повесть в предметах объединена плоскостью стола.

Далее — уютная просторная комната, обшитая светло-коричневым теплым деревом, где под двумя рядами картин (постарался «мазун»!) на длинном диване сидит мальчонка в розовой рубахе, барский сынок, и читает книгу. Ощущение тишины и покоя.

Свобода взгляда сочетается у Сороки со строгой логичностью изображения. Мы замечаем это и в картине «Отражение в зеркале», где живописец предстает мастером организованного локального пространства. Интерьер — натюрморт, где ритм, ясность и достоверность предметности воссоздают красоту и значительность обыденного явления. Ящик-подзеркальник, на нем необходимые мастерице-рукодельнице предметы: шкатулка; желтая, затканная золотым узором подушка для иголок; серебряный игольник, наперсток, клубок белых ниток, ножницы. Ясные, холодноватые тона сгармонированных красок. В зеркале отражения мастериц, беседующих дворовых женщин...

Сороке доказательно приписываются изображения интерьеров комнат господского дома усадьбы Богдановское: «Гостиной» и «Диванной». Золотисто-коричневые стены, мебель карельской березы и красного дерева, живопись, мраморная скульптура, фарфор. Предметы населяют пространство, создавая прочную основу уютной и разумной жизни.

Высвобождая в Сороке дух творческого горения, Венецианов поневоле поступал неосмотрительно, способствуя и торжеству духа смятения. Талант и неволя — понятия несовместимые. Правда, бытует и иная точка зрения: в борьбе и трудностях закаливается талант; стремясь выжить, действует изобретательно. Но разве сравнима натуга со свободным вдохновением? Разве не лежит отпечаток несвободы даже на лучших произведениях, созданных в заточении? Льва Николаевича Толстого возможно представить крепостным? Столь же гениально глядящим на мир глазами раба, а не вольного человека, господина?

Дабы смягчить мрачное понимание судьбы, научал Венецианов: «Терпи, казак!» И тем не менее влек ученика в свободный мир торжествующего искусства, куда тот и сам жадно устремлялся. Оба знали: впереди — стена. Сказали же о крепостном художнике Василии Андреевиче Тропинине: «Он лбом стену прошиб»,— когда бывший кондитер превратился в знаменитого московского портретиста. А Тропинин обладал качеством, которому учил Венецианов,— высоким терпением. Сорока, уверовав в свой талант, поклонился ему, как священному дереву, и оскорбился за светлое несоответствие его окружающей тьме. Клетка душила его. Неутомимая жажда свободы требовала действия, и он решился на свой первый неуклюжий бунт: стал настойчиво просить о вольной. Естественно, это было расценено как предерзостность. Естественно, Сорока вспылил. Естественно, помещик наказал бунтаря. Логическая цепь событий привела к полному крушению надежд, к очередному осознанию своей ничтожной малости. Сорока был определен в садовники. Встревоженный Венецианов, понимая свою вину [призывал летать человека скованного],— утешает: «...при садоводстве рисованье... принесет большую пользу, и рисованью — садоводство...» Намекая помещику на раскаяние Сороки, внушает первому мысль о самовиноватости: «...вы ему дали почувствовать удовольствие внутреннее, тронули его душу... и остановили».

Сорока обрекался на страдания.

Он оставил нам на память портрет своего владельца. Не смог скрыть своей антипатии, но и правдой не поступился. Спокойный властный старик на портрете, всем своим видом угрюмо напоминающий окружающим, что это его далекий предок Семен Милюк «вышел из немцы» и был воеводой на поле Куликовом. Гипертрофированное чувство собственного достоинства легко переходит у этого человека в самодурство, жажду всевластия, которого с избытком хватило бы не только на свои владения и своих холопов. Зловещи крылья нависающих бровей, холодно-цепок взгляд, тонкогуб зло сжатый рот, недоумковато приплюснут подбородок, клюваст нос, скучно обвисли щеки...

Портреты Сороки начинались с рисунков дворовых. Повар Гаврила из Поддубья, Варвара Титова, горшечник Степан; Дмитрий Вышковский — крестьянин средних лет, мечтательной души, добрый, понимающий человек... Рисунок прост, сделан рукой ученика, но она старательна и искренна. С крестьян впоследствии художник писал иконы.

Известно, что рисовал Сорока многих окрестных помещиков, но портреты до нас не дошли. Сохранился портрет В. А. Преображенского, автора описания Тверской губернии. Портреты сестер Милюковых — дочерей помещика. Спокойная, сосредоточенная Лидия... Легенда свяжет имя художника с ее именем как с предметом «страсти нежной». Утверждали даже, что она покончила с собой после смерти Сороки. В портрете Елизаветы Милюковой нежная хрупкость и милое обаяние соседствуют с иконописным бесстрастием. Полудетское лицо дышит покоем, благожелателен взгляд карих глаз, но смотрит девушка как бы издалека, сквозь некую дымку...

Так проходят дни. Иконы для близлежащих церквей, портреты для помещичьих гостиных... Сад, где надо подстригать кусты, высаживать цветы, следить за газонами.

Что начинает убивать человека? Боль? Унижение? Безвыходность? Вести ли отсчет с момента отказа на просьбу о вольной? Или с трагической смерти Учителя? В декабре 1847 года Венецианов, любивший быструю езду, отправился на тройке молодых лошадей в Тверь. Испугавшись крутизны спуска к Поддубью, лошади понесли... И остался Григорий Сорока один как перст. Тяжесть оказывалась непосильной, душа деформировалась, он запил, стал терять мастерство, приукрашивать картины. Искусствоведы замечают в его работах последнего периода неприятный розовый оттенок, усиливающуюся условность изображения.

Но пришла, казалось, долгожданная свобода. Крепостничество пало. По Островкам — праздничное шествие с хоругвями; в церкви отслужили молебен в честь Александра II. Милюков, о котором даже его близкие замечали, что он не отличался широтой души, заключив с крестьянами договор о выкупе земли, жестоко обманул их. Сорока, еще вчера всецело уверовавший в свободу, от имени крестьян послал царю жалобу на коварного помещика. Так вновь, во второй раз, обнаружился в художнике бунт. Опьяненный волей, Сорока «явился агитатором». Но жалоба вернулась в губернию. Губернское по крестьянским делам присутствие «за сделанные грубости и ложные слухи» приговорило художника к оскорбительному телесному наказанию. И что-то оборвалось в этом хрупком человеке. Ходил он по деревне потерянно, «задумавшись», размышляя о чем-то мучительно и безвыходно. Смысл жизни не обретал своих очертаний. Обнаруживалось парадоксальное смыкание неволи, в которой можно было существовать, лишь надеясь на освобождение, и свободы, оказавшейся разновидностью неволи. Эта свобода умело хлестнула «агитатора» кнутом надсмотрщика за рабами. Однажды Сорока ушел на край деревни, забрался в сарай горшечника и повесился там. Официальное объяснение его смерти таково: «от неумеренного пьянства и происшедшей с того грусти с помешательством рассудка». Как самоубийцу, похоронили художника в сторонке от кладбища, за сиреневым кустом.

...У картин Григория Сороки всегда слышатся нам слова Венецианова: «силища русская, самобытная».

Борис ДУБРОВИН

АФГАНИСТАН. 1988

Чарикар

Мы уходим... А им разбираться...
Мы уходим... А взрывы гремят...
И стреляет афганец в афганца,
В брата снова прицелился брат.
Потрясенных ущелий оскалы,
Рассеченных утесов клыки...
Точно в кровь разбиваясь о скалы,
Умирают в горах родники.

И с камнями могильными вровень
Весь кишлак пулеметом прошит.
И чалма, обагренная кровью,
Над иссохшим арыком дрожит.
Багровеют томительно камни,
На камнях расплывается круг.
Тяжелеют медлительно капли,
Провисая, срываются вдруг.

Над запятнанной кровью пустыней
Замирает дехканин немой.
И закатное облако стынет
Окровавленною чалмой.
Снова взгляд ненавистной корысти
Предвкушением мести произен.
Снова братоубийственный выстрел,
Снова, снова рыдающий стон.

Цветы

На горестную грудь безвременных могил
Цветы спешат скользнуть
Иля упасть без сил.
Какая немота, какой упрек без слов...
Никто и никогда им не дарил цветов.
Как отблеск доброты, которую таим,
Живым нужны цветы, цветы нужны живым.
Цветы горят огнем наперекор зиме,
Но знают ли о том лежащие в земле?..
Дыханием своим им жизнь не принесла
Соцветия любви, заботы и тепла.
И что им в час беды,
Что искренне скорбим?..
Живым нужны цветы,
Цветы нужны живым.

Четыре солдата и лейтенант

Все пятеро были в бою наравне,
И только погибнув, покинули строй.
Их мотострелки привезли на броне,
И каждый омыт и покрыт простыней.
Начальству привычен подобный момент:
Тут важно сработать, а там уж проверь...
И наверх представлен такой документ,
Что взяли высотку и нету потерь.

В боях батальон отличился опять,
Бывалый комбат — настоящий талант:
Ведь нету убитых, а ранено пять:
Четыре солдата и лейтенант.

Над павшими взвысь не взметнется салют:
Они еще живы — такой документ.
Убитых, как раненых, в госпиталь шлют,
Ночным самолетом увозят в Ташкент.
А там не в новинку такие дела,
И только главврач омраченно притих.
Но «раненых» утром сестра приняла
И в морг госпитальный отправила их.
По справкам, готовым в ближайшие дни,
Как будто в тиши госпитальных палат,
Умрут от тяжелых ранений они:
Четыре солдата и лейтенант.

В запасе немало санитарных гробов,
И все, как положено, путь их далек:
В Калугу и в Таллинн, Ростов и Тамбов,
С тройной пересадкой во Владивосток.
Но те, кого в часть привезли на броне,
Все пятеро, взятые нынче землей,
Заявятся ночью к комбату во сне,
Доложат, что вновь возвращаются в строй.
И если убьют у скалы на краю,
Убитых не будет: они промолчат,
Как будто лишь ранены снова в бою
Четыре солдата и лейтенант.

Магнитофонная лента

Всюду музыку слышит разведчик,
Даже в дымке ночной.
Взбудораженный мир не развеичан,
Оглушенный войной.
На задание — с магнитофоном,
И включает в бою.
А потом будто чуть отрешенно
Крутит ленту свою.

Лепетанье ночного арыка
Вдруг звучит тяжело,
Затуханье короткого вскрика
И сейчас обожгло.
Перестрелка была до рассвета
И ушла в забытье.
Снова магнитофонная лента
Воскрешает ее.

Самоходки басят в отдаленье —
Штурмовая пошла.
Но симфония сопротивленья —
Над раскатами зла.
Тишиною внезапной воспета
С чувством вечной вины,
Рвется музыка тени и света,
Смерть и жизнь сплетены.

Грохот мины и вопль одинокий:
«Пристрели поскорей!
Никому я не нужен безногий!
Капитан, не жалей!..»
Стоны, крик нарастающей муки:
«Промедол не колн!
У меня же не действуют руки!
Капитан, пристрели!»

Легкий свист возникает и тает —
То пароль главаря,
Повторяется музыка тайны
И волнует не зря:
Эта вкрадчивость каждого звука,
Эта нота угроз,
Это голос как будто бы друга
И отает, как вопрос.

Вглубь разведки ему незаметно
Помогает уйти
Эта магнитофонная лента,
Словно лента нити.
И, всплывая, сомнения множа,
После стольких тревог,
То звучит в нем, что лепте надежной
Он доверить не мог.

Руки вверх!

Говорили о нем: промышлял по домам
С автоматом: «Убью наповал!
Руки вверх! Все к стене!..» Всех обыскивал сам
И афошки себе забирал.

А напарник поверить в такое не мог:
Друг за друга стояли стеной,
И, случалось, один им служил котелок,
Воду пили из фляги одной.

Там, где Черные скалы, в недавние дни
Чудом не оказались в плену.
И в походе, бывало, делили они
На двоих сигарету одну.

Но однажды рванули душманы огнем
Сквозь проломы в дувалах и с крыш...
А потом он ворвался в захваченный дом,
Крикнул: «Что, мусульманин, дрожишь!
Руки вверх! И к стене!..» Обыскал старика
И часы, и афошки отнял.
У напарника дергаться стала щека,
Потому что он все увидал:
«Лейтенанту не капну!.. Но это позор!
И не дорого ценишь ты жизнь.
Хоть не трусишь в бою, только ты — мародер!

Если вновь засеку, берегись!..»

А потом через месяц, попав под обстрел,
У бандитов отбили кишлак.
Он к дувалу подкрался, где тополь горел,
И прибавил стремительно шаг.
И опять с автоматом сквозь этот дувал,
В дверь прикладом, как будто бы пьян:
«Руки вверх! Все — к стене!..» И старух обыскал,
С пальцев кольца сорвал и — в карман.

Но напарник в дверях: «Вот и кончилась жизнь»,—
И нацелился, как неживой,—
«Руки вверх! Встань к стене! Нет, подлец, обернись!»
И нажал на крючок спусковой...

Алексей МАРКОВ

Бессмертие

Коль вижу старые изваянья
Родимых улиц, милых мест,
Где век разлуки и свиданья
И запах родины окрест,
Где липы вековые к небу
Стремятся, желтизной пыля,—
О смерти думать так нелепо —
Бессмертной кажется земля.

...Когда же происходит смена
Названий улиц, площадей,
Себя я представляю тленом
Средь смертных суетных людей...

Виноватый

Так исповедь нужна порой,
Чтоб в сердце не осталось скверны!..

...Какой-то пареиек со мной
Присел на привокзальном сквере.
Сидел-сидел и вдруг сказал:
— Живу в поселке, в Подмосковье...
Однажды — то ли бес попал! —
Как говорится, жаждем крови.
Идем с компанией своей
Мы с таицплощадки в воскресенье.
В душе от водки тьмы темней
И злости черное кипенье.

Сорвали трубку мы сперва
В ближайшей телефонной будке.
Потом веселая братва
Придумала другие шутки:
Забили камнем пятачок
В водоразборную колонку.
Он — пятачок — хоть пустячок,
Но не видать водицы долго!

...Домой явился... А мамаша,
Гляжу, решилась помирать!
Не может выговорить: «Саша...»
Я к автомату жму опять,
Чтоб вызвать «Скорую»... А он —
Вконец изломал телефон!
И от немыслимой досады
Зубами заскрипел я: «Гады!»

— Сынок, водички мне налей!..
Лечу к колонке я скорей,
А эта самая колонка
Лишь пискнула в отместку тонко...

Смекнул: к автобусу беги! —
Бегу, но не видать ни зги:
Разбили лампочку враги.
Споткнулся, полетел в канаву!

Припомнил тут свою ораву...

...Я вызвал «Скорую» не скоро,
И врач к мамане не успел...
Да, не хотел я, не хотел
Такого сам себе укора!..

Экскурсовод

Турист надутый, в кольцах весь,
Экскурсоводу чаевые
Сует за радостную песнь
О светлых гениях России.

Ведь, проходя из зала в зал
По Третьяковской галерее,
Тот не рассказывал — дерзал,
Не просто шел — как сокол, реял...

...Он чаевые оттолкнул,
Крылатые потухли очи,
И рухнул тяжело на стул.
Внезапно утомленный очень...

☆☆☆

— Валюша, Валенька, милок,
Подай покрепче мне вилок...
Огурчиков помельче взвесь,
Мечта — молодецких поесть...

Прилавок обступив, бабье
Питает ласками ее,
Но в каждом голосочке — ложь,
И Вале просто невтерпеж!

Но кто-то молча подошел,
Так улыбнулся хорошо,
Она кочан достала вдруг
Такой, что ахнули вокруг...

Валерий РУБИН

☆☆☆

Табориая песня,
дай-ка мие коня!..
В молодость, к иевесте,
поиеси меня.

Съезжу иа часочек,
мигом обернусь...
Как ее платочек,
по ветру сорвусь.

Посорю деньгами,
как твои воры,
полетят деиьками
марты, яивари.

Ты скажи — седая
чья-то голова —
у тебя такая
милая была?!

☆☆☆

Я у жизии, увы,
лишиих лет не сворую...
И ие зиаю, как вы,
я бы прожил — вторую.

Я сказал бы: Господь!
О былом позабудем...
Воскреси мою плоть,
допусти меня к людям.

Не затем бы я жил,
чтоб иаесться-напиться,
дай мие, Господи, сил,
чтоб себя устыдиться.

Нет грешиее меия...
Но увидишь впервые:
из таких вот, как я,
и выходят святые.

1950 год

1. По всей округе свист и вой,
пурга гуляет...
Прожектор в зоие, как слепой,
не пробивает.
И занесенные посты
поиикли вроде...
Десяток метров полосы
и — иа свободе.
Часовой, а часовой,
ты живой иль ие живой?
На полосе пощады иет
и иет защиты...
Здесь но всему живому вслед
огонь открытый.
Фигуркой черной иа сиегу
ты, как перчатка...
И, задыхаясь иа бегу,
летит овчарка.
Часовой, а часовой,
ты владимирский, тверской?
Четвертый час летит метель,
посты продрогли...
И полушубок, и шинель
насквозь промокли.
И ие дождется смены в шесть
иаряд усталый...
И, если это все учесть,
рискнем, ножалуй.
Часовой, а часовой,
автомат заряжеи твой?

2. Сколько ж сразу собак, сколько ж вдруг воронья,
сколько ж раз перестраивать можно ряды?..
Присмотрись, человек! Это вовсе не я!..
Это именно — ты! Это именно — ты!

Сколько ж сразу рассыпалось красных ногон,
сколько ж можно не видеть за этим беды?..
Присмотрись, человек! Это вовсе не он!
Это именно — ты! Это именно — ты!

Ты ие хвастай, что щи у тебя посвежей,
повидней из окиа, потеплее трико...
Автоматы — в затылок! Скорее, скорей...
Далеко не уйдешь! Не уйдешь далеко!

Это даже не твой покалеченный брат,
это сам ты и есть в перехлестах пурги...
Подниму, невзирая на крики солдат,
иад колонною в сумерках обе рукн.

Это вырвется с правого фланга ее,
словио символ всего от Карпат до Курил...
Оттого и в метели кричит воронье,
иеобычиое, низкое хлопанье крыл.

Ной РУДОЙ

В иаш век не распинают иа кресте,—
В иаш гулкий век техиического взлета,
И палачи, поди, уже не те,
Попроще стала палачей работа:
И стулья электрические есть,
И механические есть секиры,
И смертоносный газ — всего не счесть,
Но, как и прежде, в мире нету мира.
Но, как и прежде, гибнут города,
И умирают мальчики-солдаты,
И умывают руки, как тогда,
Сегодиишние Поитии Пилаты.

Конец войны

Мир расстался с орудийным громом,
Улеглась дорог военных пыль,
Я хожу по улицам знакомым,
Тижко опираясь на костыль,
И ловлю полуночные звуки.
Чей-то стон, и снова тишина.
Женщина заламывает рукн,
Стоя у открытого окиа.
Слышу я, как, звукам этим вторя,
Притаил дыханье каждый дом.
Боже, сколько болн, сколько горя
В сиротливом городе моем!

ЗАГОВОР НЕНАСИЛИЯ

— Чао, белло! («Привет, красавец!») Слышал новость? Ассоциация сдает виаем свой балкон, чтобы журналисты могли увидеть парад-спектакль на Елисейских полях! Стоячее место стоит в час...— От одной только цифры, которую назвал мой итальянский коллега из парижской Ассоциации зарубежной печати, сердце застывает у меня, как будильник, лишенный батарейки. Нет, нам такое удовольствие не по карману. Придется за шествием 14 июля по Елисейским полям наблюдать по телевизору...

Париж уже подготовился к торжествам 200-летия Французской революции.

Отремонтированы дома, вывешены в москательных лавках сине-бело-красные розетки в цвета национального флага, в киосках сувениров для японских и американских туристов появились фригийские колпаки и значки с портретами Робеспьера, Дантона, Марата, а заодно и Людовика XVI. Город, который и не назовешь образцом и точнее, чем «праздник, который всегда с тобой», набрасывает последний макияж к празднику, который приходит во Францию лишь раз в столетие.

— А может, и не имеющего себе равных во французской истории? — Марсель Гоше, философ, историк, автор многих книг, главный редактор научно-политического журнала «Деба» «Сюр» , выпускаемого «Галлимаром», одним из наиболее престижных французских издательств, не шутит.— И в самом деле,— продолжает месье Гоше,— празднование 200-летия приобрело сегодня для Франции значение символа. Какого? Во-первых, символа единства французской нации, как никогда за годы Пятой республики расколотой внутриполитическими распрями и нуждающейся в платформе примирения, чтобы достойно войти в дом «единой Европы» 1992 года. Во-вторых, символа большого прошлого небольшой страны... Разве можно представить себе Пятую республику без идеи «вождизма», столь близкой Робеспьеру и подхваченной сначала де Голлем, а теперь и Миттераном? 200-летие революции — это блестящая возможность для Франции еще раз заявить о себе на весь мир.

Символы... Мы говорим о них в маленьком кабинете Марселя Гоше в издательстве «Галлимар». Вопросы далеко не праздные, учитывая пристрастие французских изданий к историческим аллюзиям и параллелям. То и дело мелькают в парижских газетах и журналах утверждения о сходстве между Робеспьером и Сталиным, Робеспьером и Лениным, Робеспьером и Троцким...

— Абсурд, чистейший абсурд! — разводит руками Марсель Гоше.— Ущербная метода: доказывать сходство двух революций, отталкиваясь от личностных аналогий. Да и люди эти были совершенно разными, на мой взгляд, несопоставимыми. Другое дело, что между якобинцами и большевиками, безусловно, существовала духовная связь. Главное, что их объединяло,— олицетворение себя целиком и полностью с народом. Я не говорю о том, что тут присутствует чувство самокритики. Но недалеко и до греха: начинается подмена понятий. Скажем, партия — это народ. Но народ-то при этом — не только партия! Еще якобинцы посеяли семена этой ошибки, выросшей до трагических размеров в годы сталинского культа. Правда, в пору Французской революции политических партий в современном смысле слова еще не было. Но уже наблюдалось стремление идейных фракций установить свою гегемонию любым путем, в том числе и с помощью террора.

«1789 год: заря терроризма»,— читаю жирную «шапку» над объявлением о проведении фестиваля французских «ультра», тут же — в боевом листке со звучным названием «Презан» («Сегодня») — напечатана и цитата со ссылкой: «Ленин — это Робеспьер, который победил» (Альбер Матиез). Откуда это?

Подтасовка фактов и цитат — далеко не самое страшное из того, к чему прибегают революционеры, объединившиеся в ассоциацию, название которой говорит само за себя: «Анти-89». Если ученые-социалисты и коммунисты исследовали положительный опыт Октябрьской революции через Французскую, то идеологи нынешних правых «ультра» пытаются поставить в позорному столбу Французскую революцию, обвиняя во всех смертных грехах большевиков. Напрасные потуги! Для абсолютного большинства французов, какими бы ни были их политические убеждения, очевидно величие революции. Если же речь уж зашла у нас об Альбере Матиезе и его исследованиях, то любопытно отметить вот что. Целью этого историка-социалиста было оправдание Робеспьера перед народом за казнь Дантона. Матиез без труда приводил в пользу Робеспьера, прозванного «Неподкупным», факты, говорящие о том, что Дантон был причастен к финансовым махинациям и даже запускал руку в кассу якобинцев. Видимо, так оно и было. Но ученый, стремящийся к истине любой ценой, не учитывал, что помимо страсти к деньгам есть еще более страшная страсть. Имя ей — стремление к единоличной власти. Этим-то и был «болен» Робеспьер. Человек, казалось бы, кристально чистый с точки зрения закона и общепринятой морали, он был куда более опасным для революции, чем жизнелюб Дантон. Страсть к власти, не подлежащей контролю, и погубила «Неподкупного»: расправившись со своими вчерашними друзьями, товарищами по борьбе, он остался один...

Звонит телефон. Пока Марсель Гоше занят, осматриваю книги на бесконечных полках, составляющих помимо стола и пластикового кресла на колесиках единственную мебель в этой комнате. В основном книги французские. И вдруг — Андрей Синявский! «Основы советской цивилизации», его последняя книга. Правда, тоже на французском — издано в «Альбен Мишель». Беру с полки тяжелый томик, раскрываю наугад: «Жажда равенства всегда была присуща русскому, особенно в ту эпоху, когда неравенство являлось вопиющим...»

— Интересно? — Марсель Гоше следит за тем, как я вожу колпачком ручки по строчкам.— По-русски эта книга еще не вышла. Но скоро появится в Париже. Вы же теперь не боитесь полемики?

— Не боимся,— подтверждаю я.

— Вот и чудесно... А то якобинская непримиримость до сих пор нередко мешает воспринимать чужую точку зрения как достойную уважения и доверия. Вы знаете, иногда мне кажется, что сталинизм во Франции нашел уже достаточно взрыхленную почву: нетерпимость к инакомыслящим «Неподкупного» и по сей день дает о себе знать. Думаю, вам уже приходилось убеждаться в этом на собственном опыте. Масштабы перемен, происходящих в вашей стране, таковы, что не только у вас, советских, кружится порой голова от гласности и перестройки.

...Городок был маленький, но тем не менее важный — как-никак департаментский центр. Я приехал выступать перед лицеистами и их родителями и провести несколько передач во региональному радио. В зале городского Дома культуры собралось человек пятьдесят. Не успел я представиться, слово взял уверенный в себе мужчина, как мне потом объяснили, не то хозяин гаража, не то владелец конторы по сбору вторсырья:

— Это провокация! «Литературная газета», «Огонек», «Известия» — антисоветские издания! В вашей прессе пишут о том, чего в социалистическом обществе и быть не может: о казнокрадстве, организованной преступности, СПИДе, детском бандитизме, «кормушках» для плутократии... Как вам не стыдно! Если вы потеряли веру в социализм, не смейте лишать этого нас!..

— Что поделаешь? Во всех странах и во все времена находились люди, видящие в революционных преобразованиях лишь следствия заговора, так и люди, расценивающие любой отход от догмы как покушение на саму сущность революции,— считает Марсель Гоше.— И у нас, и у вас ведется эта полемика, подталкивающая, кстати, к историческим параллелям. Самая страшная из них: Наполеон — Сталин. Узурпатор революции, преступник-мегаломан, агрессор, Наполеон превратился в фетиш для нынешнего поколения французов. Его идеализируют, почитают, прославляют... Боюсь, что подобный феномен пр. зойдет через столетие-другое и с образом Сталина у советских людей.

— Убежден, что это невозможно. Залог тому — гласность, правда, которую мы стремимся говорить о сталинской эпохе, какой бы тяжелой и разноречивой она ни была.

— Может быть, может... Помните картину Гойи «Сон разума порождает чудовищ»? Демократия, когда она нестабильна, негарантирована, порождает чудовищ. Два века потребовалось Франции, чтобы отработать нынешний режим буржуазной демократии — весьма противоречивой, усеченной, заметьте, но все-таки демократии. Два века проб и ошибок с восстаниями лионских ткачей и с баррикадами парижских коммунаров, с несмываемым позором «дела Дрейфуса» и с тысячами жертв кайенской каторги, с цинизмом гитлеровского коллаборационизма и с молодежным бунтом «жаркого мая» 68-го... Для вашего же народа переход из «свободного общества» к «обществу свободы» получился еще более болезненным. Кроме того, вам осталось сегодня не так уж много времени для отлаживания демократического механизма. Иначе политическая цивилизация единой Европы может сложиться без вас.

— Политическая цивилизация будущей Европы должна быть без насилия. Таково общее стремление народов континента. Люди уже больше не воспринимают насилие как неотъемлемое условие движения истории. Не боясь слова «революция», европейцы хотят преобразований без насилия. И это не утопия! Это возможно. Свидетельство тому — нынешнее оздоровление международной обстановки, полевение политической жизни во Франции и Испании, ФРГ и Италии. Ваша перестройка, наконец!

Марсель Гоше делает паузу, я смотрю на свой диктофон и, пока пленка окончательно не остановилась, спешу задать последний вопрос: «А что вы считаете главным критерием в оценке итогов революции?»

Историк из «Галлимара» будто ждал этого вопроса:

— Время. Только оно дает возможность оценить все «за» и «против» революции. Если народ, сперва поднявшийся за горсткой революционеров, возглавивших борьбу за лучшую жизнь, начинает со временем отходить от своих лидеров, ставших хранителями морали былых дней, но уже не мятежной, значит, пришла пора вождям пересмотреть, скорректировать свою позицию, свои действия. Как? Прежде всего обратясь за помощью к народу. Что иначе? Когда революционную мораль превращают в догму, люди отказываются от старых, несостоятельных лидеров и уже без них продолжают революцию. Раньше или позже, но продолжают!

Кирилл ПРИВАЛОВ

Париж

Рисунки Павла БУНИНА

Взятие Бастилии

Революционный трибунал

Дантон на трибуне

Сеит-Жюст
и члены Комитета
накануне 9 термидора

9 термидора —
день
свержения
Робеспьера

Иван КУНИЦЫН,
Алексей НИКОЛАЕВ

КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ ИЛИ ДОЛГАЯ СМЕРТЬ?

Всесоюзная независимая комплексная экологическая экспедиция «Юность» ведет свою работу в Иркутской области. В этом регионе в ней участвуют:
Владимир БОКСЕР, лидер самодеятельного общественного экологического движения в г. Ангарске;
Михаил ГРАЧЕВ, директор Лимнологического института СО АН СССР, член-корреспондент АН СССР;
Валерий ЗУБКОВ, лидер общественного Движения в защиту Байкала, кандидат геолого-минералогических наук;
Иосиф ЛАПТЕВ, главный санитарный врач г. Ангарска;
Всеволод МАРЬЯН, редактор отдела науки журнала «Юность», руководитель экспедиции;
Марк МЕЕРОВИЧ, ученый секретарь Всесоюзной социально-экологической экспертизы «Байкал», кандидат архитектуры;
Владимир НАУМОВ, лидер общественного Движения в защиту Байкала;
Геннадий ФИЛЬШИН, заведующий отделом региональной экономики и размещения производительных сил Восточной Сибири Института экономики СО АН СССР;
Белла ЧЕБАНЕНКО, старший научный сотрудник лаборатории экологических проблем Сибирского энергетического института, кандидат географических наук.

Население Иркутской области составляет один процент от численности граждан СССР. При этом область дает 2 процента национального дохода страны, производит алюминий, 12 — леса, 6 — химнефтепродуктов, 5 — электроэнергии. Однако лишь 3 процента капвложений в области идет в социальную сферу (для сравнения — в 1940 году было 6 процентов) при среднем показателе по стране 4 процента.

Рисунок Ирины Шиповской

«Худом нажитое добра не сотворит».
«Великие порядки доводит до великих беспорядков».
«Разве моя душа лишняя на свете?»

В. Даль. Пословицы русского народа.

«Город медленной смерти...» Сказано это было без надрыва, без трагической позы, а как-то буднично, безысходно, почти подсознательно. Саша Потарский лихо вел свое такси по Ангарску, привычно ориентируясь в размывшем очертания улиц смоге.

— Ну что, глотнули нашего воздуха? И как? Наваристый? — На лице его не было и тени улыбки. Видимо, чтобы усилить наши и без того не особенно приятные впечатления, Саша опустил боковое стекло.— Сегодня утром встал и, еще шторы не раздвинул, понял — опять штиль. Дышать неохота... Только когда в отпуск уезжаешь, то и подышишь по-человечески. Детей жалко. Раньше я им сказки про солнце рассказывал. Бросил. Не понимают, да и зачем им думать, как нам, мол, не повезло: где-то дети каждый день видят яркое солнце и дышат чистым воздухом, а мы раз в неделю, и то если очень-очень повезет... Вот он, завод БВК. *) Ну как, бульончик погуще стал?

Дурные запахи и впрямь усилились. С чего вроде бы? Завод БВК на фоне обильно чадящих и порядком изношенных индустриальных гигантов города выглядит маленьким, довольно новым и, главное, почти совсем бездымным. Но вонь-то какая! Появляется она от присутствия в воздухе белка паприна — неизбежного спутника производства биокормовых добавок. Незначительное превышение его «привычной» концентрации в атмосфере Ангарска в октябре прошлого года привело к трагедии.

Десятилетиями приживались ангарчане к почти 200 вредным веществам, составляющим перенасыщенный химический соус, пропитавший воздух, воду, почву. Притерпелись, принюхались. Четыре из пяти дней в городе — штилевые или со слабым, не дающим избавления ветром. Сокрытие истинной медицинской статистики, по мнению ученых и чиновных дядей, должно было служить успокоению, несотрясению общественного сознания. Люди вроде бы и замечали, что болеют чаще и сильнее, чем в других, менее промышленных, городах,— но ведь не одни мы такие болезные. Вроде жить стали недолго: мужчины — так те, чуть перевалит им за пятьдесят, глядишь, и угасают навсегда. Но и везде, наверное, так — думали большинство ангарчан. Тем более что медицинская статистика убеждала их в неуклонном росте продолжительности жизни. И, как и все труженики в нашей стране, заботились в первую очередь не о здоровье — своем и потомства,— а о том, как и на что прокормиться, как получить долгожданную квартиру и, конечно же, как «дать план».

К великому сожалению, Ангарск со всеми своими проблемами не только не уникален, а зауряден, насколько это слово может быть применимо в разговоре о человеческих трагедиях. А надо бы подсчитать, сколько в нашей стране городов, чей возраст не превышает 50—60 лет. Их десятки. Все они так называемые «сталинские города», индустриальные язвы, порожденные временем правления «вождя всех народов». Урбанизация в этом варианте достигла своего апогея и превратилась в бесчеловечный абсурд. Первыми колышками каждого такого очага «индустриализации» были сторожевые вышки. Подневольным, под страхом смерти, трудом создавались заводы. И уже вокруг них — города. Сегодня мы убеждаемся, что экологическое мышление способно преодолевать границы различных политических систем, но оно было и будет бессильно перед колючей проволокой. Ограждения, возведенные ГУЛАГом, становились со временем заборами заводов, бараки «зон» сменялись на дома для привезенных со всей страны рабочих. Человек как величайшая самоценность, его здоровье и потребности в этих «созидательных» процессах не учитывались, отсутствовали напрочь. Все лепилось потеснее, поближе, чтобы экономить на транспорте, на трубах, на проводах, на асфальте.

Мы научились точно взвешивать миллионы тонн руды и определять до сотых долей процента ее качество. Но до сих пор не удосужились «взвесить» человеческое здоровье и попытаться определить социальное и культурное качество жизни людей. О каком избавлении от антигуманного и темного прошлого мы можем говорить, если миллионы наших

*) Белково-витаминных концентратов

сограждан все еще живут (быстро живут или медленно умирают?) в таких вот «сталинских городах»?

Здесь не заводы существуют для людей, а люди — для заводов. Города, в которых с предприятиями связано все! Города, жизнь в которых делится на три рабочие смены: треть населения спит, треть — идет на вахту, треть — возвращается с нее. Сколько юношей и девушек не нашли того единственного спутника жизни и не создали счастливых семей, потому что работали в разные смены и часы досуга (и без того крайне бедного и однообразного в этих городах) у них не совпали? Люди приезжают в такие «голубые» (от промышленного смога) города, чтобы работать на конкретном заводе. Их дети вырастают и опять же идут на завод. Предприятие дает им квартиру, но, если уйдешь,— отнимет. Прописка превратилась в приписку: помните, при Петре I так же приписывали крестьян к заводам. Все это, в наших нынешних условиях паспортного режима, талонного распределения и отсутствия правдивой информации, породило удивительный феномен — некий заводской «патриотизм». Человек, порабощенный промышленным молохом и не имеющий права выбора, становится нередко охранителем интересов своего работодателя, не смея возвысить против него голос.

Не этим ли объясняется, что в подобных промышленных центрах (без эпитетов, украшающих другие города, вроде культурный или исторический) до самого последнего времени не возникало ни экологических, ни социальных самодеятельных общественных движений?

Задумаемся: в самом крупном городе области — Иркутске количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятиями,— 90 тысяч тонн. И Иркутск давно и справедливо бурлит, борется, митингует. В Ангарске же, при неизмеримо меньшем населении, такой грязи ежегодно оказывается в воздухе в пять раз больше — 470 тысяч тонн. Свыше двух тонн неочищенных вредных веществ на душу населения, включая грудных детей. А город молчал, сосредоточенно пульсируя: в кровать, на смену, со смены.

Сточные воды Иркутска — более 150 тысяч кубометров в год. Идет борьба общественности за их сокращение и более тщательную очистку. Ангарск гадит в реки Ангару и Китой безудержно: 1 миллион 200 тысяч кубометров ежегодно. И — тишина.

— Иркутск — «купеческий» город,— ответил Саша Потарский на наш вопрос по поводу такой пассивности ангарчан.— Большой, вольный, академгородок у них есть. Интеллигенция. Театры там всякие. А Ангарск — рабочий город. Некогда нам, наверное.

Еще в конце шестидесятых годов в области были приняты постановления, запрещающие строительство вредных производств в пределах городов. Никто их до сих пор не отменял. Но и не выполнил. Для размещения новых заводов в селитебных зонах ведомства не утруждали себя просьбами о разрешении к местным Советам. Тем более что в условиях процветавшей в бюрократических сферах гигантомании и своеобразного понимания престижа городов, определявшегося не качеством жизни, а количеством чадящих труб и миллионами тонн производимой продукции, местная власть сама зазывала министерства: у нас есть полезные ископаемые, вода еще вполне чистая, трудовые ресурсы наскребем — давай строй. Мнение народа никого не интересовало.

И вот в 1980 году вступил в строй в и так перенасыщенном промышленностью Ангарске новый завод — белково-витаминных концентратов. Сколько же с ними было связано прожектов, обещаний и посулов! Перевернем сельское хозяйство, завалим население растущим как на дрожжах мясом, по пути, выложенному чудодейственным белком, придем к всеобщему благоденствию.

До каких же пор мы, отставая от развитых стран по многим экономическим показателям, будем стремиться «догонять и перегонять», настойчиво повторяя и, в силу негибкости нашей экономики, усугубляя уже пройденные, признанные ошибочными и отвергнутые за рубежом эксперименты? Ведь уже установлено, что БВК, получаемые из дрожжей, которые выращиваются на парафине, вредны для животных и опасны для людей. Дело в том, что скот от добавок БВК растет быстро, но мясо становится водянистым и ухудшается его вкус, а главное — потребление его постепенно ведет к аллергии и острым диатезам, подрыву иммунитета. В Италии и Франции еще в семидесятых годах прошло народное движение против БВК, причем в Италии заводы по их производству были, образно говоря, сметены с лица земли. Палата лордов Великобритании также была вынуждена заниматься вопросом по ограничению применения биокормов (Н. Реймерс, «Наука и жизнь» № 8, 1988 г.). В США и Европе еще действуют такие заводы, но внутри стран-производителей концентрат не используется. Его продают в страны третьего мира. И нам.

Наш национальный герой «Авось» знает только один предел — гром. И он грянул. Точнее будет назвать его взрывом. Город поразило удушье. Трагедия длилась не один день. С 20 по 27 октября прошлого года скорая помощь Ангарска работала на износ. Людей охватила паника. Машины с красным крестом сновали по улицам в районах, пораженных выбросом завода БВК. Успели оказать неотложную помощь 1008 задыхающимся. 111 человек были госпитализированы. Всем в Ангарске стала известна фамилия тридцатитрехлетней женщины, матери двоих детей — Дугиной. Она как раз вернулась из отпуска, во время которого лечилась на курорте от астмы. Лечение не помогло: приехав домой, она попала под выброс паприна и — смерть. Двое сирот.

А ведь гром-то был не первый. Подобная трагедия, только более растянутая во времени, произошла до этого в г. Кириши Ленинградской области. Причина та же — БВК. В Киришах Минмедбиопром пообещал навести порядок, изменить технологию, появился даже новый термин — «киришская схема», этакая палочка-выручалочка. Других подобных заводов этого ведомства она почему-то не коснулась. И настала очередь Ангарска. Какой город следующий?

В те дни главный санитарный врач Ангарска И. Лаптев принял решение закрыть завод. Были наложены пломбы. И начались ведомственные игры. Ставка — производство БВК, а отнюдь не здоровье людей. Козыри — искажение действительных фактов, силовое давление, запугивание.

Правительственная телеграмма. Ангарск, СЭС, главному санитарному врачу: «...Минмедбиопром СССР не видит никаких оснований и считает необходимым ограничения снять. Режим производства идет в пределах регламентных показателей нарушений (?). Превышений ПДК *) белка в городе, санитарной зоне нет. Сокращение производства (в первые дни после кризиса речь шла об ограничении выпуска БВК всего-то на 50 процентов.— Ред.) приведет к потере товарной продукции до конца года в объеме 7500 тысяч рублей. Для рассмотрения вопросов на месте командированы специалисты Минмедбиопрома СССР. Телегин».

Вот так — по ведомственной логике потревоженного министерства в возможных финансовых потерях виноваты чересчур пугливые ангарчане и много на себя берущий главный санитарный врач города. О каком здоровье они там болтают, когда план горит?

Комиссий было много: из Минмедбиопрома, правительственная, Минздравов СССР и РСФСР, из Москвы, Ленинграда... Игры, игры... Сначала Минздрав поддержал И. Лаптева: «Делай, как считаешь нужным, закрывай, так держать». Потом начались межведомственные компромиссы. Но Лаптев стоял до конца. В Ангарске возникло общественное экологическое движение. Начались митинги. Руководству города многие отказали в доверии.

Ведомство не собиралось идти на уступки. Комиссия Минмедбиопрома под руководством доктора медицинских наук А. Боговой настойчиво прятала концы трагедии в дымные шлейфы других ангарских заводов: «На основании имеющихся данных считаю, что имели место токсикоаллергические реакции бронхолегочного аппарата, спровоцированные комплексным воздействием выбросов в атмосферный воздух предприятий города в результате неблагоприятных метеорологических условий (смог)...»

Как все просто: виноваты погода, предприятия других ведомств (бесспорно, отравляющих ангарский воздух), но никак не Минмедбиопром. Все виноваты, со всех, а значит, ни с кого и спрос. Не накажешь же ветер за то, что вовремя не подул. И там же: «Рост бронхиальной астмы в г. Ангарске за последние 10 лет характерен для всей страны...» И что, мол, ангарчане разбушевались, когда повсеместно от астмы мучаются?

Как же тогда понять заключение другой комиссии, руководимой начальником Главного управления эпидемиологии и гигиены Минздрава РСФСР Е. Беляевым? «Заболеваемость бронхиальной астмой среди взрослых к 1987 году по сравнению с 1979 годом (то есть до пуска завода БВК.— Ред.) увеличилась в 4,5 раза, а среди детей — в 1,6 раза. Обращает на себя внимание увеличение частоты хронических заболеваний — фарингитов (в 7,3 раза) и бронхитов (в 8 раз) у де-

*) Предельно-допустимая концентрация.

тей...» И что же — такая картина характерна для всей страны, как пытается убедить общественность и ответственных лиц т. Богова от имени Минмедбиопрома? Простите, не верится. «Разрешающим фактором, вызвавшим увеличение частоты обращения населения за медицинской помощью по поводу бронхоспазма, послужило загрязнение атмосферного воздуха белоксодержащими выбросами завода БВК»,— заключает комиссия Минздрава.

Итак, мнения экспертов весьма противоречивы. Население города возмущено и напряжено, наиболее буйные головы предлагают взорвать завод БВК. А коллектив этого предприятия... посылает в Москву делегацию в различные ведомства с наказом добиться открытия производства. Вот он, заводской «патриотизм», толкнувший даже на конфронтацию с остальным населением города!

Что это — слепота? бесчувственность? борьба за заработок вопреки здравому смыслу? Или никто из работников производства биокормов и их детей не пострадал в те октябрьские дни?

Владимир Боксер, вынесенный волной общественного возмущения в группу лидеров самодеятельного экологического движения города, пытается ответить на эти наши вопросы.

— Рабочих завода БВК годами обманывали, если не сказать оболванивали. Девять лет им твердили, что производство чистое, белок безвреден. Им не давали никаких льгот по вредности, как на некоторых других ангарских заводах, хотя они этого и добивались. Льгот не было, и вдруг оказывается, что производство вредно, завод закрыли. Они не хотят ничего понимать. В такой позиции рабочих чувствуется и настойчивое влияние министерства. Вот пришел к ним Лаптев на собрание и говорит: товарищи, не будьте такими оптимистами, неизвестно, что с вами станет через несколько лет: влияние белка на организм непредсказуемо. А они били себя в грудь и кричали: мы не болели и болеть не будем. Рабочие, поступающие на этот завод, проходят специальное обследование в нашем Институте гигиены труда и профзаболеваний. Это тестирование позволяет отфильтровывать людей, неустойчивых к белку. Их не берут. Были все же случаи, когда рабочие заболевали, таких сразу выкидывали. Одни ведь могут есть этот белок ложками — и ничего. Другой только вдохнул, и начались аллергия, спазмы.

Если министерство победит и завод все-таки откроют, то оно уже не остановится, осуществит свои давно задуманные планы. А они для нас страшные: не только увеличить мощность завода почти в два раза, но и построить в городе предприятие по производству парафина — ПАРЭКС. Сырья тогда хватит не на один завод БВК, и производство биокормов будет все труднее остановить. Кроме того, мы подсчитали — ПАРЭКС даст дополнительно 3 тысячи тонн выбросов. Из них большая часть — именно тех вредных веществ, по которым уже сегодня в Ангарске превышение ПДК в 10—13 раз. Коллектив завода прекрасно знает все это и тем не менее продолжает бороться за возобновление работы, бросая вызов всему городу.

Контингент на этом производстве среднего возраста. Предприятие молодое, есть перспективы. Опять же квартиры, профилактории, детсады. После октябрьского взрыва были прикрыты некоторые производства на других ангарских заводах, но там такого протеста рабочих, крика не было. Предприятия многие уже изношены. На одном заводе объединения «Ангарскнефтеоргсинтез», например, до сих пор работает оборудование, привезенное по репарациям из Германии после Победы. Людей на БВК долго дурачили, теперь там обстановка какой-то истерии. Нам предлагали поставить у завода пикеты, но это немыслимо приведет к мордобою.

Поразительное следствие ведомственной политики, проникшей в сознание людей, выросших в атмосфере обмана, не правда ли? Честно говоря, нам вся эта ситуация представилась миниатюрной иллюстрацией фантастической и в то же время вполне возможной экологической гражданской войны. Может быть, кому-то покажется, что насчет гражданской войны слишком громко сказано. Возможно. Но наш уставший дышать ангарским воздухом таксист Саша Потарский высказался о позиции рабочих завода биодобавок весьма категорично:

— Если, к примеру, палачи остались без работы, то они что, должны устраивать митинг и требовать, чтобы им опять дали работу по специальности? Хороша демократия...

Вот такие эмоции бушевали в Ангарске после экологического взрыва. Но как же оздоровляться, как жить городу дальше? Чем может кончиться ситуация с закрытием завода? С этими вопросами мы пришли к главному санитарному врачу Ангарска Иосифу Лаптеву. А через пятнадцать минут на наших глазах и «кончилась» — весьма своеобразно — затянувшаяся борьба ведомств и горожан.

Телефон не умолкал.

— Я уже в шестой раз говорю,— почти прокричал в трубку Иосиф Финогенович,— завод открывать не буду... Успокойтесь. Держимся.

Было видно, что этот молодой еще, крупный в кости, полный сил человек будет держаться до последнего. Много ли санитарных врачей в нашей стране брали на себя такую ответственность и вступались за интересы своих горожан в противоборстве с министерствами? Все мы знаем, к сожалению,— единицы. Про Лаптева в сложившейся ситуации нам уже доводилось слышать: он попал между двух огней; даст слабину, и тогда его если не ведомства, то народ раздавит. Не беремся судить, есть ли в этом доля правды. Человек принял разумное решение и стоял на нем до конца. Это главное.

— Я своего распоряжения о закрытии завода не отменял, и сверху пока этого никто не сделал. Минмедбиопром идет напролом, раздает обещания. Но вот они прислали мне «Комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на исключение выбросов специфического белка и вредных продуцентов в атмосферу на ангарском заводе БВК». Из десяти пунктов девять не подкреплены ничем: нет документации, проекта, ничего не было представлено мне на согласование. Нас не устраивают сроки. Обещают исключить выбросы лишь в будущем году, а уже сейчас просят разрешить запустить завод на 30 процентов мощности. Раньше они клялись, что к 1985 году ликвидируют дурнопахнущие выбросы. Все сроки сорвали, довели до кризисной ситуации. Я им просто не верю...

Раздался очередной звонок. По тому, как изменилось лицо И. Лаптева и опустились плечи, мы поняли: предшествовавшая этому звонку многонедельная борьба кончилась.

— Так, в 9.30 засеяли один цех, в 12.00 подали парафин,— записывал главврач.— А кто срывал пломбы? Выясните. И, пожалуйста, быстро телефонограмму на завод, на имя директора — представить объяснительную по поводу открытия завода, кто, когда, на каком основании...

Некоторое время все мы сидели молча. И. Лаптев разорвал какие-то бумаги, выбросил в корзину. Вытер руки.

— Трудовой коллектив решил... Э-э-эх! Все-таки объехало министерство — за нашей спиной... Пустили на 30 процентов мощности.

— А какую ответственность понесет директор за срыв пломбы?

— Да ничего ему не будет. Для него министерство главнее. По нашим санитарным правилам выпишу я ему, товарищу Кузину Виктору Вениаминовичу, штраф в 10 рублей, и все. Всякие у нас в стране есть законодательства, а вот, поди ж ты, санитарного нет. А оно жизненно необходимо. И в нем должны быть оговорены правовые вопросы ясно и конкретно: как ответит, например, директор завода за срыв пломбы, наложенной санэпидстанцией. Должны быть, наконец, предусмотрены компенсации за нанесенный ущерб здоровью людей и природе. У нас же пока нет даже методического подхода — как, за что и сколько мы должны потребовать от каждого конкретного предприятия, министерства за наносимый вред. Нужны научные разработки по определению вредных выбросов, реальных «вкладов» каждого предприятия-загрязнителя. Сегодня же мы не знаем, кто, в каком количестве и именно чего выбрасывает на головы людям. Стыдно сказать: из 200 вредных веществ мы в состоянии определить только около десятка. Нет оборудования, средств, штатов, методик. Как мы можем помочь делу своими рублевыми штрафами? Наскребаем на них худо-бедно около 5 тысяч рублей в год. Так еще мои штатные работники должны каждую квитанцию у наказанных выцарапывать. Комиссии приезжают и непременно эти квитанции проверяют, не дай Бог не будет их. Но деньги-то все идут в госбюджет. Нам не остается ничего. А разве не нужны они нам здесь, на развитие здравоохранения? Посмотрите: мы, СЭС, занимаем первый этаж жилого дома. А ведь у нас три санитарно-химические и радиологическая лаборатории. По всем нормам нам нельзя находиться практически в жилье людей — мало ли что случится?

— Неужели хотя бы сегодня невозможно создать экономические стимулы для более активной работы СЭС и дать им необходимые, эффективные права, разработать методику штрафования?

— По-моему, за 70 лет деятельности нашего здравоохра-

нения экономические вопросы вообще не разрабатывались. Больше могу сказать. Наше штатное расписание не менялось с 1969 года. А табель оснащения, не поверите,— с 1949 года. Вот лошадь я могу купить по этому табелю, телегу, хомут. А столь необходимый в работе и дорогостоящий хроматограф — нет. Бюджет не предусматривает. Есть, правда, постановление, по которому предприятия должны оказывать материальную помощь в приобретении необходимого. Постановление постановлением, а все делается на личных контактах. Значит, иду я на завод: в одной руке кнут, а другая протянута — дай. Не дашь деньги, я тебе в следующий раз какой-нибудь цех прикрою.

— В таком случае вы можете приобретать любое необходимое вам оборудование или все-таки только предусмотренное табелем оснащения?

— В том-то и дело, что только по табелю. Пробирок могу накупить. Вот мы и проводим исследования, как положено: капаем в них — посинеет, не посинеет. Четыре года назад мне удалось приобрести хроматограф. Хороший. Это ведь точнейший инструмент, для работы на нем и обслуживания нужен специалист. А его в штатном расписании нет. Нахожу такого умельца. И в нарушение правил оформляю его на полставки санитарки. Он ведет журнал учета всех работ на случай проверки. Работает по вечерам, это удобно — утром для других готовы данные. Загляденье одно. Но вот приходят из контрольно-ревизионного управления. Ага, у вас появилась санитарка. Что делает, где моет? Санитарка должна мыть! Я честно признаюсь: вот, товарищ, вот учет, сколько часов он по вечерам отработал. Финотдел счел это незаконным использованием средств и, бах, налагает на меня штраф в размере месячного оклада. Специалиста убрать. Убираю. Хроматограф стоимостью 10 тысяч рублей стоит без дела. Я его не разобрал, потому что все время искал пути его использования. То одного попрошу, то другого — работаем. Но официально он простаивает. Приезжает следующая комиссия, по использованию дорогостоящей аппаратуры. Как так, такая дорогая техника стоит, а ты ее не эксплуатируешь? Штраф — оклад. Всё, как говорится, приехали. Разобрал я его и спустил в подвал. И так ведь не только у нас в ангарской СЭС, так везде.

— Но вернемся к паприну. Может быть, Минмедбиопром все-таки прав и белок по сравнению с химией пустяк, мелочь?

— В других городах, где меньше промышленности, но есть заводы БВК, например, в Кременчуге, Светлом Яре,— проблемы те же: астма, бронхиты, аллергии и т. д. А уж в сочетании с нашим ангарским букетом!.. Мы сегодня даже не знаем, как ведет себя белок, смешиваясь с химическими выбросами. Возможно, что образуется аллерген еще более сильный, чем сам паприн. Нефтехимия также насыщает наш воздух аллергенами. Эта промышленность в городе существует давно. В некоторые годы предприятия более чем в 100 раз превышали ПДК вредных веществ в своих выбросах: города в дыму видно не было. Конечно, это страшно. Но до пуска завода БВК не было такой вспышечной обращаемости населения за медицинской помощью. Обычно в день 25—30 вызовов скорой. А в октябре было до 200 в день! Я сам ездил по городу, нюхал. В зоне, где особенно были сильны запахи паприна,— наибольшее количество обращений. А ведь этот завод дает всего около полпроцента валовых городских выбросов! То есть белка в атмосфере не должно быть ни грамма. А нам этого никто не гарантирует.

— Какие пути выхода из экологического кризиса в Ангарске вы видите?

— Самое главное и срочное — ввести на всех предприятиях безотходные технологические системы. Оборудование крайне изношено, о какой чистоте и безопасности может идти речь? Кроме того, необходимо вывести наиболее вредные производства. Это касается коксогазового завода: мы готовим здесь кокс для металлургической промышленности, душим газами город, а кокс уходит в другие регионы. Нужно срочно выводить устаревшие производства аммиака, крепкой азотной кислоты, химреактивов. Но самое, пожалуй, срочное — создать систему автоматического контроля. Пока же у нас многовластие. Я, например, не имею права допуска на территорию объединения. Юридически влиять на них не могу, только просить. Там своя система контроля, на других заводах — своя. Концов не найдешь, валят друг на друга. Контроль и анализ должен быть единым и межведомственным.

15 лет назад приказом министра санслужба была отстранена от анализа состояния общей заболеваемости, который был передан врачам-лечебникам и незаметно, без шума завалян. Засекречивалось все, даже данные по дизентерии не подавались в ВОЗ. Необходимо воссоздать реальную картину заболеваемости населения. Бороться надо не с цифрами, занижая или завышая их, а с болезнями.

И, наконец, пора отказаться от порочной системы нормирования предельно-допустимых концентрацнй. Ориентироваться надо на абсолютно чистые воду и воздух. Ведь известно, что любая доза отравляющих веществ, нормируй — не нормируй ее, со временем себя проявит. Хватит этих поблажек производственникам! Причем мы вынуждены представлять в отчетах лишь среднесуточные превышения ПДК. Утром, например, небольшое превышение, днем — гигантское, ночью — почти никакого. Складываем, делим и получаем «все в норме». Но ведь днем люди до одури надышались отравой! Тот же белок-аллерген: он крайне опасен, так какое право имеют его нормировать. Паприна в воздухе не должно быть вовсе. Контроль нужно ориентировать на максимально-разовые концентрации. Но, зачем скрывать, на все эти мероприятия ни в городе, ни в области средств практически нет. Они есть у министерств. Однако вместо оздоровления они предлагают нам ПАРЭКС.

Все сказанное И. Лаптевым одинаково применимо и обязательно, конечно же, для любого промышленного города страны. Но это пока одна и, сразу скажем, не самая радикальная точка зрения. У других участников экспедиции «Юности» по Иркутской области есть свои мнения по поводу возможных путей оздоровления экологической ситуации в регионе.

Мы так подробно попытались осветить проблемы Ангарска потому, что город этот, хоть и пострадал уже больше других, типичен для промышленных районов, во многом является близнецом десятков и десятков таких же гигантских «газовых камер». Лидер ангарского природоохранного движения В. Боксер сообщил нам, что общественность города обратилась к центральным органам с требованием объявить Ангарск зоной экологического бедствия. Это необходимо. Ангарчан нужно спасать. Но на грани экологического взрыва оказался уже и Братск. Не утихают митинги в Усть-Илимске. Бурлят города Иркутской области.

Но вспомним и еще одну их общую особенность. Все они окружают священный Байкал. Разрушая экологию региона, они наносят по великому озеру смертельные удары. Следующее наше слово (о Господи, в который уже раз?) будет обращено к многострадальному сибирскому морю.

Иркутская область

Попечители Всесоюзной независимой комплексной экологической экспедиции «Юности»: московские кооперативы «Саят-Нова», «Фархад», «Белка», «Автосток».

ОТ РЕДАКЦИИ. Всем, кто заинтересован в продолжении нашей экспедиции, сообщаем, что эта, получившая уже признание и одобрение читателей инициатива «Юности» оказалась под угрозой срыва. Ибо ее главный попечитель — московский кооператив «Фархад» практически лишается возможности дальнейшего существования. Кировский райисполком г. Москвы и Моссовет приняли решение, которое иначе как пренебрежением к общественному мнению не назовешь. «Отменить постановление райисполкома о прекращении деятельности кооператива. Так как нет оснований для его ликвидации. Разрешить ему расширить свою деятельность... В трехмесячный срок... прекратить деятельность предприятия общественного питания по Б. Марфинской, 4». Не правда ли, шедевр чиновной казуистики?

Надеемся, что подобное «удушение в объятиях» попечителя экспедиции найдет достойную отповедь со стороны наших читателей, а также тех, кто знает о работе «Фархада», известного, между прочим, и своей благотворительной деятельностью по отношению к малообеспеченным ветеранам войны и труда.

Подробнее обо всем этом мы намереваемся рассказать в последующих номерах.

Андрей КОЛОБАЕВ

«ПОЧЕМУ Я НЕ УЙДУ ИЗ «КОСМОСА»?»

Открытое письмо председателю Государственного комитета СССР по иностранному туризму Владимиру Яковлевичу Павлову

Уважаемый Владимир Яковлевич! Во время Вашего посещения в сентябре прошлого года гостиницы «Космос» я имела неосторожность правдиво ответить на Ваш вопрос о работе компьютеров в службе приема, где я работаю на участке информации. Если Вы помните, я ответила, что их включили за полчаса до Вашего прихода. Вы тогда сказали руководству гостиницы: «Понастроили «потемкинские деревни»!..» Не знаю, как они оправдались, но воз и ныне там: как до Вашего приезда год смотрели на нас темные экраны дорогостоящего оборудования, так и сейчас.

Однако моя жизнь после этого случая круто изменилась. Меня оскорбляли словесно, инженер — нецензурно, а руководство пригрозило, что не пройду аттестацию. Вокруг меня образовался вакуум. Коллеги выполняли приказ и перестали со мной общаться, хотя вначале и пожали руку за честность. Ночью, в четыре часа, я сидела на рабочем месте и впервые плакала. Но апофеозом издевательств явилось то, что меня наутро «сдали» в отделение милиции при гостинице для обыска.

Выдержать этот позор и сильному человеку трудно. А каково было мне после суточной, почти беспрерывной работы, когда информаторы роются в невероятном количестве списков проживающих, чтобы найти нужную фамилию и номер комнаты (в гостинице — три с половиной тысячи мест), где справочники — пятнадцатилетней давности, оборванные, ими нельзя и стыдно пользоваться, а других нет? И вот меня, и без того уставшую донельзя, в наказание отправили «дорабатывать» в милицию.

Обыск длился почти семь часов, хотя уже через пять минут было ясно, что ничего подозрительного у меня нет. На вопрос, почему меня так долго не отпускают, майор милиции С. Н. Понятовский ответил: «Поступило устное заявление от начальника службы приема Н. И. Скориковой и старшей смены М. В. Черкасовой, будто бы вы скупали вещи у иностранцев». Я спросила его, сможет ли он подтвердить свои слова официально, но он сказал, что у милиции в гостинице — другие задачи, то есть борьба с рэкетом и проституцией.

Вот так, Владимир Яковлевич, у нас обходятся с «правдолюбцами».

В системе «Интуриста» я работаю с 1970 года. Имею два высших языковых образования. В «Космосе» — с 1979-го, с первого дня, еще окна от побелки отмывала и строительный мусор на двор выносила. Радовалась потом, когда гостиница вся засверкала огнями и приехали первые туристы. За время работы в «Интуристе» не имела ни одного выговора по службе. И вдруг — такое унижение...

Почти месяц после этого инцидента я не поднималась с постели, получив сильнейшее нервное истощение. Едва поправившись, неоднократно пыталась попасть к Вам на прием. Куда там! Хорошо отлаженная бюрократическая система «не пущать» сработала безотказно. Ваши подчиненные стояли насмерть, оберегая Ваш покой.

Так вот, позвольте Вас побеспокоить!

За девятнадцать лет работы в «Интуристе» я никогда не жаловалась, терпела. Дальше терпеть невыносимо.

С полной ответственностью заявляю: положение в гостинице «Космос» крайне тяжелое. Проституция и рэкет, о которых сокрушался заместитель начальника отделения милиции Понятовский,— лишь детские шалости по сравнению с тем, что здесь процветает и всячески культивируется. В частности, в службе приема и обслуживания, о которой могу судить достаточно компетентно, а об остальном могу только догадываться... Взяточничество, служебные злоупотребления, круговая порука, в которых погрязло большинство сотрудников гостиницы,— вот «иконостас» «Космоса» к «славному десятилетию» гостиницы.

Конкретно? Пожалуйста!

Гостиница и раньше была печально известна «левым» поселением граждан, но сейчас оно приобрело поистине «космические» размеры. В последнее время создается впечатление, что «Космос» взят на арендный подряд кучкой единомышленников-мздоимцев. После получения статуса самостоятельного предприятия под предлогом того, что советские граждане могут и должны пользоваться услугами интуристовских гостиниц, руководство получило квоту на поселение свыше ста граждан СССР. И развернулось! Кого теперь тут только нет! За десять лет работы у меня не было и мысли попросить руководство о поселении близких родственников, а главный инженер Путилин, проработав полгода, так быстро освоился, что ежедневно поселяет пять-шесть человек. На мой вопрос «Как вам только не совестно?» он спокойно ответил: «А что тут такого? Места в гостинице есть». А ночью иностранцы сидели друг у друга на головах. С бронью и без нее бизнесмены и просто интуристы вынуждены ютиться либо на кресле в холле, либо вдвоем-втроем в одном номере. Вот так наше предприятие стало вотчиной для пополнения кошельков.

Не сомневаюсь, что все это не могло происходить без ведома генерального директора Б. З. Винниченко. Кто этот человек? Полковник в отставке с замашками «заплечных дел мастера». Мало кто в гостинице не плакал от его солдафонского обращения. Мы, простые сотрудники, для него — «черные людишки», бессловесные существа. Директор окружил себя своими людьми. Именно при нем, человеке без специального образования, штаты раздулись, появились сотрудники, совершенно не владеющие иностранными языками. А как можно работать с иностранцами, не понимая их? Руководители сменились, а дела — все хуже и хуже. Получив самостоятельность предприятия, администрация ведет себя разнузданно, зная свою безнаказанность. Ценят работников не по деловым качествам, а по личным симпатиям, которые зиждутся на принципе «рука руку моет». Такое положение развращает коллектив, даже честные люди (а их у нас немало) стоят перед дилеммой: сделать подношение или оказаться в «черном списке» неудобных? И вынуждены идти на сделку с совестью...

Кто же в составе руководства гостиницы?

Заместитель директора по размещению Е. Л. Маятников — вежлив, уходит от прямого ответа, а если не получается... что ж, можно и наобещать с три короба, чтобы отстали. А выполнять обещания и необязательно. Сколько таких обещаний было по поводу комнаты отдыха и гигиены для сотрудников, обязательной для каждого предприятия? Ведь мы — женщины и работаем по двадцать четыре часа. Охрана труда? Это не для нас. Измотанные многочасовой работой, люди бродят ночью по гостинице в поисках уголка, чтобы хоть немного отдохнуть. А если уж кто неугоден — к услугам преданные милиционеры. Они составляют акт, и человек получает выговор. Так было с некоторыми моими коллегами. Однако никто не ропщет: лучше проглотить обиду, чем потерять работу.

Могут познакомить Вас еще с одним представителем руководства: начальник службы приема Н.И. Скорикова. Несколько лет назад приехала на постоянное жительство в Москву из Пятигорска (это в Москву-то — закрытый город!) и работала в профкоме гостиницы на продаже путевок в санатории. И вдруг — такое повышение! Что у нас, не из кого выбирать?

Отнюдь! Есть прекрасные специалисты, честные люди. Например, заместитель начальника службы приема Недоговорова. Она, как мне известно, и везет весь воз. А Скорикова? Я часто вижу ее барственно переходящей из бара в бар

с другими руководителями гостиницы, где они часами обсуждают, уверена, не вопросы улучшения работы. Как она работает? Об этом говорят многочисленные выговоры ей. Однако она работает — значит, это кому-то нужно. Кстати, партбюро службы приема отклонило ее попытку вступить в партию — по моральным и служебным качествам.

Другой аспект: хорошо бы узнать также, какой опыт приобретают руководители предприятия, выезжая в частные загранкомандировки. Я знаю одно: документация, информация в гостинице — на уровне каменного века. Туристы возмущены, каждый день жалобы на обслуживание, в другие страны и города Союза дозвониться невозможно, нет брошюр, простых открыток, бумаги... А попробуй получить информацию о проживающих по телефону. Пустая затея! И этот позор — в одной из крупнейших гостиниц Европы, числящейся четырехзвездочкой!

Но у нас есть приказ: книгу жалоб не выдавать, и поэтому жалобы в нее проникают редко, зато в лицо туристы почти плюют. От стыда не знаешь, куда глаза деть. Когда поселяют бизнесменов по два-три человека в один номер, то это, помимо политического аспекта, потеря нужной для страны валюты. Однако в нашей гостинице всегда есть места для спекулянта из Тбилиси, проститутки из Ленинграда, картежника из Прибалтики и «важных людей» из южных республик страны.

Уважаемый Владимир Яковлевич! Я еще многое могу рассказать Вам о том, как проходит «перестройка» в гостинице «Космос» — флагмане «Интуриста». Многолетний опыт работы позволяет мне дать Вам совет: создайте компетентную комиссию из объективных специалистов. Она разберется во всем и сделает соответствующие выводы.

А я? Признаться, первое и очень острое желание было уйти из гостиницы, которую люблю и за которую болею всем сердцем. Уйти, ибо не знаю другого способа, чтобы выразить свой протест против унижения, которому подверглась. Но не получится, задумалась я, как с тем «обидчивым» пассажиром, который взял билет и пошел пешком.

И действительно, почему должна уходить я, а не те, кто довел ее до состояния агонии?..

Искренне надеюсь, что это письмо принесет пользу моим коллегам и гостинице в целом.

Кизилова Н. Ю., портье 1 категории службы приема и обслуживания гостиницы «Космос».

«Расследование ведет «20-я комната»

Взрыв на дне «полстакана»

...Собеседника трясло как в лихорадке.

— О-одно условие,— наконец, заикаясь, вымолвил он, то и дело затравленно поглядывая по сторонам.— М-мое имя пускай останется м-между нами...

Это он настоял на встрече в укромном месте: у небольшой церквушки, что недалеко от гостиницы («Космос» виден был отсюда как на ладони и издалека походил на растопыренную рачью клешню).

Разговор не клеился. Работник ответственного участка «Космоса», представленный Ниной Кизиловой как человек в общем-то честный, то заговорщицки принижал голос, то слегка шарахался от теней могильных крестов и колокольного звона, хотя церковное кладбище было совершенно пустынным.

— Ты себе не представляешь, что творится в проклятом «полстакане»! — Кивок в сторону «клешни».— Попробуй пикни — и тебя сотрут в порошок вчерашние «друзья». Слыхал, в «Солярисе» бармена ножом пощекотали, ампулу со слезоточивым газом раздавили. Проститутку на днях избили до полусмерти... Вот... И — тишина. И поверь, закон всегда будет на их стороне, потому что... все куплены, снизу доверху. От швейцара, горничной — до администрации...

— ?!

— Да-да. Как говорится, советская мафия — мифы и реальность. Блестяще отрегулированный механизм, без единого лишнего колесика и винтика...

— У тебя есть доказательства? — Пытаюсь перевести разговор из области эмоций к делу.

— Факты?.. Хорошо, сведу с человеком. Только, сам понимаешь, чтобы...

Но человек на встречу не пришел. На звонки не отвечал. Потом, через третьи руки, передал: мол, не звони, не ищи, ни я, ни кто из наших слова не скажет, потому что хотим жить спокойно. Да и мне самому добрый совет: не суй нос в чужие дела. Снесут — и глазом не моргнешь...

Связываюсь с прокуратурой по поводу доступа в гостиницу.

— Что ж, каша там варится будь здоров! — сухо заключил заместитель прокурора Дзержинского района И. Иванов, провожая меня по коридору.— А доступ к уголовным делам по «Космосу» вы получите, никаких сверхсекретов в них нет.

Через сутки удалось созвониться с заместителем начальника отделения милиции при гостинице С. Понятовским — тем самым, что задерживал Нину.

— Процедура не так проста,— с ходу объяснил Сергей Николаевич.— Чтобы проникнуть к нам, требуется особое разрешение из Политуправления МВД СССР...

«Петровка, 38. Начальнику Политуправления МВД СССР, генерал-майору Бельянскому Л. П. Убедительно просим оказать содействие в подготовке материала, касающегося недостатков сервиса и служебных злоупотреблений в гостинице «Космос»...»

За шесть дней, пролетевших с подачи заявления, два раза пришлось съездить на Петровку, сделать дюжину звонков в службу прессы Политуправления. Ответ был один:

— Вопрос рассматривается...

«Что это,— росло недоумение,— набившая оскомину бюрократическая волокита или?..»

Так и не дождавшись спецразрешения, я вынужден был пройти в «Космос», сунув швейцару деньги.

В открытом «Космосе»

Не желая себя афишировать, я, как заправский детектив, целый день бродил по гостинице, вживаясь в обстановку.

Обошел бары, рестораны, приценился к «матрешечному» кооперативу. Спустился в «Солярис» — запустение, тишина. Вспомнился недавний разговор: «Бармены протестуют против рэкета». Попытка осторожно заговорить с кем-нибудь из службы размещения провалилась.

— А что я скажу? — насмерть перепугалась портье за стойкой.— Поговорите со старшей смены... Черкасовой. Она лучше меня знает обстановку...

— Будь осторожен! — успела шепнуть Нина.— Тебя, кажется, вычислили: милиционеры от тебя не отходят...

Прибыла группа. Огромный, как целая ярмарочная площадь, холл быстро наполнился разноязыкой речью и чемоданами. Иностранцы, ожидая размещения, утонули в креслах, закурили и с удовольствием потягивали пепси и пиво «Хейнекен», купленные тут же, в двух шагах, за валютным прилавком. Два бизнесмена покрутили в руках матрешку, поулыбались милой кооператорше и ошалело отошли, узнав, сколько просят за безделушку.

Я сидел в баре за чашкой кофе, ждал Наташу Аверину и обдумывал странный случай задержания Нины. Нина совершила тяжкое преступление — сказала правду, вынесла сор из избы. И оказалась в отделении по ложному обвинению в скупке шмоток у поляков. Донос, скрупулезный обыск, семичасовой допрос, явная психическая обработка заведомо невиновного человека... Принесены извинения, но выстрел произведен в «десятку»: тот очернен, садится на больничный и несколько месяцев живет на лекарствах, обливаясь слезами от обиды и бессилия.

В Наташином «деле» — еще больший размах, но уж как похожи сценарии!

Вот что писала «Правда» 15 октября 1987 года: «...Оперуполномоченный отделения милиции при гостинице «Космос» Н. Аверина высказала на собрании коллектива все, что думала о работе своего начальника А. Камышникова, его заместителя А. Леонова. Они вселяли в «Космос» десятки жителей закавказских и среднеазиатских республик, выдавая их за работников милиции... Те в долгу не оставались... Дальнейшая проверка показала, что Камышников и Леонов поддерживали неделовые контакты с иностранцами, устраивали коллективные банкеты с участием подчиненных в валютных барах гостиницы. Из-за низкой требовательности и серьезных недостатков в работе в подразделении были распространены пьянство и другие крупнейшие нарушения социалистической законности и дисциплины. Секретарь комсомольской

организации отделения в рабочее время, будучи пьяным, утонул в бассейне гостиницы...»

После того собрания Авериной было предъявлено обвинение в краже... телефонного аппарата. Было и соответствующее заявление администратора АХО М. Поповой, против которой Аверина когда-то возбуждала уголовное дело, требующей «немедленно разобраться и принять меры к воровке». Был и солидный «букет» прочих обвинений: в похищении служебного дела за 1981 (!) год (якобы для шантажа руководства!) и, конечно же, в присвоении имущества, оставленного иностранцами. Были обыски и опись имущества, повестки в ОБХСС и суд. Касса взаимопомощи «потеряла» ее квитанцию, ГУВД требовало взыскать деньги за форму...

Словом, как говорят юристы, два разных случая — один и тот же почерк. Но Наташу — юриста по образованию — задавить не удалось.

Дело, затянувшееся на полтора года, лопнуло с треском. М. Попова от своего заявления отказалась, сознавшись, что ее заставили. Оказалось, что подлог с кражей «служебного дела» устроили те же «товарищи по работе». В результате Камышникова и Леонова сняли, а Аверину восстановили. В 88-м она ушла из «Космоса» — поступила в Академию МВД СССР, но в гостинице бывает часто: здесь богатый материал для ее диссертации, касающейся проституции...

—... Почему они все трясутся? — Наташа удивленно вскинула глаза.— Еще бы не трястись! Он с тобой пооткровенничает, а потом вылетит с работы пробкой. Хорошо, если вылетит, а то его так подставят — вовек не отмоется...

Мы встретились в кегельбане — тишайшем месте, наиболее пригодном для разговора. Монотонно катились шары, постукивая о редуты кеглей. Игроки (все как на подбор плечистые ребята) каждое меткое попадание отмечали глотком фирменного коньяка или шампанского, добродушно переговариваясь на чистейшем русском.

— Думаешь, где бы я сейчас была, если бы все, что со мной случилось, произошло лет пять назад? Засадили бы, как миленькую... Такой «компромат» состряпали бы!.. По этой части они асы. Пойми, «Космос» — это маленькое государство в государстве, со своей «верхушкой» и их цепными псами, насквозь прогнившее. И здесь нет ни одного места, где бы не творились «дела» и не происходили правонарушения. Об общепите я вообще не говорю: кого тут только нет!.. А возьмем парикмахерскую. Ну, кажется, что там может быть? Фарцовка, проститутки, спекуляция. Валютная проститутка за ночь зарабатывает несколько сотен долларов, но большей частью она расплачивается с обслугой — с теми, как говорят сами проститутки, от кого зависит ее беспроблемное пребывание в гостинице...

Слежу за Наташиным взглядом. Здоровенный лоб подошел к стойке, поочередно поприветствовал каждого из игроков, поздоровался с барменом за руку.

— С тебя — шесть,— бросил небрежно «шкаф», будто бы речь шла о чашках кофе или плитках шоколада.

Бармен и ухом не повел, сосредоточившись на сдаче клиенту.

— В четверг заберу...

— Рэкет? — изумляюсь простоте, с которой все это случилось на наших глазах.

— Они постоянно здесь ошиваются,— продолжает Наташа.— Потому что здесь — место тихое, кегельбан, пустячное совсем. Подумаешь — ставочки тысяч до ста! И таких «вредных» точек, как эти, где деньги рекой текут, много. Обрати внимание: вся обслуга плачется на мизерные оклады, суетную работу, а попробуй предложи кому-нибудь из них уволиться — так он сегодня же повесится...

— А милиция для чего?

— Милиция? Вон милиционер пошел. Только любой тебе скажет, что их всего шесть человек на все предприятие, а злачных мест — десятки... Правда, когда нас здесь двадцать человек было, мы тоже при всем желании ничего не могли сделать: администрации лишняя преступность — как бельмо на глазу. Вот и вставляют палки в колеса...

Шар скользнул рикошетом, едва задев фигуру.

— А на этажах что творится! Немалая часть горничных занимается проституцией на рабочем месте. Сколько я их из номеров вытаскивала! А однажды совсем сумасшедшую сцену наблюдала. Вызывают меня на этаж, поднимаюсь — крик стоит, рев, иностранцы из номеров повысыпали, а две горничные друг друга за волосы таскают, по полу катаются. «Ты фашистка!», «Дрянь!», «Сама дура!» — кричат. Финны хохочут. А скандал вот из-за чего: у горничных все номера распределены, кто за какой отвечает. Иностранцы, уезжая, обычно оставляют презент, какую-нибудь мелочовку: колготки, что-нибудь из парфюмерии. Поэтому главная задача горничной — первой схватить. А драка из-за того, что кто-то посягнул на «чужой» номер. Еле растащила...

Бармен недовольно покосился в нашу сторону.

...Уходили — в целях конспирации — через нижний вход. Едва миновали пол-лестницы — снизу раздался зловещий шепот:

— Девчонки, сегодня нельзя — вся Петровка здесь...

Вижу, с пятнадцать расфуфыренных девиц облепили швейцара, в руках — аж хруст стоит.

— Я к-кому говорю! — запеленговав краем глаза «посторонних», гаркнул «отец родной».— Вход только по визиткам!

И тут же, признав бывшего «опера», состроил:

— А-а, группа захвата! У меня — броня!..

И предупредительно распахнул дверь.

«Сатурновы кольца» и «летающие тарелки»

Когда бы я ни поднимался по пандусу, всегда натыкался на этот кордон: стайка ребят-воробышков, совсем малышей, лет семи-восьми, не больше, ростом «метр с кепкой».

Вот и сейчас (перерезав на манер соловьев-разбойников единственную лесную дорогу) они облепили предгостиничную балюстраду и чирикают о чем-то своем, то и дело поптичьи крутя головами по сторонам.

Занимаю позицию напротив.

Круглолицый, рыжеватый пацанчик в заношенной до дыр, грязной куртке-«тройке» с оттопыренными карманами подлетел к туристам и прямо под носом у круглого, как марокканский апельсин, коротышки-толстяка раскрыл свою розовую, закоченевшую на утреннем морозце детскую ладошку.

На солнце блеснул золотом пионерский значок с изображением Володи Ульянова.

— Сэр... Жевачка, ам-ам,— заглядывая в глаза джентльмену, заискивающе и деланно-плаксиво заканючил он.— Ес?

— О-о, bublgum!..

Иностранцы заулыбались и высыпали на ладони несколько кубиков, знаками объясняя: мол, хватит, это на всех. Попытались пройти, но не тут-то было: сорванцы обступили их, пихали Ленина, дергали за лацканы и ныли во все легкие над самым ухом, пока те под улюлюканье не исчезали за турникетом.

— У-у, капиталисты, жмоты проклятые! — полетела в спину суровая детская фраза.

И птенцы шумно отправились на исходные позиции.

Только я настроился наблюдать процедуру дележа «добычи», как откуда-то снизу, из-под пандуса, раздался грозный окрик: «Але, утюги, подь сюды!» — и через балюстраду лихо перемахнула тройка пацанов постарше. После устрашающего крика «А ну-у!» и пары ударов в грудь статус-кво было восстановлено, и, несмотря на рев рыжего, резинка перекочевала в карманы их джинсов.

(Много раз набирал номер телефона Игоря Никишина — инструктора Дзержинского райкома комсомола, куратора «Космоса». Хотелось уточнить: знают ли в райкоме, что пионерские и комсомольские значки здесь идут с молотка? Чужими торгуют: свои-то «пионеры — всем ребятам примеры» давно обменяли. Но в течение месяца телефон так ни разу и не ответил. «Где-то здесь, кажется, пробегал»,— отвечали его коллеги «занятыми» голосами...)

«Утюжата» — первое «сатурново кольцо» вокруг «Космоса». Но есть и другие — вот здесь, у перехода к метро, слева и справа, около интуристовских автобусов и автостоянки «работают» «трясуны» и «фарца». У них тоже свои негласные законы, свой рэкет и зоны влияния, свой товарный рынок. Эта «птица» покрупнее и жевательной резинкой мараться не будет. Валюта и шмотки — вот что интересует.

...«Летающая тарелка» (милицейский «жигуленок») с визгом подрулила к стоянке, но парень и ухом не повел. Знал — те двое на заднем сиденье на «открытый контакт» не пойдут. Да и что сделают? Пока шофер возился с мотором, новенькая — с ярлыком! — форменная шапка офицера Вооруженных Сил СССР раз пятнадцать перекочевала из рук в руки и тут же была куплена по сходной цене выходящими из автобуса. Минут через десять «продавец» появился снова — с очередной порцией раритета. А милиционер, подвинтив антенну на багажнике, смачно плюнул в сторону фарцовщика и «дал по газам».

Мимо стоянки такси (за валюту или 25 рублей — до

центра!), мимо разряженных в пух и прах «девочек» прохожу в переход. Еще одни завсегдатаи. Группка ребят — все в солдатских шапках с кокардами и в ремнях поверх курток. Смех до упаду. Случайный прохожий подумает: студентики набродились по павильону «Вычислительная техника СССР» на ВДНХ и «надломились» за очередным анекдотом по поводу компьютеризации нашего общества. Но это не так. Здесь работают торговцы из модной фирмы «Made in Soviet Union», ориентированной на зарубеж.

Еще недавно самым писком моды здесь считался фирменный советский... флаг (типа «Предприятию — победителю социалистического соревнования»). За бархатное полотнище, расшитое гербом и Лениным, западный коллекционер-эстет отваливал долларов четыреста не торгуясь. Мальчики-фирмачи в куртках с «флаговой» начинкой дежурили у «Космоса» дни и ночи напролет. Потом флаговый бум прошел: рынок был буквально забит кумачовой и прочей продукцией. Капиталист, как шутили, погрустнел и во второй раз «победителем социалистического соревнования» стать наотрез отказался, сославшись на кризис. Тогда-то, изощрившись в который раз, «фирма» произвела на свет новый супершедевр подпольного искусства: «обмундирование советского солдата, павшего смертью храбрых в Афганистане». В х/б прожигалась дырка, края подпаливались и обливались «кровью» — обыкновенной алой краской или спецсоставом. «Смертельная рана бедного сержанта Иваноффа — жертвы застоя» готова!

А что же «летающие тарелки»?

В районной прокуратуре мне рассказали случай: на днях на прием к заместителю прокурора ввалились несколько таких «мальчиков» и написали официальную жалобу на произвол милиционеров, экспроприировавших у них несколько флагов. «Покажите в кодексе, где это записано, что мы не можем иметь при себе флаг родной страны?» — вопрошали они надтреснутыми голосами.

— А действительно, что реально мы можем сделать? — сказал мне постовой с дубинкой.— Факт торговли еще доказать надо. Ну, доставим мы его в отделение, сообщим на работу. Ну, штраф заплатит. Плевал он на эти «экзекуции». Закон против него бессилен. Вот и слетаются как мухи...

К концу второй недели расследование зашло в тупик

Собирая информацию по крупицам — золотым, иначе не скажешь, — приходилось пускаться на авантюрные ухищрения, постоянно опасаясь, что факты сочтут писанными вилами на воде. Кроме письма и разговора с Наташей Авериной — что мы имели в активе? Шесть генеральных директоров за десять лет, двое из которых были под следствием (уже не говоря о скандалах, связанных с замами — директором по кадрам и директором конгресс-зала). Трясущиеся анонимы, толпы проституток и рэкетиров, совершенно ясное осознание того, что в гостинице и вокруг нее полнейший развал и все расползается по швам. Ну и что? Приди я и выложи всю эту фактуру заместителю прокурора Дзержинского района В. Старухину — он ответил бы точь-в-точь, как Нине Кизиловой, когда она пришла к нему со слезами на глазах, жалуясь на произвол в отделении милиции: «Вас ведь там не избили? Тогда зачем пришли?!.»

...— Провалитесь вместе со своей гостиницей!!! — почти по-русски орал на весь холл интурист.— Тьфу-у!..

— Как не ругаться,— возмущался Д. Качаян, исполнительный директор фирмы «Силикон корпорейшн».— Сколько ни приезжаю в «Космос», обслуживание все хуже и хуже! Воровство страшное. Иностранных гостей ни во что не ставят. За все нужно платить сверху — даже чтобы раздеться в гардеробе. А за что платить, если элементарным сервисом здесь даже не пахнет?! Загляните в книгу жалоб — ахнете!..

Книга жалоб и предложений:

«Группа из США, изв. № 2—19020. Турист Фил Санта-Мария сообщил гиду, что в номере, куда его поселили, не было мыла. Когда он обратился к дежурной по этажу с вопросом, где можно взять мыло, та ответила: «Спроси у Горбачева!»

«Группа из Англии. Директору гостиницы. Комната № 1051. Ночью ко мне подошли две русские девушки (поодиночке) и сказали, что за 50 долларов я могу с ними спать. Я огляделся и увидел по меньшей мере 8 проституток в районе стойки размещения. Швейцары и портье не обращали на них никакого внимания. Я думаю, вам стоит обратить внимание на:

1) дежурную на 24-м этаже;

2) швейцара на входе;

3) тех, кто знает, как перепрограммировать компьютеры»

«Группа из Италии. Руководитель группы Донателли выражает свой протест от имени туристов, которых обокрали: № 2418 и 1036, где проживали Муньяни и Рабиа. У них пропали сигареты, двое часов «Ракета», купленных за валюту, несколько колготок. Могу перечислить следующие факты: дежурные продают пропуска в гостиницу за валюту, швейцары получают за вход (10 рублей), горничные берут из комнат вещи. Вечером полно проституток, валютный обмен более справедлив на «черном рынке». Все это делает пребывание в гостинице ужасным. Эдмондо Донателли»;

«Этот отель не заслуживает звания даже третьесортного отеля. Не выполняются даже элементарные просьбы, пьяные официанты, никудышные комнаты. Постоянно беспокоят проститутки. Всюду коррупция и попрошайничество. Малолетние преступники бродят у гостиницы, никем не замечаемые. Такой отель не был бы на Западе даже заселен. Здесь же у него ранг отеля «люкс». Вероятно, это — советская шутка! Англия, № 2525, изв. № 2—4361».

И так далее...

Прочитав эту «книгу судеб», выписав лишь мизерную часть «криков души» — записей, сделанных людьми, окончательно выведенными из равновесия, многие из которых излили обиду и горечь на нескольких страницах,— я понял, что пора выходить из подполья.

И тут...

Стыковка

— Срочно приезжай! — Нинин голос был радостным, впервые за последние месяцы в нем зазвучали счастливые нотки.— В «Космосе» бунт, коллектив требует отставки генерального директора Винниченко... Да, с тобой срочно хочет поговорить Ирина Добыш — портье и другие.

Эта новость была настолько оглушительной, что казалась чудовищно неправдоподобной. Двумя неделями раньше «святой лик» генерального директора был окружен ореолом молчания и таинственности. Что о нем было известно? По-солдафонски груб с подчиненными, окружил себя «своими» людьми, не нашел контакта с милицией, опубликовал в газете статью о том, как гостиница «перестроилась» с его приходом... Остальное — так, домыслы. И вдруг — «космический» бунт: люди заговорили...

В конце февраля сквозь замочную скважину директорского кабинета просочился слух: премий в этом месяце платить не будут. «Как? — недоуменно переспрашивали друг друга сотрудники.— План перевыполняем, предприятие сверхвысокой рентабельности. Какой год работаем на износ — и в каких условиях!..»

Когда экономисты намекнули о некоем Постановлении Совмина СССР, народ заволновался уже всерьез. Чаша терпения дала трещину, в кулуарах все чаще стало вслух произноситься полузабытое слово «забастовка»...

«Резолюция собрания трудового коллектива техслужб гостиничного комплекса «Космос». Заслушав выступления представителей администрации о предстоящих мероприятиях по сокращению численности техслужб на основании Постановления Совмина СССР (приказ № 50 от 19.01.89 г.), собрание выдвинуло требования трудового коллектива, сформулированные инициативной группой.

Если предложенные администрацией мероприятия состоятся, то 14 марта 1989 года технические службы постановили объявить экономическую забастовку с выходом сотрудников на работу, но невыполнением самой работы. Срок забастовки — 4 дня.

В случае принятия репрессивных мер к участникам забастовки и невыполнения наших требований забастовка будет возобновлена.

Члены инициативной группы Кулькова Г. А., Жеребилов Б. В., Кабалюк В. Н. и другие, всего 10 подписей».

— Да это же саботаж! — гневно вскричал главный инженер Путилин, едва пробежав глазами документ.— Имейте в виду, шутники, я уже проконсультировался по поводу этой вашей трепотни в милиции. Эти ваши штучки пахнут уголовщиной! Диверсия на производстве — вот как это называется!..

Генеральный директор, приняв инициативную группу, был более сдержан.

— Чьи это подписи? — поинтересовался он.

— Наши...

— Значит, так,— спокойно произнес Борис Зиновьевич, обращаясь к замам,— не будем терять время. Эту десятку

смутьянов — уволить! С остальными разберемся... Я им ручки-то повывертываю, головки-то поскручиваю! Всё!

— Но вы же, по существу, залезли в карман к рабочему человеку! — не выдержал Николай Полынкин, один из членов инициативной группы.

— Что-о-о?! Только не надо примазываться к рабочему человеку! Рабочий человек на заводе у станка стоит, а здесь...— директор ткнул пальцем в пространство,— одни жулики. Да-да, жулье беспардонное да проститутки!..

Дальнейшие события разворачивались стремительно. Через несколько дней сотрудники номерного фонда в знак протеста отказались получать зарплату. К ним присоединились портье. Стихийно возникающие собрания служб больше походили на митинги.

— Сколько можно терпеть эту солдатчину и фанфаронство? — раздавались голоса.

— Да мы для него — быдло!..

Просочившаяся из тех же директорских «замочных» каналов угроза показать личному составу «кузькину мать» людей только подзадорила.

...— Вы кто такой? — строго спросил Е. Маятников, зам. генерального по размещению, узнав о присутствии на собрании журналиста, и вырвал у меня из рук повестку дня.— Немедленно покиньте зал! Мы вас не приглашали.

Объясняю, что приглашен инициативной группой.

— Л-ладно, собрание решит...

Собрание службы размещения длилось более двух часов.

— Регламент, регламент! — периодически выкрикивал председательствующий.

— Не надо нам никакого регламента! — взорвался зал.— Дайте выговориться... раз в десять лет...

— Такое впечатление, что хозяина в гостинице нет! — неслось с трибуны.— Потому что организации труда у нас и не было никогда!..

— Куча замдиректоров, новых служб, которые ничего не делают!..

— Я работаю здесь с открытия гостиницы. Первый оклад у меня был 82 рубля 50 копеек. (Смех в зале.) Товарищи, ну чего смеяться? И так уже десять лет смеемся! Я сидела на половине этажа, а один этаж — это целая гостиница «Метрополь», восемьдесят два номера, сто шестьдесят четыре человека... Теперь получаю 92.50 — «повысили» зарплату. Мыслимо ли это?! Бегаешь целыми днями по этажам — туалетную бумагу или мыло ищешь, потому что даже этого нету. Гостиница — от слова «гость», а что мы для этого гостя делаем? Мы вообще ничего не делаем! Нам, по-моему, совсем платить не надо. Бизнесмен грохает 120 долларов в сутки — и просит кусок мыла. Мыла — не чего-нибудь! Имеет он право за сто двадцать-то?! Это просто страшно! И когда бизнесмены нас спрашивают: «Девчонки, сколько вы получаете?», мы врем: «Сто пятьдесят — сто шестьдесят». «В неделю?» — спрашивают. «В неделю!» — отвечаем. Так вот вы — начальники... Как же так получается? Вы же должны нам помогать... А получается: директор — для себя, мы — для него. Мало того, что над нами издеваются, а мы вынуждены издеваться над гостями. А еще есть манера у некоторых руководителей травить людей. Еще к этому прибавилось, что тебя могут убить прямо на рабочем месте. И тебя никто не защитит. А администрация? Нет чтобы выйти на этого Павлова, прочистить ему мозги! Пусть хоть раз придет в семь утра, когда вокруг тебя — столпотворение, и в двенадцать ночи, когда бандюги с ножами ходят, вот-вот прирежут... А нам платят по 92 рубля!.. Значит, что между нами говоря! Нас попросту толкают на преступление: мол, воруйте... А, товарищ Маятников?..

— Во-первых, я не хочу отвечать на вопросы, которые впрямую меня не касаются. Я за весь рэкет в Советском Союзе не отвечаю!

— А жену свою в кооператив устроил! — кричат из зала.— Понапускали в «Космос» своих кооператоров, а денежки — в карман!..

— Пусть Грицснко скажет!

— А ему и сказать-то нечего. Это вы нас травите, Юрий Николаевич!..

— Пусть уйдет!..

То, что произошло 18 марта в баре «Орбита», потрясло всех. Вот что рассказывали об этом очевидцы.

«От рэкетиров и раньше житья не было — то драку устроят, то пару ножей к животу — мол, валюту и выпить быстро!.. К администрации обращались, заявления в профком писали, даже бастовали полтора месяца, а прежний зам. директора в ответ: «Я в ваши годы один с ружьем против двадцати ходил!..» А тут...

Во втором часу ночи официант из «Соляриса» А. Белкин был жестоко избит рэкетирами. Били ногами, кулаками — долго, все шесть человек. Тот нашел в себе силы, добрался до отделения милиции и написал заявление с просьбой о защите. После этого был избит второй раз. Когда наконец, явно не спеша, появились милиционеры и начали вести с рэкетирами душеспасительные беседы, Белкин выхватил у рэкетира нож и два раза ударил его, после чего сам в тяжелом состоянии, с сотрясением мозга был доставлен в больницу...»

Случай этот передавался из уст в уста и обрастал невиданными кровавыми подробностями. Народ заволновался не на шутку: стало ясно, что такое может случиться с каждым...

Через несколько дней стало известно: начальник отделения милиции А. Рачков и его заместитель С. Понятовский сдают дела. А следом — еще: Винниченко заболел...

Но взрывная волна продолжалась. В ночь с 15 на 16 апреля у входа в «Космос» был избит представитель швейцарской фирмы. С криком «Соблюдай социалистическую законность!», сопровождаемым отборным матом, два молодца по сигналу гостиничного швейцара вышвырнули его на улицу. Разукрасив кровью лицо и ударив пару раз ниже пояса дубинкой, молодцы исчезли. Иностранец возбудил уголовное дело, но безрезультатно, если не считать словесных извинений Винниченко, принесенных примерно месяц спустя.

Еще через несколько дней в милиции раздался телефонный звонок, предупреждающий, что гостиница заминирована и вот-вот взлетит на воздух...

В это время инициативная группа готовила общую конференцию обслуживающего персонала.

— Когда до администрации наконец дошло, что дела приняли непредвиденный оборот,— говорит А. Сухов, один из активистов инициативный группы,— коллективу были обещаны законные выплаты, но было уже поздно. Тщательно проанализировав и просчитав состояние гостиницы, мы поняли, что предприятие находится на краю экономической пропасти. Ведь до сегодняшнего дня политика Госкоминтуриста по отношению к нам была откровенной: пока «Метрополь», «Берлин» и другие интуристовские гостиницы на ремонте, выкачать из «Космоса» все соки, извлечь максимальные доходы, ничего не давая взамен. Ну и что же мы имеем на сегодня? Пожалуй, кроме стен с надписью «Космос», изношенного оборудования и морально задерганного коллектива, ничего. «Космос» сам впору ставить на капремонт плюс моральное разложение внутри персонала. Видя, как администрация только устраивает пышные банкеты, разъезжает по заграницам, некоторые давно плюнули на латание «тришкиного кафтана». А директор всю вину пытается теперь спихнуть на нас... Именно поэтому на общем собрании было решено: забастовку отменить, требовать замены некомпетентной администрации и полной хозяйственной самостоятельности, отделения от Госкоминтуриста.

— Вы считаете, это реально? Ведь идти на попятную никто не собирается? — спрашиваю Андрея.

— Будем бороться! Коллектив сам должен решать судьбу предприятия, и он будет ее решать!..

Перед тем как поставить точку (или, вернее, многоточие) в этом журналистском расследовании по открытому письму Нины Кизиловой, не будем питать иллюзий. Впервые за десять лет своды «полстакана» содрогнулись, и застойная муть, грязь и пена поднялись со дна, просочились наружу, захлестнув всё и вся. Теперь, как справедливо прозвучало в письме, нужна компетентная комиссия, которая расставит точки над «i», поможет коллективу (а также новому генеральному директору) разобраться и покончить с прежней бюрократической запущенностью.

Закономерный вопрос: а как же Нина? Неужели взрыв, к которому и она в немалой степени причастна, ничего не изменит в ее жизни и она в конце концов сделает этот вынужденный «шаг отчаянья»? Конечно, не нам, а ей самой решать, уходить или остаться на любимой работе, чтобы отстаивать справедливость вместе с коллективом. Но всем нам очень хочется надеяться на времена, когда гостиница станет лицом нашего перестраивающегося общества.

А значит, и честные люди будут в цене...

Культура и искусство

Галина ВИШНЕВСКАЯ

СОЛЖЕНИЦЫН И РОСТРОПОВИЧ

Окончание. Начало см. в № 6, 1989 г.

Конечно, ни я, ни Слава не представляли себе, во что выльется появление в нашем доме столь грандиозной личности, да и не задумывались о том. Мы предоставили кров не писателю — борцу за свободу, и не во имя спасения России — мы были далеки от этого,— а просто человеку с тяжелой судьбой, считая помощь ближнему не геройством, а нормальным человеческим поступком. Это чувство к нему, брату-христианину, наполняло мою душу еще до того, как я увидела его самого, когда я стояла над таким красноречивым его узелком в моем благополучном тогда и красивом доме [...]

И вот, буквально через два месяца после переезда к нам, Солженицына исключили из Союза писателей [...]

Меня всегда удивлял в Солженицыне его безудержный оптимизм, и я не встречала человека более неприхотливого в быту, чем он. Жил он на даче часто один, особенно зимой.

Как-то зашли мы к нему и попали к обеду. На столе кусок хлеба, тарелка с вареной лапшой и рядом бульонные кубики — видно, собирался обед варить. Обрадовался нашему приходу, захлопотал.

— Вот хорошо, что зашли, сейчас будем чай пить.

Я не могла оторвать взгляда от его «обеда» и, чуть он вышел в другую комнату, быстро заглянула в холодильник и обомлела: бутылка молока, банка с кислой капустой, вареная картошка, яйца — вроде все...

— Да как же вы живете тут, что едите-то?

— Что значит — что ем? — удивился он.— Вот пойду в Жуковку, куплю все, что нужно, и ем. Хорошо живу.

— Так разве же это еда? Какой ужас!

Увидев мою реакцию на его продовольственные запасы, он засмеялся.

— Да вы не беспокойтесь, Галочка, я привык так жить. Мне ничего больше и не нужно. Самое главное — тепло мне здесь, тишина кругом, и воздух чистый — так хорошо работается.

Понимая, что печатать его в Советском Союзе долго не будут и заработков не предвидится, жил Александр Исаевич на один рубль в день — так распределил он на много лет свой довольно большой гонорар за «Ивана Денисовича», поставив себе целью успеть за эти годы написать все, что наметил и что являлось смыслом всей его жизни. После Нобелевской премии быт его почти не изменился, и единственно, что я заметила: появились джин, бутылки тоника и орешки из валютного магазина — для гостей (сам он не пьет и не курит). Ну и, естественно, обеды стали получше. Между прочим, власти, в печати обливавшие помоями Солженицына за то, что он получил Нобелевскую премию за «грязную клевету на советский строй», содрали с нее огромный налог. Надеюсь, что деньги пошли на покупку хлеба за границей, а не машин для сынков членов правительства.

Чтобы попасть к нам в Жуковку, нужно ехать по Белорусской железной дороге, выйти на станции «Ильинское» и, перейдя железнодорожное полотно, пойти направо вдоль длинного высокого забора, ограждающего десятки гектаров леса — поселка Совета Министров. Дойдя до конца забора, повернуть налево, и вскоре будет наш поселок — Академии наук, — насчитывающий что-то около 16 домов. Дальше снова зона Совета Министров с правительственными дачами, а у проезжей дороги примостилась небольшая деревенька Жуковка. Построены наши дома были после войны, по личному распоряжению Сталина, для ученых-атомщиков и самим Сталиным им подарены. Хотя ученые недоумевали — зачем? Все они уже имели прекрасные собственные дачи в разных местах Подмосковья. Двое академиков эти дарственные дома после смерти Сталина продали, и у одного из них купил дом Шостакович, а у другого — мы. Конечно, не одной любовью к ученым можно объяснить столь широкий жест советского монарха. Теперь, поселив самый цвет советской науки в центре правительственной — запретной — зоны, бдительно охраняемой милицией и КГБ, можно было иметь над ними полный контроль, а также приучить к нереальной, не обремененной бытовыми заботами жизни самой высшей советской элиты. Ученые получили пропуска на право пользования магазинами на участке Совета Министров, специальные карточки-талоны на покупку продуктов в правительственных магазинах в Москве, право на лечение в Кремлевской больнице и т. д. Человеку, привыкшему к таким сказочным, по сравнению со всем остальным народом, привилегиям жизни, терять их — ой как трудно...

В отличие от Славы я всегда вела замкнутый образ жизни и, прожив в Жуковке почти пятнадцать лет, с некоторыми из наших соседей так и не познакомилась. Долго я не знала и А. Д. Сахарова, хоть и жил он напротив нас, через дорогу, а сын его Дима дружил с моими дочерьми и часто бывал у нас.

Как-то, приехав на дачу, мы встретили двух прогуливающихся мужчин. Остановив машину, Слава поздоровался с ними, пригласил заходить, и мы двинулись дальше. Меня поразила интеллигентность и одухотворенность лица одного их них, а необыкновенная просветленность его взгляда навсегда запала в душу.

— Боже мой, Слава, какие глаза! Кто это?

— Сахаров.

На другой день он с женой, Еленой Боннэр, был у нас, и я имела счастье познакомиться с этим удивительным человеком. Жил он в двухэтажном, вроде даже большом, кирпичном доме, снаружи дающем впечатление, что там много просторных, светлых комнат. Но внутри дом был удивительно мал и неудобен — внизу одна, среднего размера, комната и неутепленная летняя веранда да наверху две или

три маленькие комнаты. Казалось, что между стенами дома и стенами комнат существует большое незаполненное пространство. Непонятно, как он размещался в нем, особенно летом, со своей огромной семьей: дети его от первого брака (жена умерла) — сын и дочь замужняя с семьей; дети его второй жены Елены Боннэр — сын и тоже замужняя дочь с семьей; ее старуха мать, сам он... Мебели в доме почти не было, да ее и некуда было поставить — в каждой комнате по нескольку кроватей.

У великого ученого не было не только своего кабинета, но и спал-то он внизу в проходной комнате. Удивительно, что он никогда этим не раздражался, ни на что не жаловался, казалось, что он совершенно не удручен творящимся вокруг него бедламом. Милый, добрый Андрей Дмитриевич... Мы уговаривали его пристроить к дому еще комнату, чтобы он мог хоть иногда побыть один за закрытой дверью. Он соглашался и, смущенно улыбаясь, каждый раз старался скорее перевести разговор на другую тему. Потом я поняла, почему: не было денег. Войдя в конфликт с Советской властью, этот честнейший, кристальной душевной чистоты человек счел нужным вернуть государству заработанные им 150 тысяч рублей — сбережения всей жизни! Кто бы еще на это был способен? Я таких не знаю, включая и себя в первую очередь.

Вскоре его лишили права пользоваться казенной машиной с шофером, что полагается всем академикам. Его же собственной машиной пользовались дети, и теперь он ездил на работу электричкой. Часто можно было видеть, как к вечеру, возвращаясь на дачу, он, усталый, тащит с железнодорожной станции тяжелые сумки с продуктами из Москвы.

Когда у нас поселился Солженицын, то волею судьбы он оказался рядом с Сахаровым — с одной стороны, и с Шостаковичем — с другой.

Естественно, что в таком близком соседстве он часто общался с Андреем Дмитриевичем. Теперь Слава захотел свести поближе Солженицына с Шостаковичем, который очень высоко ценил писательский дар Александра Исаевича, хотел писать оперу на его повесть «Матренин двор».

Они встречались несколько раз, но контакта, видно, не получилось. Разные жизненные пути, разные темпераменты. Солженицын — бескомпромиссный, врожденный борец, рвался хоть с голыми руками против пушек в открытую борьбу за творческую свободу, требуя правды и гласности. Затасканный всю жизнь в себе Шостакович не был борцом.

— Скажите ему, чтобы не связывался с кремлевской шайкой. Надо работать. Писателю надо писать, пусть пишет... он великий писатель.

Шостакович, конечно, чувствовал себя лидером, за которым идут, на которого равняются все музыканты мира. Но он также видел и укор в глазах людей за свой отказ от политической борьбы, видел, что от него ждут открытого выступления и борьбы за свою душу и творческую свободу, как это сделал Солженицын. Так уж повелось, что один должен дать распять себя за всех. А почему все не спасут одного — гордость своей нации?

Бедный Дмитрий Дмитриевич! Когда в 1948 году в переполненном людьми Большом зале Московской консерватории он, как прокаженный, сидел один в пустом ряду, было о чем ему подумать, а потом помнить всю жизнь. Он часто говорил нам, когда мы возмущались какой-нибудь очередной несправедливостью:

— Не тратьте зря силы, работайте, играйте... Раз вы живете в этой стране, вы должны видеть все так, как оно есть. Не стройте иллюзий, другой жизни здесь нет и быть не может.

А однажды высказался яснее:

— Скажите спасибо, что еще дают дышать.

Не желая закрывать глаза на жестокую правду, Шостакович отчетливо и ясно сознавал, что он и все мы — участники отвратительного фарса. А уж коль согласился быть паяцем, так и играй свою роль до конца. Во всяком случае, тогда ты берешь на себя ответственность за мерзость, в которой живешь и которой открыто не сопротивляешься.

И, раз навсегда приняв решение, он, не стесняясь, выполнял правила игры. Отсюда его выступления в печати, на собраниях, подписи под «письмами протеста», которые он, как сам говорил, подписывал, не читая, и ему было безразлично, что об этом скажут. Знал, что придет время, спадет словесная шелуха, и останется его музыка, которая все расскажет людям ярче любых слов. Реальной жизнью его было только творчество, и уж сюда он не подпускал никого. Это был его храм, входя в который он сбрасывал с себя маску и оставался тем, кто он есть,— и только за эту жизнь он и в ответе. Все, что хотел сказать Шостакович, о чем он думал, он говорил своей музыкой, и она-то и останется в веках, так же как изломанный, истерзанный духовный облик величайшего композитора XX века. Какие бы фальшивые программы ни подкладывали советские музыковеды под его симфонии, публика, приходящая на концерты, отлично понимает, о чем пишет Шостакович. И в том, что сегодня в России все больше и больше раскрепощается людское сознание, в этом, конечно, огромная заслуга и Дмитрия Шостаковича, до конца жизни своей музыкой призывавшего людей к протесту против насилия над личностью с такой исступленной страстью, как ни один творец-музыкант нашего века. Для этого он отметал все лишнее со своего пути, все, что могло помешать ему в творчестве, а иногда бросал кость сверх, которая с таким усердием всю жизнь его травила, подписывая векселя в виде статей и писем, которых не читал. Знал, что все равно не отстанут, но отнимут отпущенное ему судьбою время, помешают, не дадут написать, воплотить в звуки то, что разрывало ему душу. Выступал на собраниях, разных пленумах, не придавая значения этим выступлениям, торопясь скорее к своему письменному столу. Зато те, кто заставлял его делать это, придавали словам Шостаковича очень большое значение. Сразу после смерти Дмитрия Дмитриевича (через несколько месяцев!) Советское правительство предъявило векселя Шостаковича к оплате: в Советском Союзе вышел альбом пластинок «Говорит Шостакович», где собраны его публичные высказывания в разные годы жизни. Как торопится власть замести следы медленного убийства великого человека! Но как они заблуждаются, думая, что, обвив Шостаковича липкой паутиной и всучив ему партбилет, они создали из него нужный им образ верного коммуниста, славящего в своих выступлениях Советскую власть. Именно эти-то высказывания, идущие вразрез со всем его творчеством и всей его жизнью,— позорный и яркий документ, свидетельствующий об извращении и подавлении личности коммунистическим режимом.

И все же, пройдя через все глумления над своим талантом, он остался верным своему народу, который всегда отдавал его на заклание. Непонятно, как с его темпераментом, его нервной утонченностью он не покончил жизнь самоубийством. Какая сила спасла его от этого шага? А может быть, он побоялся Бога? Бог не принимает душу самоубийцы... Это есть у него в Четырнадцатой симфонии у сопрано: «Три лилии, три лилии на могиле моей без креста...» На репетициях на него страшно было смотреть, с такой мучительной углубленностью в самого себя слушал он эту часть.

Дмитрий Дмитриевич никогда не говорил о вере, но, как всякий большой художник, конечно, чувствовал в себе Бога. Он часто говорил: «Все от Бога». Это не было в его устах лишь фразой, и он умер бы уже давно, если бы не Бог, даровавший ему могучий талант и возложивший на него обязанность описать все, чему свидетелем он будет, тот тернистый путь, которым идет Россия. И Шостакович нес свой крест, изнемогая под его тяжестью, но выполнил свой долг до конца.

Во всех своих произведениях он гневно разоблачает зло, скорбит, глубоко страдает. Сколько протеста в его симфониях, в этих бессловесных монологах, какой трагической встает перед нами Россия, и сколько в них боли и мучений за свой униженный народ! [...] Когда я услышала его Пятую симфонию у Вашингтонского оркестра в гениальной интерпретации Ростроповича-дирижера, я вдруг физически почувствовала, что рушится мир, что меня сейчас уничтожит катящаяся на меня раскаленная лава эмоций, что растопчет, вобьет меня в землю несущееся стадо озверевших, потерявших человеческий облик людей. Чтобы не закричать от охватившего меня ужаса, я зажала ладонью рот и буквально вросла в свое кресло. Казалось, еще мгновение — и не выдержит, разорвется сердце. Да, без имени Шостаковича нет истории Советского государства, нет XX века, и чем дальше, тем яснее мы это осознаем.

Когда я слышу, как люди с легкостью объясняют те или иные действия Шостаковича его страхом, во мне все протестует и возмущается. Не мог человек, задавленный страхом, писать такую могучую музыку, вызывающую в людях, даже непосвященных, чувство глубочайшей потрясенности. И всю эту огромную силу он черпал в себе. Музыка Шоста-

ковича — душа народа, и по оставленному нам Дмитрием Дмитриевичем музыкальному наследству, по его страдному жизненному пути, со всеми противоречиями и изломами, наши потомки могут изучать моральные устои общества, в котором он жил [...]

Осенью 1969 года состоялась премьера Четырнадцатой симфонии Шостаковича, посвященной Бриттену. Партию сопрано Дмитрий Дмитриевич писал для меня, и я была первой исполнительницей этого сочинения — 29 сентября 1969 года в Ленинграде и 6 октября того же года в Москве. Чтобы дать представление, как мы, советские артисты, должны работать, скажу лишь, что до первого концерта было шестьдесят репетиций (!) с Московским камерным оркестром и тогдашним его руководителем Рудольфом Баршаем. Здесь, на Западе, их было бы максимум шесть.

На общественном прослушивании в Малом зале в Москве произошел знаменательный случай — умер Апостолов, один из идеологических руководителей искусством Советского Союза, посвятивший большую часть своей гнусной жизни травле Шостаковича. К концу репетиции ему стало дурно, и его вывели из зала. Когда я проходила через фойе, я видела его сидящим на диване, такого ничтожного, плюгавого, маленького человечка... Он поводил вокруг мутными, уже ничего не видящими глазами и отдавал душу... Уж не знаю, кто ее принял — Господь или сатана.

Вокальный цикл «Сатиры» на стихи Саши Черного, оркестровый вариант «Песен и плясок смерти» Мусоргского, вокальный цикл на стихи Блока, Четырнадцатая симфония — в расчете на мою творческую индивидуальность они Шостаковичем написаны. Какое же счастье сознавать, что в это время он думал обо мне, о моем искусстве... Даже вокальный цикл на стихи Марины Цветаевой, написанный им в 1973 году для контральто, после первого исполнения он сам транспонировал для меня и подарил мне рукопись.

Вспоминаю и оцениваю все теперь издалека, и волнение охватывает меня чем дальше, тем больше. Чувство бесконечной благодарности наполняет мою душу — и огромное сожаление, что не посмела в большей степени проявить к нему свою любовь. Но я уверена: он знал и чувствовал — как много он значит для меня.

Он навсегда остался для меня путеводной звездой, и в трудные минуты жизни именно к нему я мысленно обращаюсь за помощью. И он приходит всегда.

[...] Солженицын получил Нобелевскую премию, и в прессе началась открытая травля. События развивались по давно установившемуся стандарту, с той лишь разницей, что за Пастернака, так же как в свое время и за Шостаковича и Прокофьева, открыто не вступился никто из ведущих деятелей советской культуры. Теперь же Ростропович объявил свой протест. Я хорошо помню то московское холодное утро, когда, приехав с дачи, Слава заявил мне свое решение выступить в защиту Солженицына и показал мне уже написанное письмо, адресованное главным редакторам газет «Правда», «Известия», «Литературная газета», «Советская культура».

— Ты же знаешь, что никто не напечатает твое письмо. А тогда к чему оно? Оно имеет смысл только в случае широкой гласности.

— Солженицын живет у нас в доме, и я должен заявить свою точку зрения.

— Ты абсолютно прав. И если мне скажут, что твое письмо появится в советской печати, я первая подпишусь под ним, и пусть тогда меня хоть и растерзают на глазах у всех. Но глупо отдавать жизнь на подлое и тайное ее удушение.

— Оставь, не те теперь времена. Я знаю, что письмо не напечатают, и все же какой-то круг людей узнает о нем от сотрудников редакций газет.

— Но ты берешь на себя очень большую ответственность за судьбы многих близких тебе людей. Ведь это коснется не только тебя, но и твоих близких друзей, твоей сестры-скрипачки, которую в любую минуту смогут выгнать из оркестра, а у нее муж и дети. Ты не можешь не думать, что ждет их, а также меня. У меня театр, и я не хочу перечислять — чего лишусь... Все, что я создавала в течение всей жизни, пойдет прахом.

— Уж с сестрой-то ничего не случится, а с тобой мы можем фиктивно развестись, и тебя ничто не коснется.

— Фиктивный развод? А где же ты собираешься жить и что ты скажешь детям?

— Жить мы будем вместе, а детям я объясню, они уже большие и все поймут.

— Но, как я понимаю, ты предлагаешь развод, чтобы именно внешне отделить себя от семьи, а тогда мы должны жить врозь. Ты что же, собираешься тайком лазить ко мне в окна по ночам? Ах, нет? Ну, конечно, это смешно. Тогда мы будем жить вместе, а я повешу себе на грудь объявление, что не сплю с тобой в одной постели и потому не отвечаю за твои поступки. Ты это мне предлагаешь? Ты хоть никому не рассказывай, не выставляй себя на посмешище.

— Но ты пойми, если я сейчас не вступлюсь, не вступится никто.

— Открыто не вступится никто в любом случае. Ты выступаешь против адской машины в одиночку и должен трезво и ясно видеть все последствия. Не забывай, где мы живем, здесь с любым могут сделать все. Возвысить и уничтожить. Вон Сталина, который был в этой стране больше, чем Бог, выбросили из мавзолея, потом Хрущева как ветром сдуло, будто он и не был десять лет главой государства. Первое, что с тобой сделают, это тихонько вышвырнут из Большого театра, что нетрудно: ты там приглашенный дирижер. И, конечно, твоим заграничным поездкам можешь сказать «Прощай!». Ты готов к этому?

— Перестань паниковать. Я уверен, что ничего не случится. Я должен это сделать, я много думал, и ты пойми...

— Я тебя очень хорошо понимаю, и уж ты-то прекрасно знаешь, что в результате во всем поддержу тебя и буду рядом с тобой. Но я отчетливо представляю, что нас ждет, а представляешь ли ты — в этом я очень сомневаюсь. Я признаю всю твою правоту, хоть сама бы этого и не сделала, имея в виду все несчастья, что свалятся на нашу семью, о чем тебе сейчас говорила... Но ты — большая личность, ты великий артист, и если ты чувствуешь, что должен высказаться, ты это делай.

— Спасибо тебе. Я знал, что ты меня поймешь.

— А теперь дай мне письмо, я должна здесь кое-что переделать.

Слава согласился с моими поправками, переписал его. Через несколько дней, уезжая в Германию, по дороге в аэропорт он опустил четыре конверта в почтовый ящик. Мне же предстояло скоро выехать в Вену заканчивать запись с Караяном «Бориса Годунова», и я волновалась, что меня не выпустят. Надежда была на то, что половина записи уже сделана, что Караян своим авторитетом добьется моего выезда. Так оно и случилось, и хоть через две недели уже все иностранные радиостанции по нескольку раз в день передавали Славино письмо — в Вену я выехала и запись закончила.

Первое, что я узнала, вернувшись в Москву, что фильм о моем творчестве, законченный незадолго до того на студии московского телевидения, к показу запрещен. Так он на экраны никогда и не вышел.

НАЧАЛОСЬ...

Думаю, что лучшей хозяйки дома, где Солженицыну пришлось прожить четыре года, ему нельзя было и вообразить. Мои человеческие качества: необщительность, замкнутость, к сожалению, часто принимаемые за высокомерие и невольно отстраняющие от меня людей,— здесь пришлись как раз кстати. Александр Исаевич не очень-то располагает к сближению, его нелегко вытащить на разговор, на общение, да и я люблю одиночество. В этом смысле мы были идеальной парой и прожили четыре года душа в душу. Летом, живя на даче, я могла по нескольку недель не обмолвиться с ним ни словом — я просто не ходила в ту часть сада, где он работал, а он не заходил к нам в дом.

У Славы с ним были другие отношения, там была мужская дружба. Труднее всегда с женщинами, а тут еще артистка, певица... Надеюсь, что никогда у Александра Исаевича не зарождалась мысль, что вот там, на скамейке, сидит дама, «у которой он живет», что нужно подойти и поцеловать ей руку, сказать спасибо... и вообще проявить внимание. Во всяком случае, и я, и Слава делали все, чтобы он не чувствовал себя обязанным общаться с гостеприимными хозяевами и менять свои привычки.

Он жил для того, чтобы писать. Вставал на рассвете, работал до вечера, а в 10 часов уже ложился спать, чтобы рано утром проснуться для работы. Таким я знала его все

четыре года. Так он живет и сейчас. Он привез свой огромный старинный письменный стол (теперь я увидела его в Вермонте). В углу нашего сада, под деревьями, приехавший знакомый его старик (видно, бывший зэк) смастерил стол на березовых столбах и скамейку, и там с ранней весны и до самых холодов — если не шел дождь — работал Солженицын. Окна моей спальни выходили как раз на ту сторону, и, проснувшись, первое, что я видела,— это его, отмеривающего километры, как тигр, вдоль забора — туда и обратно... туда и обратно... подойдет быстро к столу... пишет, и снова хождение долгими часами... Около его дома почти не остывал костер — все бумажки, черновики, не нужные в работе, он сжигал немедленно. Писал он от руки, я никогда ни у кого не видела такого мелкого, бисерного почерка и сказала ему однажды. Он засмеялся.

— Лагерная привычка — как можно больше уместить на маленьком клочке бумаги и чтобы прятать было легче.

Вначале мы пытались зазывать его к нам, просто поесть в семейной обстановке, и иногда он приходил, весь как натянутая струна,— чувствовалось, как внутри его лихорадочно бьется, пульсирует напряженная мысль, не отпуская его ни на минуту, не давая расслабиться. Ему было в тягость сидеть за столом, тратить драгоценное время на еду, и он спешил скорее, отдав долг вежливости, уйти...

Вскоре я узнала от Славы, что в жизни Александра Исаевича появилась другая женщина, что он подал на развод с Наташей Решетовской. Первый суд их не развел, не дала согласия на развод Наташа. А 30 декабря 1970 года у Солженицына родился первый сын — Ермолай. Зимой я редко бывала на даче, и с новой женой его, тоже Натальей, или, как все мы ее потом звали, Алей, я познакомилась в машине, заехав за ней по дороге в церковь, когда крестили их первенца Ермолая. Слава — его крестный отец. После крестин в церкви Нечаянной Радости, что на Обыденке, у нас дома был праздничный обед, и лишь тогда я толком ее разглядела: тридцатилетняя, в самом расцвете, сильная женщина, олицетворение жены и матери. Да и то — за три года троих сыновей родила, один другого краше. Я невольно вспомнила, как однажды в разговоре с нами Солженицын сказал: «То, что я наметил,— я выполню. Меня запугать нельзя. Я умирал на войне, от голода в лагере, я умирал от рака — я смерти не боюсь и ко всему готов». И, глядя на Алю, я тогда подумала, что такая пойдет за ним и в огонь, и в воду, не рассуждая.

По профессии математик, она работала в московском институте до тех пор, пока не родился Ермолай Солженицын, после чего ее с работы выгнали. Кстати, выгнали с работы и исключили из партии и ее мать — Катю. За то, что недоглядела за дочерью, что ли?

Но Аля, посвятившая свою жизнь Солженицыну, была даже рада, что теперь все свое время может отдать его работе, его идеям, быть ему помощницей. Безоглядно пошла она за ним, не претендуя ни на что. Когда во всех перипетиях развода, проходившего у меня на глазах, я однажды зашла к ней, беременной на последних неделях вторым ребенком, чтобы успокоить ее после суда, когда Солженицына снова не развели,— она с посиневшими губами, с болями в животе, только сказала:

— Ну, зачем он все это затеял? Я же говорила ему — будем жить так. Мне ничего не нужно. Ведь ей нелегко, я все понимаю...

Да, все бы ничего, конечно, можно было жить и так, да дети-то? А вдруг его вышлют?

Когда Солженицын закончил свой «Август Четырнадцатого», Слава посоветовал ему не отдавать его сразу на Запад.

— Ты должен известить сначала все советские издательства, что закончил роман.

— Да ведь не будут печатать — рукопись только истреплют.

— А ты и не давай рукописи, а разошли письма во все редакции с извещением, что закончил роман,— напиши, на какую тему, пусть они официально тебе откажут, тогда ты можешь считать себя вправе отдать рукопись за границу.

Солженицын послушал его совета — написал в семь издательств. Ни одно не ответило ни единым словом, будто он и не посылал никому.

Тогда Слава попросил у Александра Исаевича один экземпляр и решил сам пробивать дорогу. Он еще думал, что все может. Что кругом у него друзья-приятели — с кем водку пьет, для кого концерты бесплатно играет, что все они его любят и готовы за него хоть на плаху, так же, как и он за них.

— Я уверен, что во всем виноваты перестраховщики, мелкие сошки в издательствах. Они напуганы заграничным бумом вокруг тебя. Но в романе же нет никакой контры! Я пойду в ЦК. Пусть почитают — я уверен, что сумею их убедить. А если нет, то я первый тебе скажу: отдавай на Запад.

Сначала он позвонил в ЦК, секретарю по идеологии Демичеву. Тот был рад его звонку, спросил о здоровье, приглашал зайти...

— С удовольствием зайду, Петр Нилыч, хоть сегодня. Мне нужно вам кое-что передать. Вы, конечно, знаете, что на нашей даче живет Солженицын. Он сейчас закончил исторический роман «Август Четырнадцатого»...

— Да? Первый раз слышу.

И голос уже совсем другой, холодно-официальный. Слава же, не вникая в интонации собеседника, с энтузиазмом продолжает:

— Я прочитал роман, Петр Нилыч. Это грандиозно! Он сейчас у меня, и я хотел бы привезти его вам, чтобы и вы прочли. Уверен, что вам понравится.

Наступившая затем пауза несколько привела его в чувство.

— Вы меня слышите, Петр Нилыч?

— Да, я вас слушаю...

— Так я через полчаса привезу вам книгу.

— Нет, не привозите, у меня сейчас нет времени ее читать.

— Так, может, кто-нибудь из ваших секретарей прочтет?

— Нет, и у них не будет времени.

Тут уж даже Ростропович понял, что разговор окончен.

Первый блин комом. Не беда! И Слава позвонил Фурцевой, министру культуры СССР. Наученный предыдущим телефонным разговором с Демичевым, к Катерине решил явиться собственной персоной, о чем и сообщил ее секретарше. Та доложила хозяйке, и вот Слава у нее в кабинете. Встретила его Катерина Алексеевна, как мать родная:

— Славочка, как я рада вас видеть! Как поживаете, что Галя, дети?

— Спасибо, Катерина Алексеевна, все хорошо, все здоровы.

— А этот-то — все так и живет у вас на даче?

В разговоре она никогда не называла Солженицына по имени, а только всегда — «этот».

— Конечно, куда же ему деваться? Квартиры нет, не в лесу же ему жить. Вы бы похлопотали за него, чтобы квартиру ему в Москве дали.

— А что же он в Рязани не живет?

— Да потому что он с женой разошелся. Не говоря о том, что там и работать он не может. Ну, в общем, это неважно. Мы рады, что он живет в нашем доме, и нас это совершенно не стесняет. Самое главное, что он здоров, много работает и только что закончил новую книгу!..— с радостью сообщил ей Ростропович, надеясь на лице собеседницы увидеть счастливое выражение от услышанной новости.

— Что-о-о? Новую книгу? О чем еще? — в ужасе закричала она.

— Не волнуйтесь, Катерина Алексеевна, книга историческая, про войну 14-го года, которая еще до революции была! — спешил сообщить ей Слава, думая, что от страха она перепутает все исторические даты.— Я принес ее с собой — она в этом пакете, вы обязательно должны ее прочитать. Уверен, что вам очень понравится.

И он хотел положить рукопись на стол.

Тут уж Катя, забыв свою министерскую стать и свою вальяжность, просто по-бабьи завизжала:

— Не-ет, не кладите на стол! Не кладите ее на стол!.. Немедленно заберите! И имейте в виду, что я ее не видела!..

Так закончилась вторая Славина попытка с книгой Солженицына. Долго он еще ходил с ней, как коробейник, по разным инстанциям. Предлагал ее почитать и нескольким нашим знакомым министрам — тем, с кем мы частенько встречались за бутылкой коньяка, и ни один из них даже не взял ее в руки: каждый хотел иметь возможность в нужный момент сказать: «А я не читал, а я не знаю».

После этого Слава вернул рукопись Солженицыну:

— Конец. Ничего не вышло, Саня. Отправляй ее на Запад.

[...] Однажды, летом 1971 года, Александр Исаевич объявил нам, что едет с приятелем под Ростов и на Дон собирать материалы для своей книги — может, найдет стариков-очевидцев, участников первой мировой войны. Ехать они решили на его стареньком «Москвиче», и мы пришли в ужас от его затеи.

— Да как же вы поедете на нем? Он ведь развалится по дороге. Одно название, что машина, а путь-то дальний — шутка ли: несколько тысяч километров туда и обратно!

— Ничего, потихоньку поедем, будем останавливаться в деревнях. А случится что с машиной — так приятель мой инженер-механик, сами вдвоем-то и починим.

— Смотрите, Саня, будьте осторожны, береженого Бог бережет. Неровен час, устроят вам гэбэшники аварию на дороге, и никто не докажет, что убили. Ехали бы поездом. А еще лучше — сидите безвыездно на даче — самое безопасное место.

Но ему вообще было присуще полное пренебрежение к опасности для своей жизни, и, невзирая ни на какие доводы, Саня уехал, обещая вернуться через две недели.

Дня через три, рано утром, стою я в кухне у окна, жду, когда кофе сварится, и вдруг перед моими глазами появляется Саня. Вернулся! Но что это? Он не идет, а еле бредет, всем телом навалясь на стену веранды, держась за нее руками. У меня внутри все оборвалось. Распахнула двери.

— Боже мой, Саня! Что случилось?

А он медленно вошел в кухню, лицо перекошено от боли.

— Галя, вы только не волнуйтесь. Мне нужно срочно позвонить Але в Москву. Потом все расскажу.

Телефон был только в нашем доме, но после той истории мы настояли, чтобы во флигеле была отводная трубка. Короче говоря, то, что с ним тогда произошло, для меня и до сих пор является загадкой. Ноги и все тело его покрылось огромными пузырями, как после страшного ожога. На солнце он не был. Несколько раз лишь вышел из машины поесть в столовке... А может, подсыпали в еду что-нибудь?.. Конечно, он тут же повернул назад.

Лето в тот год было жаркое, душное. Поставили мы для него раскладушку в тень, под кусты, там он и лежал несколько дней. Слава кинулся к нашему другу — известному онкологу. Уже однажды Александр Исаевич был у него в клинике, когда нужно было делать ему исследования. Правда, друг наш тогда посоветовал на всякий случай записать Солженицына под другим именем. Немедленно приехав к нам на дачу на Славин зов и осмотрев Александра Исаевича, он объявил нам, что его нужно срочно поместить в больницу. А разве можно везти его в больницу, когда страсти вокруг него накалились добела, чего доброго, еще и отравить могут. Нет уж, пусть здесь лежит, ухаживать за ним есть кому.

Спрашиваем доктора: что же с ним такое? Тот отвечает, что похоже на сильную аллергию. Я даже и не представляла, что бывает такая аллергия. Тело в огромных водяных пузырях, они лопаются от малейшего движения, причиняя сильнейшую боль. У моей покойной бабушки были такие, когда она обгорела у печки. Глядя на эти волдыри, невозможно было себе представить, как он при такой боли мог сидеть, скрючившись, в своей маленькой машине.

И вот буквально на другой день после возвращения Александра Исаевича на дачу в панике прибежала к нам Катя, зовет нас к нему.

— Идите скорее! Там такая история произошла, он совершенно в невменяемом состоянии, и я не знаю, что делать.

А случилось вот что. Вернувшись так неожиданно из поездки, он попросил своего знакомого Горлова поехать в село Рождество, взять в домике запасную деталь для машины. Горлов тут же и поехал. Подойдя к дому, он увидел, что замок сорван, дверь не заперта, а изнутри слышны голоса. Он распахнул дверь, и его взорам предстала следующая картина: девять человек в штатском роются в вещах, бумагах[...]

— Кто вы такие и что здесь делаете?

За нежеланным свидетелем, свалившимся, как снег на голову, тут же захлопнули дверь и велели ему замолчать. Он не унимался, требуя предъявить документы на обыск и объяснить: почему без хозяина они проникли в дом? Страсти разгорались, началась потасовка. В комнате теснота, даже непонятно, как они все там и поместились. Его избили, скрутили руки и волоком, лицом по земле, потащили на улицу к стоящей неподалеку машине. Он мгновенно понял, что нужны свидетели, иначе забьют где-нибудь до смерти и следов никто не найдет, и стал кричать, что он иностранец (не поверили, но бить, на всякий случай, перестали). С соседних участков прибежали люди и преградили дорогу. Тогда старший группы предъявил удостоверение КГБ. Горлова затолкнули в машину, а соседям сказали, что поймали вора, что они получили сигнал о намечающемся ограблении (!) дома Солженицына и сидели там в засаде. Горлова привезли в районную милицию, выяснили, кто он, и потребовали дать подписку о неразглашении случившегося. Он отказался наотрез. Ему угрожали, что если узнает Солженицын, то он, Горлов, никогда не защитит диссертации, над которой работает, а сын его не поступит в институт. Дошло до того, что просто сказали: «Если нужно, то мы вас посадим». Он снова отказался подписать и, мало того, сказал, что всем будет рассказывать о происшедшем. Продержав в милиции несколько часов, его выпустили. Он тут же приехал, весь в синяках и ссадинах, в разорванном костюме, на дачу к Солженицыну, и, конечно, тот, узнав, что произошло, пришел в ярость. Александр Исаевич рассказал нам эту дикую историю и показал уже готовое открытое письмо его к Андропову — председателю КГБ,— где требовал немедленного объяснения: по какому праву в его отсутствие работники КГБ делали обыск в его доме, избили и шантажировали ни в чем не повинного человека.

В тот же день Катя отвезла письмо в Москву. Мы были уверены, что, как и всегда, его заявление останется без всякого ответа. Но, к нашему общему удивлению, на этот раз ответили, и довольно скоро,— конечно, не письмом, а по телефону.

Я взяла трубку, слышу мужской голос.

— Это дача Ростроповича?

— Да.

— Кто у телефона?

— Вишневская.

— Здравствуйте, Галина Павловна. С вами говорит полковник госбезопасности Березин. Я звоню по поручению Андропова.

У меня от этих слов сразу сработал рефлекс — заболел живот, и заныло под ложечкой. Но голос вроде любезный. Может, концерт они хотят, чтоб я у них спела?..

— Мы получили от Александра Исаевича Солженицына письмо. Нельзя ли попросить его к телефону?

К сожалению, Александр Исаевич еще был болен и не вставал с постели. Аля подошла к телефону, и ей очень вежливо объяснили, что все жалобы Солженицына не по адресу, и товарищ Андропов лично просил ему передать, что КГБ не виноват, отношения к случившемуся не имеет и советует обратиться в милицию по месту происшествия.

Летом 1972 года в Рязани состоялся второй суд, и снова не развели — «нет повода для развода». Так и объявили. Ребенку уже полтора года, и второй вот-вот родится, а все нет повода для развода.

Саня приехал ужасно расстроенный, издерганный, тут же сел писать заявление в Верховный суд на пересмотр дела. Вскоре, как-то вечером, когда мы все сидели на веранде у Солженицына, зазвонил телефон. Я взяла трубку. Женский голос просит позвать Александра Исаевича.

— Кто говорит?

— Я Алексеева, новый адвокат его жены. Мне нужно говорить с ним по важному делу.

Я передала трубку Александру Исаевичу.

— Я вас не знаю, и мне не о чем с вами разговаривать.

— Пожалуйста, я вас очень прошу, дело не терпит отлагательства. Может, вы завтра приехали бы в Москву?

— Нет, в Москву я не поеду.

— Я могу приехать к вам на дачу. Повторяю, дело очень срочное, касается вашего развода.

— Так скажите мне по телефону.

— Нет, это не телефонный разговор. Я должна говорить с вами лично.

Александр Исаевич повернулся к нам, спросил, можно ли ей приехать сюда, на дачу.

— Конечно, можно.

— Ну, хорошо, приезжайте завтра.

— Как я вас там найду?

— Я вас встречу с трехчасовым поездом.

На другой день Александр Исаевич ушел на станцию встречать Алексееву и вскоре вернулся один.

— Странное дело, не приехала. Я и следующего поезда подождал, но нет никого.

Прошло еще несколько дней. Я гуляла в саду, и меня окликнула какая-то старушка.

— Гражданочка, вам письмо.

— От кого письмо?

— Да вот, мужчина просил передать, а сам уже ушел.

Беру от нее конверт: Солженицыну, и обратный адрес: Алексеева. Письмо без почтового штемпеля, без марки. Показала Славе. Вызвали Александра Исаевича, передали ему письмо, он его тут же открыл, прочитал и весь покрылся красными пятнами.

— Что случилось?

— А вот, читайте. Я так и знал, что она гэбэшница.

В общем, та самая Алексеева, которая так настойчиво просила Солженицына о встрече, написала ему письмо, прочитав которое мы со Славой просто остолбенели. Мы-то были свидетелями, как она настырно приставала к Александру Исаевичу, чтобы он ее принял, а теперь среди прочей клеветы мы прочли примерно следующее:

«Оставьте ваши грязные предположения, я не желаю иметь с вами никаких дел... Хорошо зная, что, будучи адвокатом вашей жены, я не имею права встречаться с вами в неофициальной обстановке, вы как провокатор заманивали меня на дачу... Хотели, чтобы я попала в подстроенную вами ловушку, а вы на очередном скандале делали бы себе рекламу на весь мир... Ваше истинное лицо интригана узнают все ваши друзья, которым я посылаю копии этого письма...» и т. д. — все в том же духе.

И в самом деле, в последующие дни несколько друзей Солженицына получили по почте ее грязную стряпню, а вскоре у нас на даче появилась и Наташа Решетовская на новеньком «Москвиче» (на первые же деньги от Нобелевской премии Александр Исаевич подарил ей машину, сам же так и ездил на старой развалюхе). Подошла к калитке, вызвала меня.

— Галя, мне нужно говорить с Александром Исаевичем.

Хорошо еще, что не прошла прямо во флигель — там Аля лежит, еле шевелится — боли в животе, сердцу плохо, и я боюсь, что от всех переживаний она родит преждевременно. Она хоть женщина сильная, здоровая, а беременности переносила очень плохо. Иду к ним в дом, тихонько вызываю Александра Исаевича.

— Саня, там за калиткой Наташа, хочет с вами говорить.

— Сейчас приду.

— Так я ее к себе проведу. Вы только Але ничего не говорите, ведь на нервах все. Вдруг рожать начнет, что будем делать?

Провела Наташу к себе. Чувствую себя ужасно неловко, не знаю, о чем с нею разговаривать.

— Галя, что нужно сделать, чтобы Александр Исаевич не разводился со мной? Посоветуйте.

Ну что я могла ей сказать? Только правду.

— Наташа, ничего нельзя сделать. У Али скоро будет второй ребенок. У вас же детей нет?

— Я ему ни за что не дам развод. Нас не разведут.

— Но вы же знаете, что если не сейчас, то через год, через два года, но все равно разведут. Зачем вы отравляете жизнь себе и Александру Исаевичу? Зачем копить в себе ненависть?

— Я должна остаться женой Солженицына. Пусть он живет с той, я согласна признать его детей, но женой должна быть я.

— Но он-то на это не согласен. И как же вы можете желать для себя такого унизительного положения? Почему?

— Потому, что если его вышлют из России за границу, с ним тогда поеду я.

После столь веского аргумента я надолго замолчала. К счастью, пришел Александр Исаевич. Я встала, чтобы уйти, но он попросил меня остаться.

— Галя, я прошу вас присутствовать при нашем разговоре, быть свидетельницей. Я больше не доверяю моей бывшей жене.

— Как ты смеешь так говорить! Какие у тебя на то основания?

— Я знаю, что говорю. Ведь мы с тобой прошлый раз, еще до суда, обо всем договорились, ты мне сказала, что не будешь больше возражать против развода, а на суде разыграла комедию. Теперь ты наняла адвоката, и я получил от нее письмо. Вот почитай. Ты и теперь еще будешь говорить, что не связана с этой шайкой негодяев? Откуда ты узнала Алексееву? Тебе ее дали в КГБ? Она ведь только что кончила институт — это ее первое дело. Уж если бы ты выбирала адвоката сама, так выбрала бы знаменитость, а не вчерашнюю студентку. Но тебе дали гарантию решения дела в твою пользу, и ты на это попалась. Я хочу быть тебе другом, а не врагом. Но если ты решила действовать против меня заодно с КГБ, то я не желаю больше знать тебя.

— Я ничего не знала о письме, я первый раз о нем слышу!

Присутствовать при этом разговоре было тяжко. Я видела, что она через силу, через унижение женского самолюбия, играет навязанную ей роль, что роль ей пришлась не по плечу и играет она ее плохо. Порой мне казалось, что она его ненавидит, что сейчас сорвется, не выдержит и выплеснет ему в лицо все, что таким усилием воли сдерживает в себе. И так было бы лучше. Она была милой, хорошей женщиной, но, видно, он был не для нее, так же, как и она не для него, и думаю, что в глубине души она чувствовала это.

Она знала, что развод неминуем: они жили врозь уже почти три года, но старалась тянуть бракоразводный процесс как можно дольше. Это сходилось и с планами КГБ: не придя к окончательному решению, что же делать с Солженицыным, пока давить на него, не давая ему зарегистрировать брак с матерью его детей. В случае высылки за границу угроза была страшной.

— Ты забыл, что мы пережили вместе, как я ждала тебя из тюрьмы!..

— Нет, это ты забыла, что вышла замуж, когда я был на каторге. Я никогда не упрекал тебя, но просто напоминаю, раз ты о том запамятовала.

— Ну, прости меня!..

И она упала перед ним на колени.

Не в силах больше присутствовать, я извинилась и вышла вон.

Но на том день не окончился. Вечером часов в одиннадцать приехала Наташа и с нею какая-то женщина.

— Извините, Галя, что так поздно, но нам срочно нужно видеть Александра Исаевича. Это адвокат Алексеева.

Ну, думаю, дела! Провела их в дом, сама же бегом к флигелю, а там темно, спать уже легли. Стучу тихонько, чтобы не испугались. В окне, как привидение, голова Александра Исаевича.

— Саня, придите ко мне сейчас, важное дело — Наташа приехала с Алексеевой.

Вернулась к ночным посетительницам. Наташа — бледная, усталая, не говорит ни слова. И та, другая, тоже молчит, смотрит в пол. Она произвела на меня странное впечатление своей внешностью: низкорослая, большая голова на короткой шее — тип горбуньи, хоть и не горбатая, бесцветные прямые волосы, большое лицо с землистого цвета кожей. Совсем молодая, лет двадцати трех.

Вошел Александр Исаевич и, оглядевшись, направился через зал к нашему столу. Обе женщины встали и поздоровались. Он, не ответив им и не глядя на них, молча сел на стул.

Уже несколько лет жил он в нашем доме, но именно теперь, в эти мгновения, по тому, как он медленно прошел через всю нашу огромную залу, мне вдруг впервые отчетливо представился его прошлый путь, и щемящая сердце жалость к этому большому человеку наполнила мою душу. Я подумала, что, наверное, вот так много раз он входил на допросы к следователю: вызвали, он и пришел. И так же молча садился. И ждал.

Первой прервала молчание Наташа:

— Это мой адвокат Алексеева. Я приехала с нею, так как утром ты обвинил меня, будто я знала о письме, полученном тобою от нее. Я еще раз говорю, что ничего не знала. Алексеева тебе это может подтвердить. А кроме того, она должна тебе кое-что рассказать.

Вид у нее был смущенный, жалкий, и больше она уже не сказала ни слова.

Александр Исаевич был очень спокоен, нисколько не удивился их появлению.

— Я вас слушаю.

Все так же, не глядя на нас, Алексеева начала бесцветным, вялым голосом:

— Я прошу у вас прощения за то письмо, что вы получили, и хочу рассказать, почему я к вам тогда не попала, когда вы встречали меня. Дело в том, что я приехала трехчасовым поездом, как мы и условились. Но только я вышла на платформу, как меня тут же схватили за руки с двух сторон двое мужчин и ввели обратно в вагон. Это были агенты КГБ. Они привезли меня в Москву, на Лубянку, там меня держа-

На снимках: Весна 1944 года. В блиндаже, недалеко от Гомеля, создавалась «Женская повесть»; заключенный № Щ 282 — Александр Солженицын; Генрих Бёлль и Александр Солженицын.

ли шесть часов и заставили иаписать письмо к вам. Вызывали меня на другой и на третий день. Оии обязали меня делать все так, чтобы у вас не было развода с женой как можно дольше, дискредитировать вас в глазах ваших друзей. Угрожали, что если я ие послушаю их, то вообще буду лишена права работы адвокатом. Что мне делать теперь?

Александр Исаевич спокойно ее выслушал.

— Но ведь это был не первый ваш визит в то учреждеиие — имеиио оии рекомендовали вас моей бывшей жене. Но это так, к слову... Вы спрашиваете меня, что вы должны теперь делать? Вот вам бумага, напишите все то, что вы сейчас нам рассказали.

К моему удивлению, она стала писать. Будто была готова к тому. Меня трясло как в лихорадке. Мие казалось, что я во сие, хотелось ущипнуть себя, чтобы избавиться от этого кошмара. Никогда в моей жизни я ие присутствовала при подобных разговорах. Видя, что у меня зуб на зуб не попадает, Саня усмехиулся:

— Да, Галочка, не для таких сцен строил Слава этот зал.

Дописав письмо, Алексеева дала его Александру Исаевичу, и он прочитал его вслух: «...я была не права. Я не так поняла приглашение на дачу... прошу извинеиия... и т. д. Алексеева».

— Нет, меня это ие устраивает. Если вы решили увиливать, то договора у нас с вами не получится. Вы напишите то, о чем вы нам здесь рассказали.

И снова, без всякого сопротивления, она стала писать:

«...По моей иастоятельной просьбе Солженицын согласился прииять меня, но я была арестоваиа агеитами КГБ на станции Ильииское... Меня несколько часов допрашивали, заставили написать клеветиическое письмо и послать Солженицыну и его друзьям...» В общем, все, что она нам рассказала. И подписала — Алексеева.

Передав его Александру Исаевичу, она вдруг спросила — а что же он собирается сделать с этим письмом?

— Ровиым счетом ничего,— ответил он.— Но если первое письмо, та ваша грязная стряпня, появится в «Литературной газете», то вот это ваше письмо сможет прочитать весь мир. Так и передайте тем, кто вас сюда сегодня прислал, и считайте, что их поручение вы сиова выполнили.

И опять оиа молчала. Мие так хотелось двииуть по ее бесцветиой физиоиомии, вышвырнуть из моего дома:

— Вы вызываете во мне омерзеиие, и мне страшно смотреть иа вас. Если вы так грязио и подло начали свою жизиь, так чем же вы ее закоичите?!

— Ах, вы не зиаете, что у иас могут сделать с человеком!

Александр Исаевич встал и, извинившись передо мной и пожелав мне спокойной ночи, ушел.

Развел Солженицына с бывшей женой лишь третий суд, когда Аля ждала третьего ребенка, после чего они оформили свой брак и венчались в апреле 1973 года, в той же церкви на Обыденке, где крестили их первого сына Ермолая. А меньше чем через год Солженицына выслали за границу.

И вот теперь я спрашиваю себя, почему все-таки власти так долго терпели присутствие Солженицына в нашем доме? Ведь они могли просто выслать его в официальном порядке, как не прописанного на нашей жилплощади. В Советском Союзе это серьезное иарушение закона, и под его прикрытием они могли действовать смело. Тут не помогли бы никакие возражеиия зиаменитых артистов.

Все эти приходы время от времени милиционеров, разговоры, давление на нас властей с требованием, чтобы он от иас уехал, иначе у нас отнимут дачу, мне сейчас кажутся просто игрой. У нас в таких случаях не уговаривают, и никакие мнения, в том числе и мировой общественности, не играют тут никакой роли. Власти могли организовать «мнение» академиков иашего поселка, и те потребовали бы выслелить Солженицыиа. Вон Сахарова выбросили из собственного дома и без всякого суда сослали в Горький [...]

Расчет скорее был на то, что Солженицын будет чувствовать себя связанным гостеприимством совсем недавно еще чужих ему людей, будет более сдержанным в своих высказываниях и, проживая в запретной зоне, будет более изолированным от общества. Они не приняли в расчет самого главного, а именно, что Солженицын, впервые в жизни получив возможность жить и работать в тишине, в нормальных бытовых услових, копил в себе физические и духовные силы для борьбы с ними же.

Но в какой-то мере они не просчитались.

Не желая подвергать нас ответственности за происходящее в нашем доме, он потребовал от нас никому не давать его адреса, никогда не встречаться в Жуковке с иностранными корреспондентами, а когда те внезапно появлялись, просто не открывал им двери. Жил отшельником и никого, кроме самых близких людей, не принимал у себя.

Мы тоже в те годы не приглашали иностранцев на дачу, чтобы не давать повода думать, что через них Солженицын передает свои рукописи за границу. Наверное, и слежку за иим легче было осуществлять в деревне, а не в Москве.

Около нашей дачи, ни от кого не таясь и не прячась, КГБ

устаиовил дежурство — черная «Волга», а в ией несколько человек. Проезжая мимо них, Слава им сигналил, как старым знакомым.

Что касается самого дома, то через домработниц, часто меияющихся на даче, нетрудно было установить подслушивающие аппараты в любом количестве. Вскоре после нашего отъезда из России на дачу пришли пять человек в штатском. В то время там жила наша приятельница.

— Здравствуйте. Нам нужно пройти в дом.

— Я не могу вас впустить без Вероники Леопольдовны — сестры Ростроповича, а ее сейчас нет.

— Мы из КГБ, нам нужно пройти.

— Предъявите документы.

Те предъявили свои книжки — КГБ,— а перед этим могущественным заведением ни один советский человек не закрост дверь.

— Проходите... Я могу идти с вами?

— Пожалуйста.

Думая, что они хотят осмотреть внутренние комиаты, она хотела повести их в главный дом.

— Нет, нет, нам нужно пройти только на веранду малого дома.

Она их провела туда, и они, не стесняясь ее присутствия, подняли в углу ковер, отодвинули доски и вытащили из-под пола довольно больших размеров железный ящик с таинственной аппаратурой, причем с таким цинизмом, без всяких сантиментов. По-деловому пришли на работу, сделали свое дело и, попрощавшись, ушли, забрав свое имущество.

После Славиного письма власти, конечно, сразу стали нас прижимать, особенно его, и продолжали это благородиое занятие три с половиной года. Сначала его отстранили от Большого театра, потом постеиенно сняли все заграиичные поездки. Наконец подошло время, когда столичным оркестрам запретили приглашать Ростроповича... А вскоре ему не давали зала в Москве и Ленинграде уже и для сольных концертов.

И вдруг позвонили из университета, что на Леиинских горах, с просьбой сыграть для них концерт! Слава с радостью согласился. В день концерта утром звонок:

— Ах, Мстислав Леопольдович, сегодия у иас вы должны играть, но тут случилось непредвиденное собрание, и зал вечером занят. Вы нас извините, и может, согласитесь сыграть в другой день? Мы вам позвоним.

А поздно вечером звонят студенты университета:

— Мстислав Леопольдович, как вы себя чувствуете?

— Прекрасно, спасибо.

— А у нас повесили объявление, что вы заболели и потому концерт отменяется.

— А мне сказали, что у вас зал сегодня вечером занят каким-то срочным собранием.

— Да ничего там нет.

— Ну, значит, мне и вам наврали.

Приехала в Москву группа сотрудников Би-би-си из Лондона, позвонили домой.

— Мы снимаем сейчас фильм о Шостаковиче и, коиечно, надеемся, что вы примете участие.

А столько уже было всяких отказов. Надоело быть игрушкой в руках мелких сошек из разных министерств, и иа этот раз мы отказались сами:

— У нас нет времени, мы сниматься не будем.

На другой день звонят из АПН и слезно умоляют принять участие в фильме.

— Мстислав Леопольдович, мы делаем фильм о Шостаковиче совместно с Би-би-си, а вы и Галина Павловна столько музыки его играли, без вашего участия не может быть фильма.

— Да ведь опять запретят.

— Нет, у нас есть разрешение. Это наше официальное приглашение.

— Ну, хорошо, пусть приедут представители фирмы к нам домой.

Оии пришли к нам, милые, славные англичане, и мы договорились, что Слава сыграет в фильме часть из виолончельиого коицерта, а я спою арию из «Леди Макбет» и коечто из Блоковского цикла. В день назначенной съемки мы дома репетируем, готовимся — в три часа должиа приехать машииа. В три часа нет, в четыре — нет и в шесть — тоже. И ничего — ни звонков, ни письма, просто не приехали. Сами мы, конечно, никуда звонить не стали — все уже осточертело. Ночью пришел Максим Шостакович и сказал, что в ЦК запретили снимать меня и Славу.

Случилось так, что буквально через несколько дней мы обедали у английского посла. Кроме нас, были еще и гости из других посольств, и Слава ие сдержался — при всех за столом объявил:

— Господин посол, я всегда считал Англию страиой джентльмеиов. Но несколько дней тому назад я был разочарован и поражен иевежливостью англичаи.

За столом иаступила гробовая тишина, а посол весь вытянулся и даже побледнел.

— Простите, я вас ие понял...

— Английская фирма попросила иас сииматься в фильме. Мы согласились. В иазиачеииый час за нами должны были приехать. Мы ждали их иесколько часов — я во фраке, Галина Павловна в концертном платье, а оии не только ие приехали, но даже и не позвонили иам, чтобы извиниться и объяснить, что же произошло.

Посол из белого стал багровым и, не говоря ни слова, выскочив из-за стола, побежал в другую комиату — звонить по телефону. Вскоре ои вернулся и рассказал следующую историю. Оказывается, иакануне съемки из того же АПН позвонили представителю Би-би-си и сказали ему, что Ростропович и Вишиевская уехали из Москвы по каким-то срочиым делам и отказались сниматься в фильме. Поэтому они нам и не позвонили и тут же уехали в Лондон.

Рассказывали, что фильм вышел на экраны, и в аиглийском варианте в него вмоитировали старую пленку с участием меня и Славы. Не зиаю, что именно. Я фильма ие видела.

Звонит из Лондоиа Иегуди Меиухин:

— Галя, где Слава?

— Ои уехал на концерты в Ереван.

— Как его здоровье?

— Хорошо.

— Он должен приехать к нам с коицертами, ио нам прислали телеграмму, что ои болен. Что делать?

— А ты скажи всем, что говорил со мной и я тебе сказала, что министерство культуры врет. Ростропович здоров и может выехать, но его не выпускают.

[...]Я продолжала петь в Большом театре столько, сколько мне хотелось, в этом ограничений мие никаких не было.

Еще в 1971 году наградили меня ордеиом Ленииа и даже выпускали за границу: последияя моя поездка была в Венскую оперу в 1973 году — я пела «Тоску» и «Баттерфляй».

Просто обо мне перестали писать в центральных газетах. Мой голос больше ие звучал по радио, по телевидеиию; что бы я ни спела — все падало в бездонную пропасть. Если бы мы жили в век, когда не было не только радио, но и прессы, то так же можно было бы выходить на сцеиу и делать свое дело. Но рядом со мной, окружеиной стеиой молчания, шла другая, цивилизованиая жизнь, где технические достижения человеческого разума давали людям ииформацию о культурной жизни страны, но без меня и Ростроповича.

Этим власть старались ие только уиизить иас, ио создать атмосферу пустоты, незаинтересованности в нас, ненужности нашего творчества. Но я в коице концов имела свое привилегированное место на сцене, где могла предъявить мое искусство. У меия был прежиий уровеиь — столичиый театр, великолепный оркестр, я могла сохранять свою прежнюю творческую форму и, пользуясь иеизмеииым успехом и любовью публики, окруженная поклоиниками и почитателями, стараться не замечать гнусиую возию вокруг меня. Но сколько же на это ушло душевных сил!

Совсем в другом положеиии оказался Слава. После блистательных оркестров Америки, Англии, Германии, после общеиия с выдающимися музыкантами современности ему пришлось опуститься в болото провииициальной жизии России. Теперь ои играл с дирижерами, оркестрами, которые, как бы они ни старались, ие могли даже приблизительно выразить идеи такого музыканта. Значит, каждый раз нужно было идти иа творческий компромисс, постеиеино снижать свой исполнительский уровень, приспосабливаться к посредственности. В этих случаях на помощь, по старой русской традиции, приходит водка, и Ростропович ие оказался исключением. Все чаще выпивал ои после концерта родимую поллитровку и все чаще хватался за сердце — мучили приступы стенокардии. Нужно было срочно вмешаться, оградить его от пьяных компаний, снова хлебнуть провинциальной жизни.

Позвонили мне из Саратовского театра, умоляют спеть у них Тоску.

— Помогите, Галина Павловна, театру. Публика совсем не ходит, только на гастролях и держимся.

Видя, как изнывает в вынужденном бездействии Слава, я решила поехать и попросила его продирижировать спектаклями. Он с восторгом согласился, чуть ли не на десять дней раньше выехал в Саратов, чтобы подготовить оркестр, да и самому интересно поработать — первый раз «Тоской» дирижирует. И вот я, впервые за много лет, выехала в Советском Союзе на гастроли [...]

Этим же летом Саратовский театр выезжал на гастроли в Киев, и просили меня и Славу приехать хотя бы для двух спектаклей «Тоски». На этот раз я отказалась, и никакие уговоры Ростроповича уже не помогли. Мне нужно было отдыхать, готовиться к новому сезону, и я прочно засела на даче. Слава согласился приехать и разработал генеральный план: возьмет с собой Ольгу и Лену, поедут на машине до самого Киева, не торопясь, останавливаясь по дороге в разных интересных местах. Девчонки, конечно, ликовали: Киева они еще не видели, а самое главное — отец едет дирижировать, и они будут сидеть на всех репетициях и спектаклях.

Выехали на рассвете, набрав с собой разных туалетов, продуктов побольше, вооружившись картами. Первая ночевка в Бряиске. А через день к вечеру вернулись в Жуковку с унылыми физиономиями... Оказывается, в Брянске, куда они добрались уже к ночи, их ждала телеграмма из Киева о том, что в связи с переменой программы гастролей спектакли «Тоски» отменяются.

Потом нам рассказали, что киевские власти просто запретили появление в их городе Ростроповича, в публике объявили, что он уехал за границу и отказался дирижировать в Киеве. Спектакли же «Тоски» состоялись, только с другим дирижером.

Но тогда, в Саратове, я «Тоску» спела, правда, чуть не прирезала иа сцене их баритоиа — Скарпиа.

Я всегда очень тщательно репетирую сцену убийства, потому что пения у меня и у Скарпиа уже почти не остается до конца акта, можно дать волю темпераменту и такое «нанграть», что только держись.

Я объяснила партнеру, что убивать его буду не в спину и не в сердце, а в горло около ключицы.

— Когда вы подойдете ко мне и обнимете меня, я тоже обниму вас левой рукой за шею, потом правой сверху ударю...

— О, как эффектно! Обязательно так сделаем!..

И тут я увидела, что держу в руке настоящий острый нож!.. У меня в глазах потемнело...

— Да вы что, с ума сошли! Где режиссер? Немедленно замените иа бутафорский и не забудьте, проверьте на спектакле. Я беру нож со стола, стоя к нему спиной, я не увижу его и схвачу, что есть под рукой...

— Не волнуйтесь, Галиия Павловна, я распоряжусь.

— Так вот, я вас очень прошу, давайте точно условимся: как только я вас обиму за шею, вы уж не делайте ии малейшего движеиия, иначе я могу вас иечаянно ударить в лицо.

— Ну, это такие пустяки, не стоит и говорить, я все учту и все запомню.

На спектакле он, конечно, обо всем забыл и решил перед «смертью» еще поиграть. С воплем «Тоска ты моя!» он схватил меня в объятия, я, как и договорились, обвила его шею левой рукой и... в это мгновение ои рванулся влепить мне поцелуй, а я полоснула его по уху настоящим ножом — забыли поменять!

Находясь в состоянии сцеиического экстаза, я даже не удивилась, увидев льющуюся кровь по лицу убитого мною Скарпиа, и пришла в себя только от дико вращающихся глаз мертвеца...

Как ои дотерпел еще и не вскочил с пола до закрытия занавеса?..

Вскоре я была в Веие с «Тоской», и у меня в этой же самой сцене произошла совершенно жуткая история — чудо, что я вообще осталась жива.

В спектакле пели тогда великолепные певцы: Пласидо Доминго — Каварадосси и Паскалис — Скарпиа. Во втором акте, в кабинете Скарпиа, иа письменном столе и еще в двух-трех местах стояли огромные канделябры с зажженными свечами, такими большими, что их колеблющееся пламя видно было с галерки. У нас в Большом театре запрещеи живой огонь на сцене, даже папиросу по ходу действия понастоящему не дадут закурить — нельзя зажигать спичек. Естественно, нет надобности обрабатывать костюмы и парики противопожарным раствором, как это делают на Западе во всех театрах. Я, коиечно, ничего об этом не знала, так же, как и администрация Венской оперы, разрешившая мне выйти в моих костюмах и париках, предварительно не обработанных против огия.

Я, по своей мизансцеие, как всегда, стояла у стола, совсем упустив из виду, что за моей спиной пылают свечи. Когда же Скарпиа бросился ко мне и я вонзила в него нож, с силой оттолкнув потом его от себя, я всем телом откинулась назад, и мой большой нейлоновый (!) шииьон притяиуло к огню. В ажиотаже этой безумиой по драматическому напряжению сцены я бегала с ножом в подиятой руке вокруг корчившегося в предсмертных судорогах Паскалиса, не зная, что произошло только что за моей спиной... как адруг мой слух пронзил женский визг (первой закричала сидевшая в зале моя австрийская подруга Люба Кормут). В ту же секунду я услышала над своей головой треск, будто зашипела ракета фейерверка. Я почувствовала, как весь мой огромный шиньон поднялся вверх. В глазах замелькал ослепительный свет, и сквозь него я увидела вскочившего на ноги «убитого» мною Скарпиа... С криком «Фойер, фойер!» ои ринулся ко мне и, схватив за руки, повалил меия иа пол. Как молния мелькнула мысль: горит платье!.. Инстинктивно ухватившись за ковер, я пыталась зарыться в него лицом... моих рук косиулось пламя... горят волосы!.. схватив горящий шиньон обеими руками, я что есть силы стала рвать его и, наконец, выдрала вместе с собственными волосами... Вскочив на иоги, я увидела бегущих ко мне из всех кулис людей... Почему ие слышно музыки?.. ведь я не докончила акта... почему меня уводят со сцены?..

Потом в газетах писали, что, убив Скарпиа, я бегала вокруг него и вдруг на глазах у публики мой длинный шиньон взвился вверх, а я остановилась в центре сцены, как горящий факел.

Когда аскочивший Паскалис бросил меня на пол, дали занавес. В публике паника, крики — думали, что я сгорела. Видя, что я стою на ногах, директор выбежал перед занавесом и объявил, что, кажется, нет серьезных ожогов. Меия же заботила только одна мысль, что нужно срочио иадеть новый шиньон и продолжить спектакль.

— Скорее приисситс другой шиньон, слишком большая пауза!..

На меня смотрел директор театра как на кретинку.

— Вы что, собираетесь петь?

— Конечио... скорее принесите шиньон!

Я не замечала, что врач бинтует мне руки, что у меня сгорели иогти иа обеих руках. Для меня во время исполнения роли все, что я делаю на сцене, так важно, как вопрос о жизни и смерти. Если бы мне отрезали голову, только тогда я не смогла бы допеть спектакля.

После десятиминутной паузы я снова стояла у стола, сзади меня горели те же самые канделябры, вступил оркестр, и пошел занавес. Что творилось в публике — описать невозможно. Я могла не петь, так они кричали. Я второй раз убила Скарпиа, и мы продолжали спектакль, а в третьем акте Доминго пел «o dolci mani» и плакал настоящими слезами, держа мои забинтованные руки.

Я была в каком-то ошалевшем, счастливом состоянии. После спектакля мы с Любой пошли в ресторан, хорошо поужинали, выпили вина, после чего я вернулась в отель и крепко уснула. Конечно, я получила нервный шок, что и не дало мне осознать всего ужаса случившегося.

Проснувшись утром, я заказала кофе, сняла повязки с рук. Увидев пузыри на них и почерневшие обгорелые ногти, я только теперь ясно, отчетливо поняла, что случилось со мной иакануие, и у меия онемели ноги и все поплыло перед глазами. Да ведь я же буквально чуть не сгорела на глазах у публики! Спасло меня то, что на мне было не нейлоновое платье, иначе я лежала бы сейчас в больнице изуродованная, с обожженным лицом...

Зазвонил телефон.

— Я слушаю.

— Это кто? — Знакомый женский голос, говорит по-русски.

— Это я...

— Кто вы?

По голосу вроде похоже, что говорит секретарь директора Большого театра.

— С вами говорит Вишневская.

— Галина Павловна, дорогая, это вы? Живы? Что случилось?

— Нина Георгиевна, почему вы звоните?

— Ах, сегодня по Би-би-си кто-то слышал и не понял, то ли горела Вишиевская, то ли сгорела, сейчас позвонили нам в театр. Я боялась вам звонить, даже не поверила своим ушам, что слышу вас.

Я рассказала ей обо всем случившемся и попросила позвонить домой Славе, пока не дошли до них слухи [...]

Когда через год, летом 1974 года, приехала в Москву миланская Ла Скала, то среди прочего привезли они и «Тоску» — пели Кабайванская и Доминго. Ла Скала выезжает на гастроли, как правило, с одним составом певцов, и когда в какой-то день заболела Кабайванская — спектакль оказался под угрозой замены. Доминго предложил пригласить меня, и итальянцы обратились в нашу дирекцию.

— Но это, к сожалению, невозможно. Галины Павловны нет в Москве.

— Как нет? — возопил Доминго.— Я с нею говорил по телефону, я завтра у нее дома обедаю.

— Ах, правда? Ну, это неважно, она не поет Тоску по-итальянски.

— Поет! — не унимался gran tenore.— Я с нею в прошлом году в Вене пел.

Через час им сказали, что звонили мне домой и что я от участия в «Тоске» отказалась.

Все это рассказал мне Доминго, сидя за столом в моей московской квартире.

— Неужели они вам не позвонили и не спросили вашего согласия?

— Конечно, нет. Ведь я живу в Советском Союзе[...]

В один прекрасный день пришли к нам двое друзей — певцов из Большого театра. Они даже не вошли, а, скорее, ворвались, радостные, возбужденные, и, едва поздоровавшись, утащили Славу в кабинет для секретного разговора.

Через некоторое время оттуда вылетел Слава, зовет меня.

— Что случилось?

— А вот, пусть они сами тебе расскажут... Ну, ребята, пока! Я должен уйти, и на меня не рассчитывайте. Я подписывать не буду.

— Слушай, Галя, уговори Славу, все так потрясающе устраивается! Мы пришли от очень важных людей, нас послали специально к Славе с серьезным разговором. Сейчас организуется письмо против Сахарова. Если Слава его подпишет, то завтра же будет дирижировать в Большом театре, будет ставить любые спектакли, все, что захочет.

— Что?! Ты хочешь, чтоб я его уговорила? Да если он подпишет — я придушу его своими руками. Как ты, мой друг, смеешь предлагать мне такое, и за кого ты принимаешь Ростроповича?

— Но что особенного? Кто обращает внимание на все эти письма? Все так делают.

— А вот Слава не сделает.

— Почему?

— Ты ие понимаешь, почему? Да чтобы наши дети не стыдились своего отца и не назвали его когда-нибудь подлецом. Понимаешь, почему?

— Но ты же видишь, что он может погибнуть как музыкант...

— Ничего, не погибнет...

— Он, такой великий артист, мотается по провинциальным дырам, играет черт знает с какими оркестрами, а он так нужен Большому театру — ведь все разваливается. Только Ростропович может еще спасти дело, которому мы с тобой отдали двадцать лет жизни. Сейчас реальный шанс стать ему во главе театра. Если же он письма не подпишет — путь ему в Большой театр закрыт.

— Ну что же, значит, он никогда не будет дирижировать в Большом театре, но останется порядочным человеком, останется Ростроповичем.

Удавка, накинутая на шею, подтягивала все туже и туже.

Приехал на гастроли из Сан-Франциско симфонический оркестр с дирижером Сейджи Озавой. Концерты их были запланированы давно, и по контракту в них должен был участвовать Слава. Как ни старались власти убрать его из московской программы, американцы не поддавались, и вот — о чудо! — пришлось позволить Ростроповичу выйти в Большом зале Консерватории с концертом Дворжака. Конечно, сбежалась на концерт, что называется, вся Москва. Слава играл великолепно, но меня потрясло другое — то, как он вышел на сцену, как сидел, как кланялся публике... По тому, какими благодарными глазами он смотрел на Озаву, который был лишь в начале своей карьеры, как был признателеи каждому артисту оркестра за то, что благодаря им он играет в великолепном зале,— я вдруг с ужасом увидела, что у Ростроповича в самой глубине четко наметилась будущая губительная трещина, что он очень скоро может полететь вниз.

В концертном зале, а потом и дома до глубокой ночи шло ликование. Друзья, поклонники, музыканты: гениально... гениально... феноменально... Все целовались, обнимались, счастливые, что в этот вечер слышали Ростроповича... великому артисту дали зал в Москве! А ведь, в сущности, нужно было устроить буит, выразить возмущение, что ему зал не давали и впредь тоже не дадут. Но это уже Советская Россия...

Наконец все ушли, и мы остались вдвоем. Видя сияющего, счастливейшего Славу, я долго не могла решиться начать разговор.

— Слава, то, что я скажу тебе сейчас, не скажет никто другой. Тебе это не понравится, но мы с тобой одни, никто нас не слышит и не узнает, что я скажу тебе. Сегодня вечером ты играл...

— А что, что? Я плохо играл? Неправда, я хорошо играл...

— Нет, играл ты великолепно, ты не можешь плохо играть. Но тебе нужна большая публика, ты должен ездить за границу, иначе тебе конец. То, что ты все эти годы играешь в провинциальных дырах, уже оставило след в твоей душе. Ты теряешь свое качество великого артиста, который должен быть над толпой, а не с нею, ты теряешь высоту духа. Ты мне ничего не говори и не отвечай. Я сама артистка и знаю, как больно тебе это слышать, особенно после такого триумфального концерта. Но я была обязана сказать тебе... А теперь, если хочешь, можешь забыть наш разговор.

Весной 1973 года пригласили нас принять участие в музыкальном фестивале по волжским городам с симфоническим оркестром г. Ульяновска. Слава согласился, из-за него пришлось принять приглашение и мне.

Кандидатура Ростроповича обсуждалась на специальном совещании в министерстве культуры — можно ли допустить его к дирижерскому пульту оркестра из города, где родился и качался в колыбели вечно живой Ильич. После сильнейших дебатов постановили, что можно, но... без лишнего шума. Приехав на концерт в эту «столицу мира», первое, что Слава увидал, идя по улице,— это расклеенные на афишных щитах объявления о важнейшем событии в городе, о выставке кроликов. Из-под объявлений в начале и в конце торчала его фамилия Рос.....ич. Заклеить афишу дал распоряжение первый секретарь обкома Скачилов, чтобы люди не шли на концерт, думая, что он отменен. Но фамилия оказалась очень длинной — не хватило кроликов, чтобы заклеить[...]

Увидев из-под кроликов лишь свою торчащую голову и пятки, а вечером на концерте — пустой зал, возмущенный Ростропович тут же послал телеграмму Брежневу с требованием прекратить издевательства, срывы концертов, дать ему возможность работать, в противном случае он вынужден бросить свою профессию. О чем и сообщил мне.

— Да кого же ты напугать собрался?

— Не пугать, но не захотят же они лишиться такого музыканта! Они должны вызвать меня и говорить со мной.

— Ну, я знала, что ты наивен, но не до такой степени. Тебе же с детства вбивали в голову, что незаменимых в этой стране нет. И что ты для них за птица такая, что они будут с тобой разговаривать? Ты для них такой же смерд, как и все прочие. Подумаешь, Брежнева захотел испугать, что бросишь свою профессию. Ну и бросай, глуши водку стаканами, скорее сопьешься или инфаркт получишь, они только этого и ждут. Доставишь им этим большое удовольствие.

— Нет, но какое свинство... Я приезжаю на концерт в эту дыру, и эта сволочь имеет наглость заклеить мои афиши...

— Подожди, то ли еще будет. Ты вспомни, что Шостаковича, Прокофьева и Пастернака хлестали по щекам. Раз ты на них замахнулся — они будут делать все, чтобы свести тебя к нулю. Я тебя предупреждала, но ты мне не верил... Меня терпят в Большом театре только потому, что не могут просто уволить с моим званием народной артистки СССР, а до пенсии мне еще несколько лет. Придраться же к моей

профессиональной форме невозможно — я пою лучше других и выгляжу тоже лучше других. Но каждый раз, когда я выхожу на сцену, я шкурой своей чувствую, как чьи-то глаза впиваются в меня в надежде, что у меня наконец не выдержат нервы, что я сорвусь и тогда можно будет со мной расквитаться. Какого мне это стоит напряжения, как мне тяжело все это и оскорбительно — не знает никто на свете, и прежде всего ты. Но я знала, что меня ждет, а потому никому не жалуюсь, хожу, задрав голову вверх назло всем моим завистникам, и торчу у них как кость в глотке.

Оркестру предоставили небольшой пароход. Маршрут начинался с города Горького — на Западе теперь известного как место ссылки Сахарова,— затем Казань, Куйбышев, Саратов, Волгоград, Астрахань. Конечно, у нас каюта «люкс». Крохотная, как и все, отличается она от других лишь тем, что есть в углу маленький умывальник. Ни уборной, ни ванной, естественно, в «люксе» нет. Гастроли наши длились примерно месяц.

Дали мы за это время около двадцати концертов. Конечно, во всех афишах значились наши имена, и от публики отбою не было. Появлялось много рецензий, всегда восторженных. Хвалили оркестр, благодарили за высокое искусство дирижера и певицу, не жалея восклицательных знаков. Все было. Только имен певицы и дирижера не было.

Тут уж не свалишь на какого-то перестаравшегося идиота. Ясно, что приказ шел из ЦК по всей стране...

Осенью 1973 года Большой театр выезжал на гастроли в Милан. Не желая больше позволять властям бить меня по самолюбию, я решила отказаться от гастролей и пошла к директору театра, недавно назначенному Кириллу Молчанову.

— Кирилл Владимирович, вы умный и порядочный человек, мне не нужно вам долго объяснять, в каком положении я оказалась. Вы знаете, что по указанию, исходящему из ЦК, меня как прокаженную изгнали из радио, телевидения, мое имя запрещено упоминать в прессе.

— Да, это я знаю и всей душой вам сочувствую.

— Тогда как вы себе представляете мое положение сейчас, когда театр едет в Милан? Ведь изо всех итальянских рецензий на спектакли с моим участием, которые перепечатают в советских газетах, вычеркнут мое имя. Терпеть такое унижение перед всей труппой я не намерена и за себя не поручусь. Поэтому во избежание громкого скандала, да еще за границей, я прошу вас освободить меня от поездки.

— Да никогда я на это не соглашусь! Не говоря уж о том, что и министерство культуры не пойдет на такой скандал — итальянцы подумают, что вас не выпустили из-за Солженицына.

— Честно говоря, мне совершенно безразлично, что скажут итальянцы. Мне все смертельно надоело. Я устала от мышиной возни вокруг меня.

— А может быть, вам стоит пойти поговорить с Фурцевой?

— Зачем? Я не хочу ехать в Милан, и вы, как директор театра, ей об этом скажите. А если она будет настаивать на моем участии в гастролях, то передайте ей, что я требую гарантии, что не повторится недавняя история с волжскими концертами, когда во всех напечатанных рецензиях обо мне умудрились не назвать моего имени. И чтобы было без обмана! В противном случае я созову в Милане корреспондентов и дам такое интервью, что чертям тошно станет. Вы знаете, мне есть о чем рассказать. И уж я свое обещание сдержу. И еще скажите ей, что если ее беспокоит, что подумают итальянцы, коль я не приеду, то я сама дам телеграмму, что сильно простужена и потому не могу выехать.

На другой день он позвонил мне и сказал, что был у Фурцевой, в точности передал ей наш разговор, и Катерина Алексеевна очень просит меня ехать в Милан и ни о чем больше не беспокоиться. Что она сама пойдет в ЦК партии говорить о создавшейся ситуации, и, конечно, заверила, как всегда: «Клянусь честью, я все улажу» [...]

Накануне отъезда в Милан ко мне домой поздно вечером пришла сотрудница кассы Большого театра и принесла 400 долларов, прося передать их одному из работников администрации, который находился уже в Милане и с которым я была в хороших, приятельских отношениях.

— Так что же он сам-то не взял? Он всего два дня как уехал.

— Я не знаю, он просил меня передать их вам.

— Но он, да и вы, прекрасно знаете, что из всей группы именно меня первую могут обыскать на московской таможне — не везу ли я на Запад рукописи Солженицына. И если найдут доллары — это уголовное дело.

— Но кто же посмеет вас обыскать!

— Нет, не возьму.

— Очень жаль, он был уверен, что вы не откажетесь...

Она как-то съежилась и поспешила уйти [...]

Расчет, конечно, был на то, что я возьму доллары, а меня на таможне обыщут, со скандалом устранят от гастролей и обвинят в валютных сделках. Доказать, что деньги получила от стукачки, я не смогу — не было свидетелей,— и загалдят на весь мир, что доллары от «продавшего за золото свой народ» Солженицына. И, мало того, захотят — так и показательный судебный процесс устроят за «валютные операции».

Ненависть властей к нему достигла к тому времени своего предела — они прочли «Архипелаг ГУЛаг», рукописный экземпляр, хранившийся в Ленинграде у его знакомой Е. Воронянской. Как они напали на ее след, я не знаю, но Александр Исаевич рассказывал нам, что ее допрашивали в КГБ пять суток непрерывно, после чего она открыла место хранения рукописи и, вернувшись домой, повесилась.

Благодарение Богу, я не попалась в подстроенную ловушку. А ведь мне очень хотелось удружить моему приятелю. Но самое интересное, что он, который якобы так просил взять для него деньги, меня о них в Милане даже и не спросил. Не знал! Забыли его предупредить, что ли? [...] В советских газетах были перепечатаны восторженные рецензии итальянцев на «Онегина» с моим участием, а в «Известиях» от 1 ноября даже поместили такую фразу: «...все итальянские газеты обошла фотография Г. Вишневской, рецензенты называют ее лучшей певицей нашего времени». Это было последнее, что прочли обо мне в советской печати граждане России. С тех пор меня упомянули лишь раз в тех же «Известиях» 16 марта 1978 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР нас лишили гражданства.

Наконец, дошло уже до того, что мы приняли приглашение Московского театра оперетты для постановки «Летучей мыши» Штрауса. Весь свой талант, все, что застоялось в нем, не находя выхода, вложил Ростропович в эту свою работу и с утра убегал в театр. Я же так на сценические репетиции и не вышла: мне все казалось, что это напрасный труд, что что-то произойдет и дирижировать спектаклем ему в Москве не дадут, будь то хоть оркестр цирка. Но, чтобы не лишать его энтузиазма, я ему, конечно, не говорила правду, почему я все не начинаю репетировать на сцене. Иногда я сидела в зале, слушая, как он из оркестра полуинвалидов пытается создать шедевр. Что и говорить, конечно, они с ним играли так, как никогда ни до него, ни после, но ведь, как бы они ни старались, это все равно был низкий уровень, куда опустился великий музыкант, и видеть это было выше моих сил. Он, конечно, сам понимал, что падает на дно, но никогда не признался мне в этом, может быть, из-за мужского самолюбия, что я оказалась права, когда предсказывала ему все, что с ним случится. Он только стал замыкаться в себе, что ему было совсем не свойственно, и появился у него растерянный взгляд, опустились плечи... Больше всего он не хотел, чтобы именно я видела его в унижении [...]

Когда Солженицын был уже насильственно выдворен из страны, Демичев разрешил Ростроповичу дирижировать оркестром Большого театра на записи «Тоски» на студии грамзаписи «Мелодия», а партию Тоски должна была петь Вишневская. Это походило на полную реабилитацию, но когда первый акт был уже записан, внезапно выяснилось, что эта запись «Мелодии» не нужна!.. И Вишневская убедила своего «беззащитного Славу» обратиться к Брежневу с просьбой разрешить всей семьей на два года отъезд за границу. Через две недели Фурцева говорила им: «Кланяйтесь в ножки Леониду Ильичу — он лично принял это решение. Оформим ваш отъезд как творческую командировку». Ростропович уезжал первым, а Вишневская задерживалась, чтобы дать возможность дочери Ольге сдать приемные экзамены в консерваторию...

[...] Рассказал он мне за границей, как за два дня до отъезда он пришел к нашему соседу по даче Кириллину, зампредседателя Совета Министров, чтобы тот поговорил с кем-нибудь в правительстве.

— Ты объясни им, что я не хочу уезжать. Ну, если они считают меня преступником, пусть сошлют меня на несколько лет, я отбуду наказание, но только потом-то дадут мне работать в моей стране, для моего народа... Перестанут запрещать, не разрешать...

Кириллин обещал поговорить. На другой день, придя к Славе на дачу, вызвал его в сад. Вид у него был очень расстроенный.

— Я говорил о тебе, но слишком далеко все зашло — ты должен уехать. Уезжай, а там видно будет...

После чего они вдвоем в дымину напились.

Да, Ростропович правильно рассудил, что не стоило рассказывать мне эту историю в Москве!

Провожать Славу приехали в аэропорт его друзья, ученики... Вокруг вертелись какие-то подозрительные типы в штатском. Проводы были как похороны — все молча стоят и ждут. Время тянулось бесконечно... Вдруг Слава схватил меня за руку, глаза полные слез, и потащил в таможенный зал.

— Не могу больше быть с ними, смотрят на меня как на покойника...

И, не прощаясь ни с кем, исчез за дверью. Меня и Ирину Шостакович пропустили вместе с ним.

— Галя, Кузя не хочет идти! — раздались крики нам вслед.

Наш огромный великолепный Кузя распластался на полу, и никакие уговоры не могли заставить его подняться. Это природное свойство ньюфаундлендов — если не захочет пойти, то ни за что не встанет. А веса в нашем Кузе девяносто килограммов — попробуй подними!

Мне пришлось почти лечь рядом с ним и долго ему объяснять, что он уезжает вместе со Славой, а не один, что его никому не отдают... Наконец, поверив мне, он встал и позволил провести себя в зал, где с восторгом бросился к Славе.

— Откройте чемодан. Это весь ваш багаж?

— Да, весь.

Слава открыл чемодан, и я остолбенела: сверху лежит его старая рваная дубленка, в которой истопник на даче в подвал спускался. Когда он успел положить ее туда?

— Ты зачем взял эту рвань?! Дай ее сюда, я обратно унесу.

— А зима придет...

— Так купим! Ты что, рехнулся?

— Ах, кто знает, что там будет... Оставь ее...

[...] Я надела на себя красивое платье, тщательно причесалась, как и всегда, когда шла на свидание с тем, кому отдала столько лет своей жизни. Я пересекла улицу Горького, прошла мимо МХАТа, повернула на Пушкинскую и, пройдя Театр оперетты, свернула налево. И вот он передо мной: великодержавный Большой театр.

Я долго стучала в двери, пока наконец они приоткрылись и показалась голова знакомого вахтера.

— Да никак Галина Павловна? Зачем пожаловали? В театре-то никого нет, все в отпуску.

— Я знаю, но мне и не нужен никто. Я должна взять вещи в своей уборной.

— Так проходите, проходите...

— Спасибо.

Как хорошо, что в театре ни души и я могу в одиночестве, спокойно и не торопясь, в последний раз проделать свой обычный перед спектаклем путь. Всех, кого я захочу увидеть, легко вызовет мое воображение... Итак, сначала — в оперную канцелярию на первом этаже, заявить, что я приняла, а заодно и похныкать, что неважно себя чувствую. (Интересно, есть ли певцы, которые прекрасно себя чувствуют перед спектаклем? Впрочем, я знала одного такого тенора, но он был просто болван.) Получив в ответ сочувствие, я иду на второй этаж, в мою комнату, лучшую свидетельницу всех моих волнений, восторгов и сомнений. Сюда приходила я всегда за несколько часов до начала оперы, и меня уже ждали мои верные три партнера — гример, парикмахер и портниха. С ними, невидимыми зрителям соучастниками спектакля, проходили мои самые напряженные часы перед выходом на сцену. Мне повезло. Эти три близких мне человека были рядом со мной с первых до последних дней моей работы в Большом театре. Присутствие их, друзей-доброжелателей, вселяло чувство уверенности, освобождало от мелких забот, позволяя сосредоточиться на самом главном. Я знала, что Василий Васильевич за десять минут до начала придет еще раз проверить грим, Елизавета Тимофеевна — поправить прическу, Вера — застегнуть последний крючок. А они знали, что от того, каким взглядом они проводят меня на сцену, часто зависит весь мой спектакль. И мы вместе нервничали, покрываясь красными пятнами. Но я могла себе позволить закричать или закатить истерику, они же, всю жизнь привыкшие себя сдерживать, могли лишь мысленно послать меня к черту, что, надеюсь, и делали. А впрочем, наверно, нет. Они любили меня, так же, как и я их. И в этот трудный час моей жизни я прошу их простить меня. И только их, никого больше, прошу побыть со мною рядом.

Я стою перед зеркалом, всем своим существом чувствуя на себе их заботливые руки, я даже вижу, как они хлопочут вокруг, наряжая меня. В моих ушах, перемешиваясь, звучат мелодии всех моих опер, и в душе такое напряжение, словно я мгновенно, как в ускоренной киносъемке, переключаюсь из одной роли в другую.

Но вот я загримирована, отлично причесана, платье на мне сидит безупречно. Вера подхватывает мой длинный шлейф: «Ну, пойдем, царица ты нана!» — и мы идем на сцену. Теперь мы вместе стоим в кулисе, и я знаю, что сердце у нее колотится так же сильно, как и у меня...

Наконец:

— Галина Павловна, ваш выход!

Еще один шаг — и я на сцене. И сразу смолкли во мне все звуки... Никого. Пусто. Великолепный зал и огромная сцена... Но какая жуткая тишина — до ломоты в ушах. Но спокойно, спокойно... Нужно подольше походить по этому пространству, знакомому мне до последнего сантиметра, и — это проверено — уймется волнение. Так, все хорошо... Теперь нужно встать в самом центре авансцены, мгновение расслабить мышцы напряженного тела и успокоить дыхание... Я готова.

Итак, я оставляю эту сцену. Именно теперь, без публики и без артистов, я могу в полной мере осознать тот шаг, что я сделала. Да, я оставляю эту сцену. Приеду ли я через два года или через пять лет — в Большой театр я уже не вернусь никогда.

Я ухожу из театра в расцвете своих сил, в зените славы, мне всего сорок семь лет — прекрасная пора зрелости, когда артист пожинает плоды, взращенные трудом всей жизни. Так крестьянин весной и летом работает на земле, не разгибая спины, осенью снимает урожай и пользуется им зимою. И я сеяла, выращивала, трудилась... Теперь же, когда пришло время жатвы, мой урожай растаскивают по колоску, оставляя мне голую землю. Обрабатывать ее заново уже не хватит времени. Двадцать два года моей сценической жизни остаются здесь, и других двадцати двух лет уже не будет. Отчетливо сознавая все это, я тем не менее делаю этот шаг, и если бы мне пришлось повторить мою жизнь сначала, я бы сделала его снова и снова. Но... неспетые роли будут долго сниться мне по ночам...

Как странно, я стою точно на том месте, в самом центре авансцены, где всегда пела арию Тоски «Vissi d'arte, vissi d'amore»... Но двинемся дальше...

Я переходила из одной кулисы в другую, и все мои героини шествовали за мной: Татьяна, Лиза, Баттерфляй, Аида, Марфа, Виолетта, Тоска, Наташа Ростова... Вот здесь, каждый раз трепеща от волнения и счастья, стояла я перед выходом в «Пиковой даме». А вот отсюда, как на жертвенный алтарь, несла Аида свою любовь Радамесу. На этом месте мне пел о любви Альфред... Сколько любовных признаний слышала я на этой сцене! Да и за кулисами тоже... Вот здесь кружилась в вальсе на своем первом балу Наташа Ростова, а тут в отчаянии металась Тоска... Здесь жили и умирали мои героини.

Перед моим мысленным взором, как панорама, прошел весь мой путь. От бетховенской Леоноры, окрыленной и готовой к борьбе, с ее стремлением к справедливости, с ее преданностью, любовью и надеждами, воплотившей в себе самые прекрасные человеческие чувства... И до моей последней роли — Полины Прокофьева и Достоевского, изломанной, униженной и оскорбленной. Ее рыдания в безысходном

отчаянии и мой последний крик... Казалось бы, я столько спела и сыграла разных ролей, но сейчас я слышу в себе только этот мой отчаянный крик, и мне чудится, что он все еще живет в пышных складках занавеса, в уголках золоченых лож и сцены, где я спела около тысячи спектаклей...

Большой театр! Сколько великих артистов России отдали тебе свое искусство и вдохновение. Наверно, пол твоей сцены пропитан их голосами и сможет когда-нибудь запеть, как огромная виолончель... В ней будет звучать и мой голос. Прощай!..

Но нет, я не могу так уйти. Я должна напоследок открыть тебе мою самую сокровенную тайну: ведь я шла сюда, чтобы проклясть это место — и, вот видишь, не смогла. Потому что нет у меня к тебе ни ненависти, ни злобы, а есть лишь большая обида и боль нестерпимая, хоть пропадай...

Вот сейчас я лягу плашмя на пол, прижмусь к тебе, обниму крепко-крепко и скажу тебе на прощание такие слова, что не говорила ни одному человеку на земле. Так вот, слушай: я безумно люблю тебя, ты был для меня всем — мужем, сыном, любовником и братом. Никому на всем свете не отдала я столько любви и страсти, как тебе. Эти чувства я отнимала от детей, от мужа и безоглядно несла тебе все — свою молодость, красоту, свою кровь и силу. И ты, ненасытный, все брал.

Нет, нет, я не упрекаю тебя. В ответ на мою безрассудную любовь ты вознес меня на пьедестал и дал мне все — самую счастливую карьеру, почести, признание и славу. Я безраздельно царила здесь долгие годы, и соперниц у меня не было. Но почему же в мой тяжкий час ты не защитил меня? А теперь прощай...

— Ну что, Галина Павловна, попрощаться пришла?

— Господи, кто там?

— Да это я, не пужайся!

— Мне казалось, никого здесь нет.

Старуха уборщица с ведрами и тряпками в натруженных руках... Сколько лет я пою здесь, столько же и она убирает эту сцену.

— А я прибираюсь там вон, полы мою, да гляжу — кто это все тут ходит и ходит... Что, тяжко тебе?

— Тяжко.

— Ну, терпи, милая. Господь терпел и нам велел.

— Терплю... терплю...

— Ладно, оставайся, а я пойду покудова. Прощай!

— ПРОЩАЙ...

[...]Ну что же, теперь нужно сделать последний и самый трудный шаг — я должна поехать на дачу, в Жуковку, и попрощаться с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем.

До последнего дня я все не могла решиться пойти к нему, бесконечно дорогому человеку, которого вот теперь я оставляла в России. Боялась, что перед ним я выплесну и сломлюсь. Я знала, что своим безоговорочным авторитетом перед нами Шостакович — единственный, кто может заставить нас повернуть весь ход нашей жизни назад. Он это тоже знал, и он этого не сделал. Всем опытом своей жизни в этой стране он хорошо понимал, что теперь ждет нас здесь и что единственный для нас выход — на несколько лет отсюда исчезнуть.

Я сидела в его кабинете на том же самом месте, что и всегда, а напротив меня в кресле Дмитрий Дмитриевич. До последней степени напряженная, внутренне зажатая, я не слышала, что мне говорил Шостакович. Да и говорил ли он? Теперь мне кажется, что нет, что мы оба молчали,— я ничего не могу вытащить из черного провала в моей памяти. Последними усилиями воли я старалась заставить себя смотреть на него и не разрыдаться. Я знала, что он смертельно болен, что, возможно, я вижу его в последний раз, и одна наша встреча страшной картиной встала перед моими глазами.

Я вспомнила, как несколько лет тому назад я стояла вместе с ним вблизи открытого гроба его умершей секретарши Зинаиды Александровны Мержановой. Когда пришло время прощаться с покойной, я по русскому обычаю поцеловала ее в лоб и руку. Когда же я снова встала рядом с ним, то увидела, что он смертельно бледен.

— Что с вами, Дмитрий Дмитриевич?

— Вот вы сейчас поцеловали покойницу, а вам не страшно?

— Нет, чего же ее бояться... Помните, в вашей «Леди Макбет»? «Мертвых не бойся, страшись живых...»

— Не знаю, что это за странный обычай такой — покойников целовать.

— Мы с вами православные, и у нас так полагается — мы даем покойнику наше последнее целование.

Он крепко сжал мою руку.

— А меня, мертвого, вы бы тоже так вот поцеловали?

— Конечно...

Он попытался усмехнуться, но получилась лишь жалкая гримаса.

— И вам бы не было противно?

— Нет...

И вот теперь я смотрю на дорогое, до мельчайшей черточки знакомое лицо, и мучительная боль терзает мне сердце. Как не показать ему своего отчаяния? Где же взять силы, чтобы встать и уйти?..

— Я пойду, Дмитрий Дмитриевич... До свидания...

Мы крепко обнялись, прощаясь, и вдруг... я услышала его рыдание! Господи! Чувствуя, что закричу сейчас в голос, что больше не выдержу этой муки, я исступленно целовала его в лицо, шею, в плечи... И с трудом оторвалась от него. От живого, как от мертвого, зная, что никогда больше его не увижу...

— Приезжайте, Галя, будем вас ждать...

В последний раз заглянула в его залитые слезами глаза, в его бледное, искаженное, впервые передо мной обнаженное лицо и, рыдая, не видя перед собой дороги, побежала вниз по лестнице мимо стоящих внизу плачущих женщин.

Таким он и остался навсегда в моей памяти.

Я шла домой уже столько раз хоженной дорогой, и она казалась мне теперь бесконечно длинной, незнакомой и чужой. Я вдруг впервые ощутила себя оторванной от огромной земли, от моего народа, маленькой неужной песчинкой, и чувство страшного одиночества охватило душу. Да ведь меня здесь просто-напросто уже нет, и дома моего тоже нет! Так куда же я иду?

Не доходя до дачи, я повернула назад и уехала в Москву, чтобы уже никогда больше не войти в свой когда-то родной дом.

Ровно через год, когда мы были на гастролях в США, на музыкальном фестивале в Тэнглвуде, нам позвонил из Австралии, где он гастролировал, сын Дмитрия Дмитриевича Максим и в отчаянии, рыдая, сказал, что отцу очень плохо и что он немедленно вылетает в Москву. Слава кинулся искать лучших специалистов-онкологов, обещая заплатить им любые деньги, умоляя немедленно вылететь в Москву, попытаться спасти Шостаковича. Но было уже поздно.

9 августа 1975 года, в день нашего концерта, когда мы, уже одетые, собирались выходить из дома, нам позвонила из Москвы Славина сестра и сказала, что только что скончался Дмитрий Дмитриевич...

Через час Слава стоял на сцене вместе с Озавой, главным дирижером Бостонского оркестра, которого он попросил объявить публике, что умер великий Шостакович. Сам он не смог произнести ни слова. В этот вечер он дирижировал Пятой симфонией Шостаковича. Мне же пришлось собрать всю свою волю и силы, чтобы спеть сцену письма Татьяны.

Советские власти до конца остались верными своей жестокости и бесчеловечности. На гражданской панихиде, когда дети покойного захотели, чтобы над гробом Шостаковича прозвучал записанный на пленку мой голос, во фрагментах из его Четырнадцатой симфонии — он очень любил эту запись и часто ее слушал,— им категорически это запретили. Поглумились над ним еще раз — не стерпели.

Я не видела Дмитрия Дмитриевича мертвым, не суждено мне было поклониться его праху, принести ему, как обещала, последнее целование. Может быть, поэтому я мысленно обращаюсь к нему всегда как к живому. Мне кажется, что он где-то живет, что пройдет еще несколько лет и мы встретимся. И тогда я скажу ему все самые прекрасные слова, все, что не посмела сказать раньше. Я жду этого дня. Я вижу его широко распахнутые, залитые слезами светлые глаза, слышу его прерывающийся от рыданий, слабый, далекий голос:

— Приезжайте, Галя, будем вас ждать...

Главным редакторам газет «Правда», «Известия», «Литературная газета», «Советская культура»

Уважаемый товарищ редактор!

Уже перестало быть секретом, что А. И. Солженицын большую часть времени живет в моем доме под Москвой. На моих глазах произошло и его исключение из Союза писателей — в то самое время, когда он усиленно работал над романом «1914-й год», и вот теперь награждение его Нобелевской премией и газетная кампания по этому поводу. Эта последняя и заставляет меня взяться за письмо к Вам.

На моей памяти уже третий раз советский писатель получает Нобелевскую премию, причем в двух случаях из трех мы рассматриваем присуждение премии как грязную политическую игру, а в одном (Шолохов) — как справедливое признание ведущего мирового значения нашей литературы. Если бы в свое время Шолохов отказался принять премию из рук присудивших ее Пастернаку «по соображениям холодной войны» — я бы понял, что и дальше мы не доверяем объективности и честности шведских академиков. А теперь получается так, что мы избирательно то с благодарностью принимаем Нобелевскую премию по литературе, то бранимся. А что, если в следующий раз премию присудят т. Кочетову? — ведь нужно будет взять?! Почему через день после присуждения премии Солженицыну в наших газетах появляется странное сообщение о беседе корреспондента Икс с представителем секретариата Союза писателей о том, что вся общественность страны (т. е. очевидно и все ученые и все музыканты и т. д.) активно поддержала его исключение из Союза писателей? Почему «Литературная газета» тенденциозно подбирает из множества западных газет лишь высказывания американских и шведских коммунистических газет, обходя такие несравненно более популярные и значительные коммунистические газеты, как «Юманите», «Леттр франсез», «Унита», не говоря уже о множестве некоммунистических? Если мы верим некоему критику Боноски, то как быть с мнением таких крупных писателей, как Белль, Арагон, Франсуа Мориак?

Я помню и хотел бы напомнить Вам наши газеты 1948 года, сколько вздора писалось там по поводу признанных теперь гигантов нашей музыки С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича, например: «т. т. Д. Шостакович, С. Прокофьев, В. Шебалин, Н. Мясковский и др.! Ваша атональная дисгармоническая музыка ОРГАНИЧЕСКИ ЧУЖДА НАРОДУ... Формалистическое трюкачество возникает тогда, когда налицо имеется немного таланта, но очень много претензий на новаторство... Мы совсем не воспринимаем музыки Шостаковича, Мясковского, Прокофьева. Нет в ней лада, порядка, нет широкой напевности, мелодии». Сейчас, когда посмотришь на газеты тех лет, становится за многое нестерпимо стыдно. За то, что три десятка лет не звучала опера «Катерина Измайлова», что С. С. Прокофьев при жизни так и не услышал последнего варианта своей оперы «Война и мир» и симфонии-концерта для виолончели с оркестром, что существовали официальные списки запретных произведений Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна.

Неужели прожитое время не научило нас осторожнее относиться к сокрушению талантливых людей? Не говорить от имени всего народа? Не заставлять людей высказываться о том, чего они попросту не читали или не слышали? Я с гордостью вспоминаю, что не пришел на собрание деятелей культуры в Центральный дом работников искусств, где поносили Б. Пастернака и намечалось мое выступление, где мне «поручили» критиковать «Доктора Живаго», в то время мной еще не читанного.

В 1948 году были списки запрещенных произведений. Сейчас предпочитают устные ЗАПРЕТЫ, ссылаясь, что «есть мнение», что это не рекомендуется. Где и у кого есть МНЕНИЕ — установить нельзя. Почему, например, Г. Вишневской запретили исполнять в ее концерте в Москве блестящий вокальный цикл Бориса Чайковского на слова И. Бродского? Почему несколько раз препятствовали исполнению цикла Шостаковича на слова Саши Черного (хотя тексты у нас были изданы)? Почему странные трудности сопровождали исполнение 13-й и 14-й симфоний Шостаковича? Опять, видимо, «было мнение»... У кого возникло «мнение», что Солженицына нужно выгнать из Союза писателей? — мне выяснить не удалось, хотя я этим очень интересовался. Вряд ли пять рязанских писателей-мушкетеров отважились сделать это сами без таинственного «мнения». Видимо, МНЕНИЕ помешало моим соотечественникам и узнать проданный нами за границу фильм Тарковского — «Андрей Рублев», который мне посчастливилось видеть среди восторженных парижан. Очевидно, МНЕНИЕ же помешало выпустить в свет «Раковый корпус» Солженицына, который уже был набран в «Новом мире». Вот когда бы его напечатали у нас — тогда б его открыто и широко обсудили на пользу автору и читателям.

Я не касаюсь ни политических, ни экономических вопросов нашей страны. Есть люди, которые в этом разбираются лучше меня, но объясните мне, пожалуйста, почему именно в нашей литературе и искусстве так часто решающее слово принадлежит лицам, абсолютно не компетентным в этом? Почему дается им право дискредитировать наше искусство в глазах нашего народа?

Я ворошу старое не для того, чтобы брюзжать, а чтобы не пришлось в будущем, скажем — еще через 20 лет, стыдливо припрятывать сегодняшние газеты.

Каждый человек должен иметь право безбоязненно, самостоятельно мыслить и высказываться о том, что ему известно, лично продумано, пережито, а не только слабо варьировать заложенное в него МНЕНИЕ. К свободному обсуждению без подсказок и одергиваний мы обязательно придем.

Я знаю, что после моего письма непременно появится МНЕНИЕ и обо мне, но не боюсь его и откровенно высказываю то, что думаю. Таланты, которые составляют нашу гордость, не должны подвергаться предварительному избиению. Я знаю многие произведения Солженицына, люблю их и считаю, что он выстрадал право писать правду, как ее видит, и не вижу причины скрывать свое отношение к нему, когда против него развернута кампания.

Мстислав РОСТРОПОВИЧ

31 октября 1970 года

Дорогие Галочка и Слава!

Подходит десятая годовщина моей высылки, и оживляются картины этих страшных изнурительных последних лет перед тем. И перебираем мы с Алей: ведь без Ваших покровительства и поддержек я бы тех лет просто бы не выдержал, свалился, ведь силы были уже близки к исходу. И — негде бы просто жить, в Рязани бы меня додушили, а еще более — нет тишины, воздуха и значит возможности работать, а когда работа не идет — и совсем жизнь удавливается. Ведь я у Вас написал больше половины «Августа», да и значительную часть «Октября», и Вы с тактом берегли мое одиночество, даже не рассказывали о нарастающих стеснениях и злобных придирках к Вам. В общем Вы создали мне условия, о которых я в СССР и мечтать не мог. А без них, наверно, взорвался бы раньше и не додержался бы до 1974 года.

Вспоминать это все с благодарностью — мало сказать. Вы заплатили за это жестокой ценой, и особенно Галя, потерявшая свой театр невозместимо. Этих потерь мои никакие благодарности не покроют, только и можно черпать твердость в общей обреченности судеб в этом веке — и что не до конца Господь нас накажет.

Спасибо Вам, мои милые, родные, обнимаю Вас, и Аля тоже. Привет Оле и Лене. Если сейчас в феврале будете в Галино — заезжайте к нам непременно.

И от Кати Вам неизменный сердечный привет.

Всегда Ваш

А. СОЛЖЕНИЦЫН

9.2.84

Зеленый портфель

Рассказ «Слесарь Элизабет» был написан в так называемый период застоя и попал в разряд так называемых «непроходных». Хотя поначалу какие-то редакции им заинтересовались, рассказ несколько раз набирался. И столько же — разбирался.

Позже автор написал модификацию без участия заморских гостей. А все равно ему очень хотелось увидеть напечатанной эту историю в ее первозданном виде... Гонорар за публикацию автор просит перечислить на счет № 704902 в Уфимском областном управлении Жилсоцбанка СССР.

Александр ХОРТ

СЛЕСАРЬ ЭЛИЗАБЕТ

Эта радостная весть облетела наш коллектив с быстротой молнии: в пятницу, во время обеденного перерыва, к нам на завод приедет делегация участников кинофестиваля.

Только мы об этом узнали, от избытка чувств стали думать, как подготовиться к такому событию. Чтоб в грязь лицом не ударить. Чтоб было все путем. Как у людей. И тут Филимонов возьми да предложи:

— Давайте кого-нибудь из киноартистов выберем почетным членом нашей бригады.

Стали думать: кого? Часть артистов имела уже предпенсионный возраст, другие слишком часто играли отрицательные роли... Перебирали, перебирали и остановились на том, что опять же предложил наш Филимонов:

— Давайте выберем Элизабет Тейлор. Во-первых, это скромная женщина: даже сделавшись звездой первой величины, она осталась такой же простой и доступной, какой была раньше. Во-вторых, ейный муж, Ричард Бартон,— косая сажень в плечах. В случае чего поможет жинке.

— Обойдемся без его помощи. Почетный член бригады не должен работать,— объясняем.— Норму за киноартистку выполняем мы. Она вроде как мысленно рядом с нами.

— Понятно, что не работает,— завистливо вставил самый юный член нашей бригады Гиви Камикадзе,— но как же она может быть мысленно с нами, если мы ее даже не знаем?

Однако мы его сразу обрезали:

— Ничего, что не знаем, зато все будет как у людей. Тащи цветы.

Итак, мы остановились на Элизабет или, как говорят в народе, Лиз Тейлор. В дирекции нашу кандидатуру одобрили, в отделе кадров тоже.

— На всякий случай,— сказал инспектор,— пусть напишет заявление о приеме на работу, заполнит анкету и приложит две фотокарточки размером три на четыре.

Анкету за нее мы смогли заполнить сами. Филимонов о Тейлор все знал, даже такое, что при приеме на работу вовсе и не требуется. Прежним местом работы записали Голливуд.

От ее имени по-русски составили заявление о приеме. Когда делегация уезжала, мы попросили у Тейлор два автографа: один на заявлении, другой — под анкетой. Фотографии вырезали из библиотечной книги «Искусство или антиискусство?». Так что с формальной стороны все было в порядке.

Зачислили ее к нам слесарем-инструментальщиком по штампам и пресс-формам. Штампы частенько попадаются в фильмах, а что касается форм... Их ведь не зря освещала пресса всего мира. С Элизабет Тейлор стало нас в бригаде семеро.

А тут на заводе состоялся аврал по уборке территории. Перед самым уходом появляется начальник цеха с каким-то списком и спрашивает бригадира:

— Почему новенькая не явилась?

— Не знаю...

— Вы предупредили Тейлор, что сегодня уборка?

— Нет...

— Раз так,— пожал плечами начальник,— вымпел передашь бригаде Шарова.

Мы расстроились. Переходящий вымпел уже несколько месяцев подряд прочно стоял у нас. Теперь надо было вкалывать со страшной силой, чтобы вернуть его. Тейлор мы ничего об этом случае не сообщили, дабы не омрачать ей жизнь. Просто налегли на работу и в следующем месяце снова завоевали вымпел. Но удержать его становилось все сложнее и сложнее.

Попался мне однажды для сборки трудный станок. Стою над чертежом, верчу его и так и эдак — никак не разберу. Начальник смены посмотрел и говорит:

— Без слесаря по пресс-формам тут не справиться.

— Нашему слесарю,— отвечаю,— вчера аппендицит вырезали, он еще в больнице лежит.

— У вас же по совместительству числится еще один специалист такого профиля — Тейлор. Вызови его в порядке исключения. Скажи: так, мол, и так. Пусть выручит, иначе не успеете план выполнить.

А Тейлор уже и след простыл, уехала незнамо куда. Не уложились мы в срок, пришлось снова передавать вымпел бригаде Шарова. И опять невероятными усилиями вернули его через месяц.

Все вроде бы уладилось, да не тутто было. Из-за нас стало лихорадить показатели работы всего цеха. В конце квартала сменный мастер вызвал нашего бригадира и говорит:

— Пойми меня правильно, Ухабов. Смешно было бы заставлять Тейлор ходить на работу. На это мы рукой махнули, ладно: почетный член бригады, имеет «Оскара» и тому подобное. Да вы и без нее справляться наловчились. Но в общественной-то жизни завода принимать участие она должна. Не за горами День слесаря, будет праздничный вечер и концерт художественной самодеятельности. Пусть от вашей бригады выступит Тейлор. Молнируйте ей.

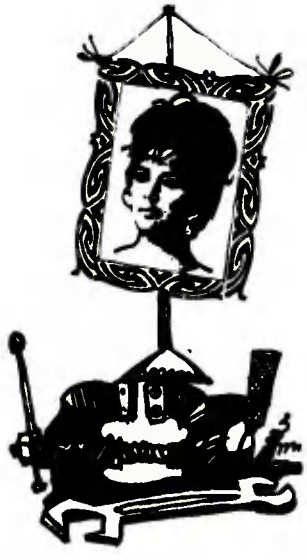
— Она русского языка не понимает.

— Пантомиму покажет. Ей это раз плюнуть. Кроме того, на заводе функционирует кружок американского языка. Тоже учесть надо. А то гляди, какая петрушка получается. Вместо того чтобы вы подняли ее до своего уровня, оказали на нее благотворное влияние, она вас назад тянет. В колхоз не поехала, в спартакиаде не участвовала, туристические вылазки с ребятами не совершает, экскурсию в Музей землеведения пропустила... Про мужчину в таких случаях говорят «сачок», а про женщину как сказать? Боюсь, вопрос о ней придется перед дирекцией поставить.

— Да ставьте! — говорит бригадир в сердцах.— Мороки с ней не оберешься. Навязалась на нашу голову!

И уволили ее как не справившуюся с работой.

Теперь мы по-прежнему работаем вшестером. Коллектив у нас молодой, дружный, принимаем активное участие во всех мероприятиях. Вчера, например, ходили в кинотеатр Повторного фильма смотреть «Укрощение строптивой» с Элизабет Тейлор в главной роли. Действительно, чертовски строптивый человек, как мы только этого сразу не заметили.



Владимир ГРЕЧАНИНОВ

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ...

...генералом, я сделал бы так. Построил бы всех-всех на огромной площади, сел бы в большой вороненый автомобиль и, подъехав к первой колонне, крикнул бы:

— Здравствуйте, работники агропромышленного комплекса!

— Здравия желаем, товарищ генерал! — дружно ответили бы они мне.

— Поздравляю вас,— крикнул бы я,— с самыми плохими в мире погодными условиями, которые позволяют вам неуклонно снижать выпуск продукции и не нести за это никакой ответственности!

— Ура! — прокричали бы агропромовцы.

— Работники легкой промышленности! — крикнул бы я.— Поздравляю вас с самыми покупающими в мире покупателями, которым можно продать даже то, что делаете вы!

— Ура!

— Товарищи врачи!.. Работники сферы услуг! — звонко кричал бы я, объезжая стройные колонны.— Поздравляю вас с самыми здоровыми в мире больными!.. С самыми бессловесными в мире клиентами!..

— Ура! Ура-а! — неслось бы мне вслед. И наконец, я подъехал бы к самой монолитной колонне и сказал бы:

— Работники первичных организаций, райкомов, обкомов и крайкомов!..

Ох, что бы я им сказал, если был бы генералом! Но я не генерал. Я сам стою в одной из колонн, и кто-то другой подъезжает ко мне на вороненом автомобиле и кричит:

— Работники литературы и искусства! Шире освещайте большое, светлое, передовое, не допускайте критиканства и очернительства!

И я не молчу, нет! Я делаю глубокий вдох, и из моей груди рвется мощное: «Ура! Ура! Ура-а-а!»

Виктор СОЛОМИН

Рисунок Г. Мурышкина

...И вот из дальнего похода
Вступал Гай Юлий Цезарь в Рим,
И войско двигалось за ним
Под ликование народа.
Шел по булыжникам столицы
За легионом легион,
А он стоял на колеснице,
В почетный пурпур облачен.
Мир, наконец, народу даден,
Победой кончилась война.
Шли (впереди его и сзади)
Два голосистых крикуна.

— В годину испытаний тяжких
Нас вел отечества отец! —
От всей души, не по бумажке
Кричал передний молодец,—
Герой! Народов покоритель,
А для солдата — друг и брат!
Стратег! Писатель и мыслитель
И нервый в Риме демократ!

— Все это так, все это верно,
Герой... но дуй его горой! —
Вещал второй крикун усердный
За возвеличенной спиной,—
Стерплю Венерины проклятья,
И пусть меня отвергнет Вакх —
«Сестер» он любит
больше «братьев»
И выпить тоже не дурак!

А как же Цезарь? Улыбался
И дифирамбам и хуле,
Затылком в небо упирался,
Но пятки были... на земле.

Второй кричал:— Не захвалите!
И до беды недолго тут!..
С тех нор пошло: где смелый шут,
Там трезвый, стало быть,
правитель.

г. Новомосковск

В НОМЕРЕ:

Проза

Василий АКСЕНОВ. Золотая наша Железка. *Окончание.* **(15)** *Послесловие Евгения СИДОРОВА* **(44)**

Наследие

Надежда МАНДЕЛЬШТАМ. Воспоминания *(Заключительные главы).* **(48)**

Поэзия

Надежда КОНДАКОВА (46), Виктор КОРОТАЕВ (47), Борис ДУБРОВИН (66), Алексей МАРКОВ (67), Валерий РУБИН (68), Ной РУДОЙ (68)

Публицистика

20-я комната. *Заседание двадцать пятое* **(2)**
Виктор КОЗЬКО. Хроника несостоявшегося митинга (8)
Владимир КАЛИНИЧЕНКО. «Точка отталкивания» — 1 (58)
Кирилл ПРИВАЛОВ. Заговор ненасилия (69)
Андрей КОЛОБАЕВ. «Почему я не уйду из «Космоса»?» (76)

Культура и искусство

Виктор ЛИПАТОВ. Пейзаж ранящего одиночества (64)
Галина ВИШНЕВСКАЯ. Солженицын и Ростропович (81)
Павел БУНИН. 200 лет Французской революции (70)

Наука и техника

Иван КУНИЦЫН, Алексей НИКОЛАЕВ. Короткая жизнь или долгая смерть? (72)

Зеленый портфель

Александр ХОРТ. Слесарь Элизабет (95)
Владимир ГРЕЧАНИНОВ. Если бы я был... (96)
Виктор СОЛОМИН. Цезарь и шут (96)

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.
Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журналов обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление обложки Д. Кедрина
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цишевский
Технический редактор О. Трепенок.

Сдано в набор 17.04.89. Подп. к печ. 31.05.89. А 01581.
Формат 84×60⅛. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 507.
Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, ул. Горького, д. 32/1. Тел. 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда» «Юность», 1989 г.

Проект монумента — «Разум должсн победить».

ПЕТР ШАПИРО: «УСЛЫШАТЬ ЗВУКИ МОНУМЕНТА»

Публицистичность работ скульптора Петра Шапиро созвучна времени. И ощущаешь это буквально через звуки, которые, казалось бы, невозможно высечь в камне, отлить в бронзе.

Призывный набат колокола — извечного символа русского свободолюбия — созвучен с нашим желанием всколыхнуть, разбудить сонную Россию. Страстные призывы и раздумья декабристов в скульптурной композиции «Своей судьбой гордимся мы...» дошли до нас и как отзвуки реальных событий дней минувших, и как великий нравственный опыт высоких помыслов и благородства действий, так нам сейчас необходимый. Эта работа была выполнена для конкурса на проект памятника декабристам в Иркутске, где была отмечена премией жюри.

Замысел скульптурно-архитектурной композиции «Разум должен победить» рожден трагическими событиями в Чернобыле. Мертвящая тишина, укрывшая оплавленные атомным пламенем силуэты людей,— это тоже звук! Звук нежизни самой Земли. Ни рокот взрывов, ни скрежетание огненных смерчей, но тишина — звук остановившегося маятника часов, мерно отмерявших вечность на планете. Нежизнь и жизнь разделены лишь хрупкой линией. Стоит ли сходить с зеленой травы на растрескавшийся бетон? Стоит ли уходить в тишину?

Сергей АДАМОВ

Проект монумента — «Своей судьбой гордимся мы...». Бронза.

АНОНС

Дорогие читатели!

Читайте в следующих номерах нашего журнала:

Аркадий АВЕРЧЕНКО. Рассказы. ***Предисловие В. И. Ленина.***
Марк АЛДАНОВ. Святая Елена ***(Последние дни Наполеона).***
Игорь АЧИЛЬДИЕВ. Идол. ***Опыт социологии культа личности.***
Сергей ДЫШЕВ. Да воздастся... ***Афганская повесть.***
Андрей САХАРОВ. Размышления.
Иван ТВАРДОВСКИЙ. Страницы пережитого. ***Часть вторая.***
Владислав ХОДАСЕВИЧ. Из «Некрополя».
Анастасия ЦВЕТАЕВА. Рассказ.
«Испытательный стенд» — стихи и проза молодых.

Юность. 1989, № 7, 1—96
Индекс 71120
70 коп.